

180209

НОВЫЙ МИР

8-9

МОСКВА

1944

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1944 г.

№ 8—9

Год издания XXI

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АЛЕКСЕЙ СУРКОВ — Горы Карпатские, стихотворение	2
АНАТОЛИЙ КАЛИНИН — На юге, роман	3
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ — Стихотворения	47
ВАС. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ — По дорогам войны, стихи	48
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ — Петр I, книга третья. Продолжение	50
П. БАЖОВ — Новые сказки	63
АРКАДИЙ КУЛЕШОВ — Письмо из плена, стихотворение. Перевод с белорусского Ник. Асеева	70
ПИМЕН ПАНЧЕНКО — Стихи. Перевод с белорусского Ник. Асеева	71
<u>А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ</u> — Капитан 1-го ранга, роман. Окончание	72
Н. САЛАЖОВ — Завет, стихотворение	94
ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ — Мальчик из Джорджии, новеллы. Перевод с английского Н. Волжиной	95

К 100-летию со дня рождения Ильи Ефимовича Репина	
Н. МАШКОВЦЕВ — Илья Ефимович Репин	123

И. ЛЕЖНЕВ — Хроника Малевинских	130
Е. ГАЛЬПЕРИНА — Сегодня и завтра Англии	135

БИБЛИОГРАФИЯ	
Е. КНИПОВИЧ — О людях великой цели	141
Б. ЕВГЕНЬЕВ — Певец народной мести	143

180209

ГОРЫ КАРПАТСКИЕ

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ

★

Ой, вы горы Карпаты,
Быстрых рек перекаты.
Здесь бывали когда-то
Наши деды-солдаты.

Помнят здешние ели
Посвист русской шрапнели.
Здесь теснины ущелий
Русской песней звенели.

К этим горным громадам
Мы пришли издалёка —
Из-под стен Сталинграда,
От степного Моздока.

Шли мы стоптанной рожью
В приднепровские дали,
По весне бездорожье
На Днестре побеждали.

Орудийные грозы
Нас в пути провожали.
Сквозь дожди и морозы
Мы в атаку бежали.

Мы дошли до границы
По руинам унылым,
Чтобы здесь поклониться
Богатырским могилам,

Чтобы слышали деды
После долгой разлуки —
Льются песни победы,
Живы гордые внуки.

И отныне навеки
Не узнают полона
Эти быстрые реки,
Эти горные склоны.

И на склонах отныне
Над крутыми холмами
Отражаясь в стремнине
Резет красное знамя.

То, что смелыми взято,
Нерушимо и свято..
Ой, вы горы Карпаты,
Быстрых рек перекаты.

НА ЮГЕ

Роман

АНАТОЛИЙ КАЛИНИН

*

I

Генерал-майора Милованова шифровкой вызвали в штаб фронта. Шифровку принесли на офицерское собрание, устроенное в станице Слепцевской по случаю гизельского успеха в ноябре*. Окна школы, в которой собрались генералы и офицеры, были закрыты изнутри листами картона, только из щелей вырывались полоски света. За окнами раскатывался гулкий смех. Поодаль от школьного крыльца вразброд стояли воронье эмки, трофейные мерседесы, виллисы, начинавшие к тому времени входить в моду. Посыльный с шифровкой нерешительно открыл дверь, за которой гудели голоса, и остановился на пороге. Волны яркого света хлынули ему в лицо.

В просторном школьном зале в несколько рядов стояли длинные столы под белыми скатертями. Сидевшие за ними разделились на кучки. На дальнем краю, вокруг командующего северной группой войск Масленникова, стайкой держались молодые. Поближе к двери сгрудились люди постарше, в большинстве осанистые полковники и генералы. Сверкали в свете ламп ордена. Но молодым, многие из которых только недавно нашли генеральские знаки, недоставало осанки, присущей старшим по возрасту и по стажу. В каждой группе шли свои разговоры. Густой голос покрывал шум, басил октавой:

— Горбом они, чины, добывались, горбом! Семь шкур с тебя сдерут, пока новую лычку пришьют. Чтобы из унтер-офицеров в старшие выслужиться, надо было три года лямку тянуть, а то и все пять. Я в Красной Армии до командира дивизии сколько лет по лестнице лез! Влезешь на ступеньку выше и огляды-

ваешься, как бы не сорваться. Нет, в наше время потруднее было. Нынче можно лечь спать майором, а проснуться генералом. Для этого достаточно выиграть бой под каким-нибудь хутором Пупыркиным.

— Как вы сказали, Александр Степанович?

— Я сказал — выиграть бой под Пупыркиным.

Грохнул смех.

На другом конце стола молодой, круглоголовый полковник, склонив красную, как кирпич, шею, жаловался Масленникову с обидой:

— Я ему советовал все семь батарей сосредоточить в одном месте и этим кулаком ударить по шоссе. Но он отказался. Почему? Я тоже спрашивал — почему? Он мне ответил... — Полковник запнулся, расстегнул душивший его воротник кителя и жестко продолжал: — Он мне ответил, что достаточно много жил, чтобы выслушивать советы от людей моложе его не только по возрасту, но и по званию. Я пытался доказать, что продолжать атаки села в лоб по меньшей мере бессмысленно. Исход боя решало именно шоссе. А он повернулся ко мне спиной, давая понять, что разговор окончен...

Масленников слушал, наклонив коротко остриженную, ершистую голову. На губах его блуждала неопределенная улыбка. В густом табачном дыму шлавали крапкие, разгоряченные лица. Милованов сидел по правую руку Масленникова, курил, непрерывно доставая папиросы из портсигара и ломая их в пальцах, как сухие стебли.

— Да, выиграть под Пупыркиным, — рокотала октава.

— Ерунда! — качнувшись в ту сторону, жестко бросил Милованов. Его услышали. Разговор за столами оборвался, лица повернулись к нему. Он сидел на дальнем краю стола, маленький, смуглолицый, сухой — скулы выпукло обрисованы под

* Поражение немцев под Владикавказом в районе Гизель—Новая Саниба в ноябре 1942 года.

кожей щек. — Ахинею несете, Александр Степанович.

— Что такое? — не сразу нашелся обладатель октавы — тучный, лысеющий генерал в расстегнутом нараспашку кителе и ярко-белой сорочке, из-под которой видна была белая, пухлая грудь.

— Потому и отступали мы от Терека, что Пупыркиным не давали цены. Благо, их много на русской земле! А судьбу большого сражения часто нужно решать где-нибудь в стороне, в маленьком хуторе.

— Азбуку читаешь, Милованов? — перебил насмешливый голос.

— Азбуку, Киселев Ты вот скажи, участь Владикавказа где решалась? Если бы мы немцев не разбили в Гизеле, дело могло бы повернуться иначе...

Посыльный, робея, стоял на пороге с шифровкой в руке. Сидевший ближе к двери тучный генерал в расстегнутом кителе заметил его, поманил пальцем.

— Милованова, — изогнувшись дугой, почтительно шепнул на ухо посыльный. Генерал указал на край стола.

Милованов, взглянув на посыльного, быстро распечатал телеграмму, раз и другой пробежал глазами строчки зашифрованных слов и передал Масленникову. Тот читал с невозмутимым видом человека, заранее осведомленного о содержании шифровки. Взглянув на его лицо, Милованов хотел спросить разъяснений, но удержался по старой солдатской привычке ни о чем не спрашивать у начальства. От Масленникова шифровка перешла к члену Военного Совета. Тот, прочитав, молча вернул ее Милованову.

— Разрешите ехать? — вставая из-за стола, спросил Милованов.

— Да, да, езжай, — востропел Масленников и протянул руку.

— Не по пословице. С бала да на корабль получается. — сострил Фоминых.

В передней дежурный помог Милованову надеть шинель, распахнул дверь на крыльцо. На секунду ослепила темнота. Густая ультрамариновая ночь обступила его кругом. За частоколом черных тополей, на южной окраине неба, резким, белым серебром светился горный хребет. Оттуда тянуло знобящим холодком и чистым, мягким запахом сосны. Правее трепетно дрожали в небе матово-розовые зарева. С этой стороны натекал густой орудейный гул, приглушенный далеким расстоянием. «Под Эльхотово бьют», определил Милованов. Вместе с канонадой долетел другой звук — низкий, рокошущий, однообразный.

«Где воюем... на Тереке!» кольнула острая мысль.

— Зоя! — зычно крикнул Милованов с крыльца.

Черная эмка, разбрызгивая грязь, отделилась от стоящих в отдалении ма-

шин и, круто развернувшись, стала у самого крыльца.

Уже садясь в машину и заворачивая внутрь полы бурки, сказал адъютанту:

— Откуда ты себе такое странное женское имя добыл — Зоя? Всем парень, как парень, а имя у тебя, как у барышни. Не смущает оно тебя?

Всю ночь, пока ехали, дремал в машине, закутавшись в бурку. И только один раз проснулся оттого, что озябли ноги. Сквозь толстые стекла внутри машины струился чистый, голубовато-белый свет вечных снегов, лежащих по правой и левой сторонам дороги. Зубчатый главный хребет был совсем рядом, казалось, протяни руку — и достанешь. Призрачно-светлый, он резко выделялся на фоне черного неба.

— Перевал, — затормозив, негромко сказал шофер.

Милованов вылез из машины, разминая затекшие ноги. Ночь опахнула морозным вздухом, резким и обжигающе сухим. Тупо заняло под сердцем. С тихим шорохом падал мелкий, негустой снег. В потоках света фар он медленно кружился, как опадающий яблоневый цвет в саду.

Милованов глянул вниз. У ног простилалась темная необъятная русская земля, потрясенная войной. Где-то в ночи бежала невидимая черта фронта, насильственно разделившая страну. Снизу доносился шум Терека. Черта нашествия бежала вдоль Терека.

Как живет за этой чертой с кровью оторванная от всей страны русская земля? Спит ли она в этот час? О чем думает свою думу? Какую надежду голубит в своем сердце?

И уже всю дорогу не сомкнул глаз. Одни и те же кружились мысли. Темная ночь шумела за стеклами машины, уносила назад.

В штаб фронта приехали утром. Милованов вышел из машины и только тут почувствовал, как смертельно хочется спать. Ослепительно белый день резнул по бессонным глазам. Прикрывая их ладонью, стоял, привыкая к яркому свету.

Адъютант, с припухшим, покрытым серой усталостью лицом, пошел доложить командующему фронтом. Мягкий, темно-малиновый ковер скрадывал шаги. В призмной стоял едва уловимый, но устойчивый запах табаку, пряностей и тканей, присущий Востоку. Милованов провел ладонью по небритой щеке, покрытой темным восточным загаром, и ощутил недовольство собой. Следовало бы после длительной дороги прежде всего привести себя в порядок.

В этот ранний час в приемной было безлюдно. Лишь возле окна, спиной к двери, сидел человек в черной кубанке и в синем башлыке, откинутом за плечи. Кажется, он дремал, положив руки на подоконник и уронив на них голову.

За окном уступами громоздились горы. Ветер табунками гнал барашки облаков, когда они набегали на заснеженные горные хребты, все становилось очень похожим на знакомые с детства акварельные пейзажи. Человек у окна действительно спал, рассыпая по приемной осторожный храп. Дверь в кабинет была полуоткрыта. Милованов слышал — командующий сказал адъютанту:

— Прости.

— Войдите, — открывая дверь и сторукаясь, сказал адъютант.

— Разрешите? — спросил Милованов.

— Да, да, входи, душа, — сказал командующий. Он стоял спиной к двери и, зажав в руке карандаш, приподнимаясь на цыпочки, коротким тяжелым туловищем тянулся к карте, повешенной на стене кабинета. По карте сверху вниз, изгибаясь и делая неожиданные скачки в стороны, бежала багровая жилка. То там, то здесь ее пересекали красные и синие стрелки, вся карта была испещрена стрелками, кружочками и флажками. На столе лежала другая карта, поменьше. Командующий отвернулся от стены, подошел к настольной карте, склонился над ней. Не оглядываясь, кивком головы помянул Милованова к себе.

— Иди сюда.

Милованов подошел, остановился сбоку, заглядывая через плечо командующего. Командующий был выше его; приподнимаясь на носках, Милованов видел спутанную, начинавшую плешиветь проседь на затылке, хрящеватое ухо и круглый овал отечного лица.

Карандаш командующего бежал по карте. Милованов следил за ним, ожидая, что карандаш пробежит вдоль Терека, до низовых казачьих станиц, и здесь оборвется его бег. Но он отвесно поднялся вверх, минуя желтые прикаспийские степи, обогнул Астрахань и, круто повернув влево, скользнул по Волге, до самой излучины, где Волга, сближаясь с Доном, впадает в исконные земли казачества. Здесь карандаш остановился. Посопев, командующий искоса взглянул на Милованова и резко отчеркнул черный кружок стоявшего на излучине города двумя красными стрелами, устремленными в глубь Дона. Где-то у Калача окончания стрел сближались под острым углом.

— Видал? — грудью налегая на стол, спросил командующий.

— Уже началось? — шопотом спросил Милованов.

— То-то и дело, что началось. Наступление идет второй день, я сегодня говорил со Ставкой по вече. Окружение группировки Паулюса...

— Завершено? — быстро спросил Милованов.

— Больно ты горяч... — командующий улыбнулся. — И все же окружение, если

не тактическое, то по крайней мере оперативное — реальный факт двух-трех дней.

— Значит, и мы... — осторожно начал Милованов.

— Мы-то теперь будем грамотными, — командующий усмехнулся. — Сталинградский фронт нас на веревочке за собой потянет. Немцы теперь начнут убегать отсюда. Между Сталинградом и Ростовом совсем узкий проход, и он может захопнуться. Есть уже первые симптомы. 23-я танковая дивизия ушла в район Котельниково. Туда же уехал и сам Маннштейн*. По всей видимости, здесь они попытаются оторваться. И мы должны...

— Упредить?

— Ты угадал, именно это я хотел сказать. Надо не дать им выйти из-под удара. Я тебе могу сообщить, — командующий понизил голос, — высшее командование сказала, что нажим здесь должен сковать маневр немцев и облегчить задачу нашим армиям там. Главное, не дать оторваться. Тут будут решать удары по флангам, по коммуникациям, параллельные преследования.

— Продвижение группы? Танки? Кавалерия? Вот конницы у нас маловато. Всего один корпус, — сказал Милованов.

— Быстер ты на догадки, — командующий пытливо посмотрел на Милованова. — За этим я тебя сюда и позвал. Читай, — он взял со стола лист бумаги, сунул Милованову: — Это приказ Ставки.

Слегка сощурив серые, опущенные темными ресницами глаза, Милованов стал читать. Лист бумаги мелко дрожал у него в пальцах. Прыгали, двоились в глазах строчки:

«Сформировать 5-й Гвардейский донской казачий корпус в составе 11-й и 12-й гвардейских донских казачьих дивизий. 63-й кавалерийской дивизии и частей усиления. Командиром корпуса назначить генерал-майора Милованова Алексея Гордеевича».

Командующий внимательно наблюдал за Миловановым. Голосом, в котором слышались и зависть, и горечь, спросил:

— Доволен?

И, не дожидаясь ответа, быстро сказал:

— По лицу вижу, что доволен. Я бы, душа, на твоём месте тоже ног не чуял бы под собой. Дали бы мне сейчас дивизию, ну, корпусок. Мы, душа, здесь недавно с Семен Михайловичем просидели вечерок, перетрусили память. Хорошее было время...

Оживлённое воспоминаниями, лицо

* Фон Маннштейн — командующий немецкими войсками на Северном Кавказе. После окружения Сталинградской группировки Паулюса был поставлен Гитлером во главе бронированной группировки, которая, наступая в направлении Котельниково, должна была прорвать кольцо окружения извне.

командующего просветлело, тусклые глаза сверкнули из-под седых бровей. Он вылез из-за стола, молодцевато зашагал по комнате и вдруг страдальчески сморщился, замычал, схватился рукой за коленную чашечку. Хромая, доковыляла до стула и грузно сел, весь в испарине... В 1941 году, командуя фронтом в Донбассе, он был ранен в ступню. Рана осложнилась, пришлось генералу переходить из Донбасса на более спокойный фронт. Однако и этот фронт не долго оставался спокойным, рубеж войны быстро передвинулся. Не оправившись от ранения, генерал с утра до глубокой ночи был на ногах, принимал людей, колесил по частям и только изредка, когда становилось совсем невмоготу, ложился в постель. Перейти на госпитальный режим он категорически отказался: «В архив меня сдавать рано, я еще пригожусь стране». А рана требовала ухода и покоя. Стоило слишком твердо ступить на ногу, как острая, стремительная боль пронизывала все тело от пятки до затылка. Вот и сейчас генерал сидел, обливаясь потом. Но, стиснув ногу ладонями и раскачиваясь, он продолжал разговор, цедя сквозь зубы, между приступами боли:

— Ты что же молчишь, Милованов? Или недоволен?

Недоволен? Нет, разумеется, не в этом дело. Как порой неожиданно оборачивается человеческая судьба! Двадцать лет назад Милованов служил в кавалерии рядовым бойцом, впоследствии командовал взводом и эскадроном. Воевал у Киквидзе, потом гонялся за басмачами в Средней Азии, за бандитом Сапожковым в оренбургских степях. В послевоенные годы ушел из армии в институт народов Востока, чтобы сменить военный мундир на фрак дипломата в ближневосточном государстве. Могли ли его иностранные коллеги по дипломатическому корпусу предполагать, что сидящий рядом с ними на приеме во дворце тонкий и безукоризненно воспитанный дипломат Милованов, отлично изъясняющийся на языке Саади, тот самый Милованов, который, командуя в юности карательной экспедицией, привез в окровавленном мешке в военный совет фронта голову главаря банды Сапожкова?

Вспоминая об этом, Милованов мысленно улыбнулся. Он и сам долго не мог привыкнуть к новой для себя роли дипломата. А когда, казалось, уже привык, его снова послали командовать кавдивизией на Ближний Восток. Отсюда он неожиданно попал в пехоту и — прямо на фронт; участвовал в гизельской операции, проведенной столь успешно. Но отпраздновать этот успех ему не дали: взяли из пехоты и снова посадили в седло. Через двадцать лет круг замыкался.

Доволен ли он? По укореившейся привычке солдата он никогда не задавал себе таких вопросов. Приказ есть приказ. Мысль работала уже только в этом направлении. Что за корпус он получит? Кто командует дивизиями, полками? Что скрывается в приказе за словами «... части усиления»? Каков численный состав, конское поголовье, как обути, одеты люди? Конец ноября, нужно подвести корма, поставить лошадей на зимнюю подкову. Гололедица — бич здешних мест. Милованов отлично сознавал, что все эти вопросы упираются в людей. По какому принципу комплектовался корпус? Много ли коренных казаков или он только именуется казачьим? Будут хорошие люди — будет и корм для лошадей, и полковы, и все, что нужно. Ясно, что корпус с ходу введут в бой. На кого в дивизиях и полках можно положиться, опереться в первые часы?

Угадывая его сомнения, командующий фронтом сказал:

— Одиннадцатой дивизией командует Сергей Ильич Рожков, урюпинский казак. Хитрый, как бес, но хозяин. Двенадцатой — Шарабурко, из шахтеров. Его нужно на коротком поводу держать. Шестидесят третей — Мирошниченко, полтавский украинец. Это — старого закала солдат, он у меня перевалы прикрывал. Тирольские стрелки против него в психическую ходили, — выстоял. Заместителей ты тебе пришлешь, начштаба тоже. Есть тут у меня один полковник на примете, он сегодня должен быть. Ну, что тебе еще сказать...

Командующий фронтом посопел, басовито крикнул:

— Адъютант, чаю!

Адъютант принес на подносе два стакана чаю.

— Пей, душа, — придвигая стакан Милованову, сказал командующий. И, уже отхлебнув из своего стакана, продолжал:

— Одиннадцатая и двенадцатая к тебе из четвертого кубанского вливаются. Ты командира кубанцев генерал-лейтенанта Гусаченко знаешь?

— Нет, не встречал, — приложившая стакан навесу, на блюде, покачал головой Милованов.

— Гм. Ну, со временем узнаешь. Он твой сосед будет. Однако мы с тобой засились. — Командующий тяжело поднялся со стула: — Что еще хочешь сказать?

— Я хотел просить... — тоже вставая, сказал Милованов, — приказ такой издать, чтобы всех донских казаков из госпиталей после выздоровления в пятый корпус направляли.

— Гм. Да ты, я вижу, казакoman. Ты-то сам откуда?

— Тамбовский, — сказал Милованов и густо побагровел.

— Тамбовский казак? — округлив гла-

за, переспросил командующий и гулко захохотал, но тотчас же, ступив большой пяткой, болезненно скривил лицо. — Хорошо, я такой приказ подпишу. Ну, с богом, душа! Ехать ты знаешь куда? Ага, в Кизляр! Старым казачкам привет от меня передавай. Они меня по Первой Конной должны помнить.

Милованов вышел в приемную. У окна со стула поднялся полковник в черной мерлушковой кубанке и с откинутым за плечи башлыком. Отвечая на приветствие, Милованов мелком скользя по крупной фигуре полковника и остановившись. Полковник сделал от окна шаг вперед, нерешительно сказал:

— Гордеич?

— Ванин! — протянул к нему руки Милованов.

Обнимаясь, они похлопывали друг друга ладонями по спине. Полковник огромными ручищами бережно сжимал плечи Милованова, глядя на него сверху вниз, спрашивал:

— Какими судьбами? Все такой же худой. Еще больше почернел. Запекся на своем Востоке. Сейчас куда?

— Долго рассказывать. Спешу на самолет. Ты лучше расскажи о себе. Я слышал, ты тридцатой кавдивизией командовал.

— Командовал... — полковник помрачнел, — а сейчас уже не командую. Приехали командиром дивизии одного старичка, а меня оставили у него заместителем. Он до этого в автономной республике в наркоматах ходил и, должно быть, к коллегиальности привык. Так он старичок ничего, но ему надо по конторской части. Боевой приказ надо отдавать, а он соберет коллегию и совещается. Ну, я взвыл, и меня отпустили оттуда.

— Сейчас где? Куда путь держишь? Вот тебя-то мне и нужно!

— Пока нигде. А сватают меня начштаба в какой-то новый кавкорпус, кажется, пятый. Не знаю, соглашаться ли? Конечно, если прикажут... Еще попадешь опять к такому конторщику. Не приведи господь, — полковник истово перекрестился. — Вы, Алексей Гордеич, случайно не слышали, кто в пятый назначен?

Милованов смотрел на него снизу вверх, молча улыбаясь. Озаренный неожиданной дотадкой, полковник громогласно закричал:

— Постой, постой, уж не вы ли, Алексей Гордеевич? — Он снова стиснул плечи Милованова своими ручищами.

— Ну, я, — освобождая плечи и оглядываясь на дверь кабинета, сказал Милованов. — А ты чего кричишь? Иди сейчас же к командующему, принимай назначение и сразу приступай. Я полечу вперед. Здесь в штабе для корпуса нужно кое-что утрясти. Помни — едем на го-

лое место. Надо заказать чекмени, шаровары с лампасами, привезти боеприпасы.

— Есть, товарищ генерал, — полковник уже стоял перед Миловановым вытянувшись, с сухим официальным лицом.

— Ухналей поизи, — тоном приказания говорил Милованов, — чамбуры закази, седла..

— Есть, товарищ генерал.

— Ну, я поехал. Так не забудешь? Жду тебя, Ванин.

Они обнялись.

К вечеру Милованов прилетел в Кизляр. Всю дорогу старенький хлипкий самолет болтал; когда перелетали через хребет, крылья затынуло тонкой пленкой льда, но все же пилот благополучно довел машину и мастерски посадил ее на кочковатом кизлярском аэродроме. Сеяла мелкая изморозь. Шинель быстро покрылась искрящимися капельками, они замерзали на ветру и при каждом движении шуршали, точно кольчуга. Из города, извещенный по военному проводу, начальник гарнизона прислал машину. Шофер должен был отвезти Милованова прямо на вокзал, где, как сообщал в записке начальник гарнизона, стоял прибывший из Грозного вагон Масленникова. Шофер с места взял скорость. Узкие улочки Кизяра неожиданно упирались в тупики. Машина бежала мимо глинобитных домов с плоскими крышами и густыми решетками на окнах. На крышах домов, на каменных оградах, на листьях деревьев лежала красноватая суглинистая пыль. Все это было знакомо Милованову. На секунду прикрыв глаза, он увидел в своем воображении старую часть большого восточного города, такие же глинобитные улочки, решетки домов, красноватую, как сухая кровь, пыль. Возник в памяти стих Низами:

Себе сказал я: час пришел, восстань!

Тебе судьба приносит счастья дань.

Где твоему безделию предел?

Не отстраняйся от великих дел.

Настрой свой лад на благородный саз.

Кто спорит с жизнью — тем она далась,

Кто с поднятой проходит головой,

Тот человек бывалый, боевой.

У вокзала Милованов вылез из машины и пошел по железнодорожному полотну, отыскивая глазами тупик, где должен был стоять прибывший из Грозного вагон. Быстро стемнело. Пути были забиты эшелонами. На платформе стояли трехосные грузовики, танки, пушки, укутанные брезентовыми чехлами. В вагонах пофыркивали лошади, коваными копытами били в дощатые стены. В голосе маневрирующими толкачами протяжно и жалобно ржала кобылица. Запахи сена, бензина, конского навоза, машинного масла и угля смешались в один устойчивый запах прифронтальной магистрали. Он плотным облаком

висел над стрелками и тупичками, над эшелонами и пристанционными постройками. Война была здесь, среди этих стрелок и тупиков. Один за другим шли и шли эти эшелоны, исчезая в темноте. Она требовала все новых и новых.

В прикаспийской степи вечер быстро сменяется ночью. Густая мгла окутывала станцию. Милованов шел почти на ощупь, натываясь на стрелки, обходя угольные ямы, штабеля каких-то ящиков. Только редко кое-где пугливо мерцали во мраке красные и зеленые звезды сигнальных фонарей. Их текучий мигающий свет не нарушал, а лишь подчеркивал глухую непроницаемость ночи. Душная темь легла на землю.

Большие четырехосные платформы были заставлены прессованными тюками сена. Вытянувшись, Милованов выдернул из тюка стебелек, поднес к лицу. Ноздри обжег теплый, хмельной аромат. Волнующе пахнуло степью, лугом и еще чем-то родственно близким. Сено было еще не старое, должно быть последнего покоса. И ароматный стебелек травы согрел душу, рассеял окутавшую ее пелену.

Чтобы выйти к тупичку, надо было обогнуть эшелон. Приближаясь к хвосту эшелона, он услышал густую ругань, крик. Впереди в темноте копошились фигуры людей, рокотал автомобильный мотор, рисовались контуры грузовой машины. Хрипальный голос ожесточенно кричал: — Ты не намеряйся, ты вдарь! Спробуй один разок!

— И вдарю, а ты как думал? Нашел кого автоматом пугать. Ты вон фрица пугай, если тебе оружие дано.

— Я есть кто такой? Часовой на посту, и по уставу мне должна вся государственная власть подчиняться. Отступи, говорю! Ну?

— Ты на меня не нукай, вот запрягешь, тогда и погоняй. Ты мне лучше скажи — это сено чье?

— Тещино. Одиннадцатой дивизии сено, вот чье.

— А дивизия эта, позволь спросить, кому принадлежит? Не четвертому кубанскому корпусу?

— Проснулся! Принадлежала. А сейчас у нас свой корпус есть. Выкусил? Да ты не лапай автомат, не лапай. Отступи назад!

— Нет, ты погоди. Вы от нас уходите, а сено куда берете?

— Мы вашего не берем, у нас в каждой дивизии своего полно. А ты как хотел, вам оставить, а самим побираться итти? Чем мы лошадей будем кормить?

— Та-ак. Знацца ты на приказ начальства начхал. Часовой заглавная фигура в госуларстве — никаких.

— У меня свое начальство есть.

— Кто, позволь спросить?

Пауза. И потом первый голос — приглушенно:

— Дурья твоя башка. Тут может какой шпион за вагоном подслушивает или диверсант, а ты спрашиваешь. Гвардии генерал-майор Милованов, вот кто.

— То-то и оно. А у нас гвардии генерал-лейтенант Гусаченко. Теперь скажи, кто старше — генерал-майор или генерал-лейтенант? Ага, молчишь?

— Ты мне голову не морочь. Для меня свое начальство старше. И... все одно, сена не дам. Отойди на десять шагов!

Третий голос с борта грузовика зло бросил:

— Да брось ты его уговаривать, Стигней. Бери сено, и вся!

Милованов выступил из темноты.

— По чьему приказанию сено берете? Легкое движение у платформы. Молчание. И потом вкрадчивый, недобрый голос: — А вы кто такой будете, дорогой товарищ?

Навстречу Милованову двинулась темная фигура. Он ждал, заложив руку за борт шинели. Человек приблизился вплотную, наклонился, дыша резким мажорочным запахом в лицо. Увидев сверкнувший луч генеральской звезды, отшатнулся.

Милованов тоже наклонился вперед, желая опознать звание стоявшего перед ним человека, и, разглядев, что это рядовой, мягко сказал:

— Сено брать запрещаю.

Сидевший на борту грузовика человек, как мышь, юркнул в кузов, лег на дно, прижимаясь к холодным доскам.

— Оно и правда, нам сено без надобности, — заискивающе заговорил первый голос. — Ежели нельзя — знацца нельзя. У нас своего сена некуда девать. Поехали, Игнат.

Хлопнула дверца, заскрежетала включаемая скорость. Грузовик тронулся с места и, переваливаясь с боку на бок, стал перезжать через рельсы. Скоро в отдалении заглох шум мотора.

«Этак можно совсем без сена остаться», с сокрушением думал Милованов, поднимаясь по ступенькам вагона командующего войсками группы. Вместе с Масленниковым в вагоне приехал Фоминых. Он первый увидел Милованова. Протягивая руку и дружелюбно улыбаясь, сказал:

— Ну, здравствуй, здравствуй, казак. Поздравляю. Так ты, значит, теперь вроде войскового атамана?

Масленников сидел у окна, склонив над картой коротко остриженную голову. Сунув шершавую, горячую ладонь, буркнул:

— Ага, приехал! Запоздал ты, браток. — Прямо с аэродрома.

— Ага, ну, ладно. Садись. — Масленников зашуршал картой. — Ты, Милованов, конечно, думал, что мы дадим твоему

корпусу время на формирование, укомплектование и прочие семейные дела...

— Нет, я этого не думал, — прямо глядя на Масленникова, сказал Милованов.

— Ну, вот и хорошо. Сейчас не время заниматься внутренними делами. Все постарайся утрясти на ходу. Твой корпус немедленно вводится в бой. Ему поставлена задача...

Масленников говорил сухо, отрывисто; колючие, холодные глаза то впивались в карту, то поднимались к окну, буравили завесу ночи.

— ...скрытно от противника пересечь бурунную степь и сосредоточиться для удара правее Моздока, в районах Ага-Батырь, Дыдымкин, Митрофанов. Расстояние отсюда... — Масленников взял спичку, отмеряя по карте масштаб, — сто пятьдесят—двести километров. В два дня уложиться?

— Я еще не знаю корпуса. Как с транспортом, с лошадьми.

— Это неважно, — мотнул головой Масленников.

— То-есть, как неважно? Я думаю, из этого складывается...

— Нам неважно знать, что ты думаешь, нам важно, как ты выполнишь приказ, — Масленников подчеркнул слово «как». — Слушай дальше. На левом фланге у тебя будет 44-я армия.

— Хоменко? — очень тихо спросил Милованов.

— Хоменко, — ответил Масленников и в первый раз за весь разговор внимательно вскинула на Милованова острые зрачки.

— Тебе нужно не за левого соседа бороться, — вставил Фоминых. В коридоре послышались чьи-то шаги, приближаясь. — Как это на Востоке говорят: «По шагам идущего узнаю намеренья его». Хотел бы я знать, что за намеренья у этого человека.

Шаги замолкли у самого купе, и дверь, завизжав, отодвинулась. На пороге стоял высокий кавалерист в ослепительно белой бурке и низкой кубанке мелкого, золотистого купея. Был он красив тяжелоатлетом, немного хищной красотой уже немолодого, селеющего человека. Из-под клочкастых бровей смотрели живые навывкате глаза с темными зрачками в радужном ободке. Вислый нос и выдававшаяся вперед нижняя губа придавали лицу выражение своеволия и упрямства.

— Здравствуй, Гусаченко, — протягивая вошедшему руку, дружелюбно сказал Фоминых. — Садись. Знакомьтесь — это Милованов.

— Очень рад, — низким, клокочущим голосом сказал вошедший и сел рядом, небрежно откинув бурку. Темнозеленый, габардиновый френч плотно облегал его стагную, начинающую полнеть фигуру. Выхолненные усы опушила белая измо-

розь. Масленников смотрел в окно. Не оборачиваясь, спросил голосом, в котором, как показалось Милованову, пряталась тонкая насмешка:

— Ну, как твой Ачикулак*?

— Твердый орешек, товарищ командующий, — вставая, сказал Гусаченко. Бурка скользнула у него с плеч, мягко упала на пол. Противник стянул сюда крупный кулак — до восьмидесяти танков и до двух пехотных дивизий. Кроме этого, доты, колючая изгородь, минированные поля...

— Читал, читал твои донесения, — нетерпеливо перебил Масленников. — Кто их у тебя пишет? Начштаба? С его талантом не сводки, а романы сочинять. Так что же предлагаешь?

— Я уже излагал вам свою мысль, — Гусаченко тронул пальцами оттаивший ус. — Мы кладем по зернышку, а здесь нужен массивированный удар с выходом на степные просторы. Одного корпуса мало. Я предлагаю свести два кавкорпуса, придать им мотомехчасти и...

— Нечто вроде конармии? — снова перебил Масленников. — Кого же ты прочишь в командующие?

— Ну, это второстепенный вопрос, — уклончиво ответил Гусаченко. — А в эту конномеханизированную группу могли бы войти кубанский корпус, затем донской, — он повернулся к Милованову. — Я ведь можно сказать, тебя родил, Милованов, ты у меня две лучшие дивизии забрал!

— Я бы вас просил, чтобы этим дивизиям сено оставили, — в упор глядя на Гусаченко, сказал Милованов. — Приехали на машинах, разгружают эшелоны. А я чем буду лошадей кормить?

— Я такого приказа не отдавал. Это ошибка. Сегодня же выясню, — багровев под пристальным взглядом Милованова, округлил глаза Гусаченко. Фоминых смотрел на них обоих, пряча улыбку в уголках губ. Масленников, легонько побарабанив пальцами по столу, сказал:

— Да, да, сено придется вернуть. Ну, хорошо, сейчас будем о другом. Итак, направление главного удара...

Четыре головы склонились над картой. Час спустя Милованов вышел из вагона. Сяла изморозь. Ночь кутала землю.

Напротив, на платформе, светились угольки двух папирос. Густой, простуженный голос, кашляя, говорил:

— Догнал нас германец до самого Терка. Далеколько нам будет на Дон возвращаться.

— Вернемся, — уверенно отвечал другой голос помоложе. — Вот поглядишь, паша, он отсюда убраться будет побыстрее, чем сюда шел. Непременно вернемся!

* Ачикулак — районный центр в ставропольской степи.

И

Ехали круглые сутки, а степь лежала впереди все такая же просторная, покрытая гривкой черной полыни.

— Да будет ли ей когда-нибудь край? — спрашивали казаки.

Они спали в седлах. В пахах лошадей закипала пена. Волнами бежали к горизонту буруны.

— И что за земля? Один песок. Разве это степь?

— Не такая земля у нас на Дону, — вздыхал вешенец, шолоховский земляк.

— Глазу не за что зацепиться. Сухота. И как тут люди живут? — вторил сосед.

— Давай, Чақан, заводи.

Чақан — сивоусый, шупленький казачок — распрямылся в седле и неожиданным басом оглушил:

Ехали казаки

Со службы домой...

На пасцах погонь,

На грудях кресты...

— Эй, Чақан, твой сынок едет. Опять за песню будет срамить. Суший чорт!

Подъезжал командир эскадрона. Еще издали кричал:

— Опять за кресты?! Это все ты, батя, баламутишь. Тебе же говорено, что крестами император за контрреволюцию награждал...

— Я там не знаю, за что, а только, когда крест получал, я все о том же думку имел — о России. Так, значит, нельзя про кресты? — с ехидством спрашивал Чақан.

— Нельзя. Мало тебе других песен?..

— Жаль. Нашим казачкам эта песня даже по сердцу пришлась. А я-то, темная душа, еще думал свои старые Георгии вывесить. — Чақан забренчал в карманах шаровар серебром.

— Чудно, — раздумчиво говорил казак, когда командир эскадрона отъехал. — Я так разумею, что раньше награды тоже не зря выдавали. Император, и правда, может, за свою выгоду воевал, ну, а нам говорили — за отечество. За отечество мы и складывали головушки.

— Гордеич едет! — шелестело по рядам.

Казаки круто поворачивали головы вправо, скачивая глаза на обочину дороги. Мимо эскадронов на светлорыжем англо-венгерце ехал всадник в черной бурке. Жеребец раскидывал в стороны срезанные копытами стебли полыни. Ветер отворачивал полу бурки, и на шароварах всадника вспыхивал двойной генеральский лампас.

— Гордеич!

Казаки в ниточку равняли ломаные шеренги и, натягивая поводья, ехали стремя в стремя. Лошади шли парадным, танцующим шагом. Жеребец быстро нес всадника мимо эскадронов, но глаза из-под серой шапки замечали все. «Лошади

не поены, не кормлены. Люди валяются в седлах. Выдержат ли?»

Полковник в черной кубанке и в откинутах за плечи синем башлыке верхом на каурой кобыле отделился от головного эскадрона, поскакал навстречу. Правая рука полковника коснулась края заиневшей кубанки. Англо-венгерец заржал, ощеривая желтые зубы, хотел кунуть кобылау, но не достал. Лошади всхрапнули и пошли рядом. Всадник в бурке бросал отрывисто:

— Разведка?

— Вернулась, товарищ генерал.

— Уходят?

— Уходят, товарищ генерал.

— Жгут?

— Дагла. Хутор Чернышев — одни стены. Кречетов — пепел и камни. Жителей угоняют с собой.

— Колодцы?

— Колодцы засыпают. Лошади ложатся без воды. Обозы отстали, люди не спали и не ели вторые сутки. Передохнуть бы надо денек.

Не отвечая, генерал играл рукояткой плети. Глаза его смотрели в сторону. Из рядов выехал низкорослый казачок верхом на вороном меринке. Придержав меринку, казачок потоптался на месте, оглянулся назад, потом махнул рукой и решительно тронул коня. Не доезжая пяти шагов, молодцевато козырнул, пошевелил пушистыми, торчащими в разные стороны усами.

— Дозвольте обратиться, товарищ генерал?

Всадник в бурке наклонил голову, рассматривая казачка. Как-то особенно ловко, подобранно сидел казачок в седле. Все было у него маленьким — и он сам, и кургузый, круглобокий меринок, и карабин, притороченный к седлу.

— Я за кресты... — снова шевельнул усами казачок.

Левая бровь генерала полезла вверх. Казачок заторопился, сунул руку в карман шаровар.

— Вот... на ладони у него серебряным блеском вспыхнули три креста.

— Георгиевские? — с любопытством разглядывая кресты, спросил генерал.

— Они самые... — обрадовался казачок. — Вот и я ему говорю, что георгиевские. А он говорит, что Георгий был святой. Я ему доказываю, что Георгий был Победоносец, а он...

— Кто он? — сдвигая брови, спросил генерал.

— Есть у нас такой командир из ранних, — казачок оглянулся назад. — Ты, говорит, про эти кресты и думать забудь. Генерал улыбнулся.

— Это твои кресты?

— Мои.

— Все три?

— Так точно, все три, — казачок вынул грудь.

— За что же тебе их дали?
 — Первый — за Порт-Артур, второй — за Перемышль, а третий мне сам Брусилов вручал.
 — Значит, заслужил кресты?
 — Я тринадцать раз был раненный, товарищ генерал, — обидчиво сказал казачок.
 — Ну, и носи ты свои кресты на здоровье. Носи, раз заслужил.
 — Стало быть, можно? — опешил казачок.
 — Можно, можно, — генерал улыбнулся.
 — А ежели он опять начнет... — казачок опасливо оглянулся назад.
 — Не начнет. Скажешь — я приказал.
 — Значит и песню можно про кресты? — захлебнулся казачок.
 — Какую песню?
 — А вот какую... — Распрямляясь в седле, казачок набрал полную грудь воздуха и, выкатывая глаза, рявкнул так, что жеребец генерала шарахнулся в сторону:
 Ехали казаки
 Со службы домой...
 — Хватит, хватит, — смеясь, махнул рукой генерал, — Песню тоже можно. Тебя как же зовут?
 — Чакан. Чакан мое фамилие, Камыш такой есть на Дону, крыши им кроют.
 — Ну, езжай, Чакан, догоняй эскадрон. А песни ты хорошо поешь. Только вот конь у меня пугливый.
 Ночь. Тугой ветер — горький ветер Каспия — дует в степи. Соленой росой садится туман. В тумане белым пламенем струится лунный свет. Меркло горят костры. Призрачными кажутся лохматые силуэты людей, протянувших руки к огню. Казаки греются. В темных глазах мерцают красные искры.
 — Сейчас бы к женке притулиться, — говорит силный озбящий голос.
 — К ней сейчас фриц притулился...
 — Но, но, Петро, я таких шуток не люблю.
 — Фрицы, они, брат, не шутят.
 — Я, казачки, со своей совестью так надумал. Ежели придем в станицу и узнаю, что они с моим семейством худо сделали, — возьму первого попавшего пленного и запаляю. Живьем запаляю.
 — Так тебе и дадут! Начальство велит с пленными вежливое обхождение иметь.
 — А я вежливо. Пожалуйте, скажу, жариться. Я с ним по всем правилам обхождения поговорю.
 — Пока он с оружейей, мы с ним воюем, а взяли в плен — зачем руки марать?
 — Кабы они тоже так. У меня тесть из ихнего плена пришел кривобокий и без зубов. Косноязычить стал.
 — А что, Степан, когда мы на германскую землю ступим, смог бы ты их детишек шашкой порубать, или штыком приколоть? Как они наших... Смог бы?
 — Не знаю. У меня своих детей двое: девочка шести годков и сынку третий

пошел. Нет, не смог бы. Дети, они — безвинные.

У соседнего костра другой разговор.
 — О чем же вы с ним говорили, Петр Тимофеевич? — заискивающе спрашивает молодой голос. Отблеск костра ложится на лица казаков.

— О чем? О разном... — Чакан солидно выдерживает паузу. — О семействе допытывался, к себе на вечерок зывал в свободный час. Но я от этого отказался. У вас, говорю, товарищ гвардии генерала-майор, без меня делов хватает, а мне тоже нужно неусыпно за лошадьми наблюдать, как я есть прикомандированный к этому участку ответственный взводный коновод.

— Ну, а за кресты что он тебе сказал? — спрашивает пожилой черноусый казак. Зубы у него под усами белеют, как сахар.

— И за кресты. Раз ты, говорит, геройской души человек и своему русскому отечеству оборонитель, то носи все свои кресты себе на здоровье, и должен тебя за это каждый уважать. А еще посулил мне туда подальше орден выдать. Это, говорит, за то, что ты при своих преклонных летах добровольно пошел против германца служить, а также для полного комплекта к твоим георгиевским крестам. За песню меня дже хвалили. Голос ему мой понравился; все расспрашивал, кто меня так песни играть выучил. А никто, отвечаю, — это сызмальства у меня в горле такая струна объявилась, и меня еще за это наш станичный батюшка отличал, когда я на клиросе пел.

— На сына ты ему жаловался? Вредливый он у тебя...

— А то как же! Я ему говорю, где это видано, чтобы сын над родным отцом команду принимал, да еще покрикивал при всем народе, за кресты и за песни грозил? А он и присоветовал: ты возьми, говорит, своего сынка и плетюганом по тому самому месту, каким на лошадь садятся. А ежели и это не поможет, то пришли его ко мне, я ему сурьезный акафист прочитаю, как надо отца родного уважать.

— Это ты про что, батя? — спрашивает у самого уха Чакана вкрадчивый голос.

Вздвонув, казак оглядывается. Из темноты, из-за плеча Чакана в светлый круг костра выдвигается лицо сына: озорные недобрые глаза под белесыми ресницами, короткий, как у отца, нос с облезлыми ноздрями, ослепительный оскал ровных, блестящих зубов. Казаки вскакивают с земли и вытягиваются перед командиром эскадрона, но он останавливает их рукой.

— Сидите. Про что разговаривали, служивые, если не секрет?

— У нас от начальства секретов не бывает, — передернув плечами, сердито говорит Чакан. Он один остался сидеть у

костра, демонстративно не вставая с земли. — А говорили мы о разном и, между прочим, о том, что время зимнее, а кони до сей поры на летних подковах ходят. А попон нету, и укрывать лошадей нечем, хоть самим ложись на них сверху. А табак опять ахече не везет, и, должно, не скоро этой сказке будет конец. И еще не мешало бы по этакому холоду для согревания души каждому казачку по стопочке отпущать. Я когда в царской армии служил...

— Опять о царе, Горохе, — сурово перебивает сын. — Я уже говорил: об этом и думать перестань. Теперь другие времена.

— А я говорю, генеральский чин возвратили — это тебе раз. Старые кресты разрешили носить — два. Теперь за погоны шушок пошел — три. — Чакан с хрустом загибает желтые, обкуренные пальцы.

— А в ночной наряд до лошадей за такие разговоры — четыре, — круто рубит сын. Он в упор смотрит на отца бешеными, сверкающими глазами.

— Это кому же в наряд? Мне? — приподнимаясь с земли, ошадело спрашивает Чакан. Ноздри у него начинают вздрагивать. В эту секунду отец и сын разительно похожи друг на друга.

— Тебе, батя. Лошадей далеко от огня не отгонять. К ночи укрыть плащ-палатками и мешками. В два часа разбудить казаков на поход. Повторить приказание! — строго говорит сын. Голос его гремит в тесном кружке притихших казаков. Привязанные рядом лошади сторожко прядут ушами.

— ...далеко не отгонять... к ночи укрыть мешками... в два часа разбудить на поход, — послушно бормочет Чакан. Он стоит навтыжку перед сыном. Лицо Чакана заливает бледность.

Круто повернувшись, сын уходит. Чакан медленно опускается на землю, берет палку и начинает ворошить горящие головешки. Молчание возникает у костра. Рядом топчутся кони. Глухая ночь обступает живое пятно огня. Ветер приносит из степи острую горечь вянувшей полыни, шорох оползающих песков, дремотный клекот орла, тельную струю воздуха из лисьей норы, короткий хлопок выстрела. По черному небу, распушив изморозный след, пробежала звезда. Пуля протянула за собой красную нить трассы. И опять темно и тихо в степи.

— Ну, и сынок у тебя, Петр Тимофеевич! — нарушает молчание черноусый казак. — Дуже строгий характер.

— Мой характер, — оживившись, говорит Чакан. — Даже самому иной раз удивительно, — как две капли воды похожи. Да, да, Куприян, ты не гляди на меня, это я снаружи вроде смиренный. Не дай бог, кто мне на душу наступит — тогда я даже самого себя пужаюсь. И он такой

же. Слышал, как он на меня зарычал? Весь в отца, сукин сын! — В голосе Чакана сквозит родительская гордость.

— А касательно сладкого греха, тоже в отца пошел? — спрашивает язвительный голос.

— Это как понимать? — Чакан с недоумением смотрит на собеседника.

— Мудруешь, Петр Тимофеевич, на старости лет. Или проглядел, куда сейчас твой сын лыжи наострил?

— Куда?

— А за курган. С Фроськой. С сестрицей.

— С девкой! — Чакан стремительно вскакивает с земли.

— Да куда ж ты, Петр Тимофеевич? Погоди! Я хотел тебе сказать...

Но Чакан уже не слышит ни слова. Он бежит за курган, за которым скрылся сын. Песок шуршит под ногами Чакана. Ветер рвет, сбивает на сторону жидкую бороденку.

От кургана в темную степь удаляются две фигуры. Идут, тесно обнявшись, неверным, заплетающимся шагом. Ветер дует им в лицо. Их влекут к себе пьяные запахи степи, полночный шопот диких трав. Они останавливаются, сливаясь в один неясный силуэт, их руки сплетаются.

— Тише, Митя, ради бога тише! Могут услышать.

— Кто ж тут услышит? Степь. Ночь. Ни души. Фрося, Фросенька!

Чакан бежит влогонку.

— Митрий! — кричит он.

Две фигуры не оглядываясь, уходят в глубь ночи. Чакан бежит спотыкаясь.

— Митрий! Я кому говорю!..

— Это ты, батя?

Чакан приближается вплотную. Две фигуры, отпрянув друг от друга, ждут.

— От отца хоронишься? Это ты с кем?

— Петр Тимофеевич... — говорит ломкий девичий голос.

— Фроська! Закружила парня?

— Батя!

— Петр Тимофеевич!

— Никогда такого не было. Чтoб баба и с лампасами. Тьфу, мерзость!

— Батя!

— Молчи, щенок! Тоже командир! А над родным отцом куражишься. Засрамлю при всем эскадроне! К генералу пойду! К самому Гордеичу! Сейчас же ступай за мной! Ну?

— Иду, батя, — низким, глухим голосом говорит сын.

Ночь. В степи то гаснут, то снова вспыхивают блуждающие огни автомобильных фар. Они ныряют за бурны и снова, мигая, цепью бегут по гребню.

Зыбкий свет вырывает из темноты кусок дороги, песчаный гребешок сбоку, черную глядку раки, шумит под колесами песок. Справа и слева плывет степь — темная и загадочная, как море. Испуганно шархнется от машины и

свечкой взмоет сова. Сделает стойку на дороге ослепленный заяц и, прынув ушами, кубарем скатится на обочину.

— Стрельнуть бы разок, Луговой, а?

Два луча бегут по колею, озаряют следы людей и машин, мечутся из стороны в сторону и, мигая, замирают на месте. Дорога спускается с горки и вдруг разбегается в три ручья.

— Выйди, Луговой, посмотри. Еще на немца напоремся! Был у меня такой случай.

Тот, кого назвали Луговым, выходит из кабины шофера и рассматривает следы на песке. Светлый сноп фары освещает крупные плечи, красный околыш фуражки и на одну секунду крутой рисунок лица. Ветер гонит песок по степи; только что впереди бежал неровный машинный след, а сейчас опять — непроторенное бездорожье, всё затянул серый сыпучий покров. Луговой ползает на коленях, разрывает руками песок, ищет колею.

— ...Верблюжья тропа... овечий помет... гусеница!

— Ты что там бормочешь, Луговой? Я знаю точно — наши танки здесь не ходили. Возьми компас, карту, свизируй. Он сказал — строго на север.

Голова и плечи спутника торчат из круглой башенки броневика. Наверху — небо, залитое мутным серебром лунного света, бессильно пробиться сквозь туман. Хорошо пахнет ночная степь!

— Погоди, Луговой, я вылезу. Проклятый бурунный край!

Втроем с шофером они ищут след.

И снова два луча распарывают темноту. С шорохом рассыпается под колесами песок.

— Правильно едем, Луговой? Не сбивлись?

— Может быть... Водитель — газу!

— Некуда больше, товарищ майор. Песок. Не гнет.

— Может, в степи заночуем, Луговой?

— Нет, нельзя. Утром полк выступает.

Человек в кабине шофера, не отрываясь, смотрит сквозь узкую щель на дорогу. Броневичок мягко покачивается. Попавшие в полосу света кусты полны ослепительно вспыхивают жемчугом росы. Когда-то это уже было! Эта ночь. Разговор с капитаном. Шумящая навстречу темная и загадочная степь...

— Луговой!

Впереди, в двух десятках саженей, стремительно поднимается кверху и выпускается в небо ракета. Колдовское сияние ее озаряет степь.

— Водитель, гаси свет! Назад!

Гулкая лобь ударов по лобовой броне. Вторая. Броневичок возвращает пулеметную очередь.

— Гони! Капитан, не стрелять, засекут.

Броневичок летит в черную ночь. На

бурунах его подбрасывает, как на волнах. За спиной выстрелы затихают.

— Ушли, Луговой. Ведь ушли, а?

Дорога взбирается на гребень. Темная масса лежит поперек дороги. Человек выходит из кабины шофера.

— Лошадь, еще теплая. Наше тавро. Едем правильно.

За гребнем вдруг открываются огни. Сотни костров горят в степи, снопы искр летят к черному небу. Ветер приносит горький запах дыма.

Луговому знаком этот беспокойный запах. Он напряженно смотрит в пылающую степь. Однажды он уже видел эти огни. Эти искры, летящие в небо. Они ворошат в его сердце воспоминания, уносят его к тем дням и ночам, когда в дыму и в пыли он тащился со своим эскадром по дорогам Дона — горьким и пыльным дорогам отступления.

...Эскадрон Лугового отступал тогда по широкому шляху, который, извиваясь, тек среди золотых берегов пшеницы. Пшеница уже достигла того роста, когда колос ломится, гнется к земле, роняя капли росы.

Катились пушки, упругие шины оставляли на дороге чешуйчатый след, лошади хлопьями роняли мыло. Люди вели их в поводу, в группах винтовочных затворов пылало солнце. Скрипело кожаное снаряжение. Погромыхивали котелки, звякали подковки на подошвах сапог.

Когда на западной окраине неба начинали расти черные точки, люди и лошади уходили с дороги и ложились в душистую пшеницу, плотно прижимаясь к земле. Земля отдавала лязгом, грохотом, звоном. Меркло солнце. Заслоняя небо, проносились над степью черные тени, резкие и частые звуки секли воздух. Луговому эти звуки почему-то всегда напоминали треск лобогрейки на косовице. И, словно скошенные невидимой косой, рушились на землю рядки пшеницы. Там, где они падали, люди уже не вставали с земли.

Становилось тихо, таял в небе тонкий сверлящий свист. Опять выходили на дорогу, строились, двигались дальше. Звеня, трепетали жаворонки, колдовали придорожные кринички, сладостно пахло мятой. Стояло чистое и нежное лето.

— Танки! — резал тишину крик.

И люди, будто подхваченные ветром, смешав ряды, бежали по дороге, ныряли в пшеницу, давили друг друга. Луговой выскакивал с наганом в руке навстречу бегущим, останавливал, поворачивал лицом на запад.

— Ты куда бежишь? — яростно тряс он за воротник гимнастерки бледного широкогрудого человека. — Это же машина, ты ведь тракторист, разве не понимаешь: машина?

Тот останавливался, вставлял в гра-

жату запал и ложился сбоку дороги на землю. Впереди казака и сзади него ложились другие, тоже с гранатами. Оглядываясь на уходящие по дороге обозы, они оставались лежать, слушая стук своего сердца. Кроме этого отчетливого и ясного стука, они ничего не слышали.

Рождался новый, стениющий звук, и за поворотом дороги показывались ржавые облачка пыли. Курчавясь, они быстро приближались. Широкогрудый тракторист лежал, не двигаясь, слышал только этот новый звук и чувствовал, как из тела волной уходит томительная тяжесть — оно становится легким, порожним. Сердце стучало ровнее и глуше, лязгающий звон металла на дороге разительно напоминала работу тракторного мотора.

И когда на дороге зеленым глянецом вспыхивал плоский лоб машины, тракторист, на мгновение вскинувшись над землей, толкал руку вперед. В черно-белой стене огня и земли танк вставал на дыбы, стремительно вертелась рвущиеся гусеницы, коротким ударом в грудь человека опрокидывало на землю, глухота поражала слух. Когда она проходила, облачка пыли на дороге уже стремительно удалялись, звук работающего металла медленно замирал, обрывался. Люди вставали из кустов. Крупным шагом они бросались догонять обозы.

Стрельба вспыхивала то слева, то справа, то позади. Две маленькие, приданные эскадрону пушечки вертелись, как на стержнях. Повернутые к фронту, они через минуту обращались в тыл. Связные задыхались, судорожно зевали ртами, докладывая Луговому:

- Бронемшины на фланге.
- Просочились мотоциклисты.
- Десант на танках.

Командиры жались к Луговому, у всех в глазах стоял один и тот же вопрос. Луговой не смотрел на них.

— По м-стам! — округлив глаза, неожиданно кричал он незнакомым голосом. — Проверьте боевое охранение. Ручные пулеметы поставьте на треноги, в зенит. Пришлите ко мне начхоза.

Гулко щелкали арапники, гудели тугие построшки, литой медью блестели конские крупы. Ехали и на арбах, на бричках, шли пешком, отягощенные сумками и мешками, мужчины и женщины. Задрав хвосты, шныряли в пшенице краснопогие телята, с гиком носились на стригунках по обочинам дороги ребятишки, темногнедая матка утробным ржаньем звала отбившегося жеребенка.

— Мамо! — захлебывался детский голос.

— По пшенице?! Я вам! — грозил ребятишкам арапником чабан, прикрывший голову от солнца гигантским листом лопуха.

Колыхались парусовые крыши над арбами, мужчины ехали в широких чумац-

ких шляпах, женщины цвели яркими платками.

«Тронулся Дон», окидывая взглядом людскую пестроту, думал Луговой.

Проходили через станицы, и там присоединялись к потоку новые люди, из дворов выезжали арбы с домашним добром, с колхозных баз выгоняли скотину. Выгибая шею, танцовали чистопородные кобылицы. В можарах везли крупнозерную, только что намолоченную рожь. Дребезжали хедерами комбайны. Хлопки вытяжных тракторных труб перемежались с винтовочными выстрелами.

Луговой поднимался на придорожный курган, охватывая взглядом степь. От края и до края по шляху, по узким проселкам текли на восток и на юг повозки, пешие, верховые, подымал пыль разномастный скот, мерцали стволы орудий, взметывались дымки разрывов, с промежутками стрекотали пулеметы.

«Нет, надо пропускать беженцев вперед, отрываться и задерживаться. Нельзя воевать, когда женщины и детишки рядом», решал Луговой.

Пшеница струилась, волнами шла на восток, будто спешила вслед. Только начинали жать и молотить ее, в разлившемся океане сиротами стояли одинокие копны. От гребня и до гребня степи бушевало черное пламя. «Выкохала тебя земля-матушка», думалось Луговому.

— Жечь! — приказал он.

Из рядов выбегали казаки. Рассыпавшись в пшенице, они ставили зажигательные пашки и уходили на дорогу. Над пшеницей занимались белые дымки, и синими вспышками вдруг озарялась степь.

Молоденький рябоватый боец зажег пашку и уже пошел на дорогу, но потом, словно что-то вспомнив, оглянувшись, побежал обратно. Ползая на коленях, он ладонями стал тушить растекавшиеся ручейки огня.

— Ты что делаешь? — громко спросил за его спиной Луговой.

Казак вздрогнул, поднял на него полные слез глаза.

— Так пшеница же... — рвущимся голосом сказал он.

— Жечь! — отворачиваясь, повторил Луговой.

Начинались сумерки. Охваченная огнем, глухо гудела пшеница. К темному небу, волнуясь, протягивались тонкие красные стебли огня. Ветер кружил над степью искры.

На придорожных буграх стояли старики с иссиня-белыми при сумеречном свете бородами. Люди и обозы уходили, а старики все стояли и смотрели. На их лицах лежала отблеск пылающей степи. Блестели глаза. В дорожную пыль падали слезы, сворачиваясь комочками. Ветер доносил до степи дымную горечь, и гнетущей тяжестью ложилась она на душу.

...Горечь эта и сейчас лежит на сердце. Дымок горящих в степи походных костров только растрвила ее. Сквозь стекло машины Луговой смотрит на россыпь бивуачных огней. Когда это было—давно или только вчера? Иногда ему кажется, что с той июльской поры минула целая вечность, а вот сейчас кажется, что прошел только один день. На войне день может обернуться годом. Старик, тихо протянувший свою жизнь до края могилы, моложе юноши, возмужавшего в бою. Сколько встречал Луговой опустошенных глаз, потерявших на дорогах войны свой юношеский блеск! Он и сам невозвратно оставил молодость где-то под Таганрогом, у высоты Соленой*, под Куцевкой или под Маратуками. Двадцатичетырехлетним капитаном Луговой попал на фронт прямо из военной академии. Он еще бредил академическими авторитетами, а здесь ему дали наспех собранный, разномастный кавэскадрон и с ходу бросили в бой. Луговому во сне и наяву мерещились Аустерлиц и Бородино, а пришлось со своим эскадроном лежать в обороне на балке Кундрючьей. Однако, зарываясь в землю, в грязь, Луговой часто с благодарностью вспоминал академию. Без нее взгляд Луговому, пожалуй, не обнял бы всего, что происходило за пределами его эскадрона. Это не мешало ему часто мысленно вступать в споры со старыми авторитетами. Война бесцеремонно перетряхивала обветшалые заветы. На поле боя люди мужали с поразительной быстротой. То, что еще вчера представлялось единственно правильным и непреложным, сегодня уже оказывалось наивным и устаревшим. Луговому очень скоро академические представления о войне стали казаться ребяческой романтикой. В жизни все было проще, грубее и неизмеримо труднее. Легко было в аудитории с указкой у карты дискутировать о Каннах. Совсем другое, склоняясь в блиндаже над потертой двухверстной, мучительно гадать о том, как вывести эскадрон из мешка. Для Лугового эти бессонные ночи раздумий не прошли даром. Через год—в двадцать пять лет — он уже был совсем другим человеком. Порой, оглядываясь назад, Луговой сам с изумлением отмечал в себе эту перемену. Ему становилось немножко жаль того мечтательного, простодушного парня, который год назад из академии впервые попал на фронт. С тех пор много было исхожено тропок и дорог. От маленькой украинской станции началось кочевье Лугового эскадроном. Круглыми ямками казачьих лошадей было отмечено это кочевье. Дождь смывал их в запорожской степи, ветер затягивал сыпучим покровом на берегах Северного Донца, снег укрывал белой пеленой под

Таганрогом. В конце ноября 1941 года Луговой со своим эскадроном в кавкорпусе Харуна спешил на помощь Ростову, осажденному гренадерами Клейста. В августе 1942 года он уже в кубанском корпусе бился с эсэсовцами под Куцевкой. Осенью того же года Луговой поднимал свой эскадрон в контратаку в горах под Маратуками. В этом бою был убит командир полка. Луговой принял командование, сбросил атакующие цепи немцев в ущелье, но был тяжело ранен в грудь и в плечо. Он очнулся в полевом госпитале, куда его приволок на своей спине ординарец Остапчук. В госпитале Луговой пролежал без малого три месяца. Там он получил известие о награждении и производстве в майоры.

Теперь, уловив несговорчивого главврача, Луговой до срока выписался из госпиталя и ехал в новый Донской кавкорпус с назначением на пост командира полка в одиннадцатую дивизию. Всю дорогу его томило неясное предчувствие, что он может не успеть к какому-то важному событию. Что-то ждет его впереди? Стороной Луговой слышал, что одиннадцатой дивизией попрежнему командует Сергей Ильич Рожков, теперь уже генерал. О командире вновь сформированного Донского корпуса ходили разные слухи: передавали, что он большой оригинал, что долгое время жил на Востоке и там усвоил азиатские привычки, но толком никто ничего не знал. Теперь Луговой ехал принимать полк. Совсем другое дело—командовать эскадроном, где каждый человек на виду, а попробуй узнать мысли каждого, когда их тысяча. Интересно, вольют ли в полк тот эскадрон, которым до этого командовал Луговой? Во всяком случае, он будет просить об этом командира дивизии. С кем из сослуживцев доведется встретиться ему в полку? Жив ли его верный ординарец Остапчук?

Машину покачивало на рессорах. Мчалась навстречу степь. Ветер бросал в стекло сухой песок.

III

Он приехал за полночь, когда жолк уже снимался с бивуака. Выпавший с вечера туман взмыл кверху и обнажил степь. Ущербленная луна уходила за перекалы бурунов. До позднего декабрьского рассвета еще оставалось добрых шесть часов — время, достаточное для конного перехода в пятьдесят километров. Все же Луговой подумал, что полк теряет много времени, снимаясь не с вечера, а перед зарей. С наступлением утра неизбежно нужно прекращать всякое движение, раскидывая лошадей по балкам, маскируя пушки и повозки бурьяном. Луговой знал, что есть приказ за два дня скрытно пересечь бурунную степь. Но если двигаться всего по шесть часов в сутки, то

* Высота Соленая — место ожесточенных боев под Таганрогом зимой 1941—1942 года.

вероятна заминка в темпе. Все это нужно будет изменить.

У коновязей казаки разбирали лошадей. У колодца, в неглубокой лощинке, стоял разноголосый гомон, гремели ведра, хлопала в корытках вода. Подходя, Луговой различил в общей разноголосице спокойный, неторопливый голос, заставивший радостно сжаться его сердце:

— Подождите, хлопцы, напуйте по очереди. Воды богато.

Это был он, его испытанный боевой товарищ Остапчук, с первых дней войны деливший с ним котелок! И странно, услышав спокойную, украинскую речь своего ординарца, Луговой сразу почувствовал себя в родной семье, вновь обрел то душевное равновесие, которого ему так недоставало все это время, пока он томился на госпитальной койке, пока находился в дороге. Его снова окружали знакомые лица, привычные запахи и звуки. Лошади, отфыркиваясь, с шумом втягивали в себя воду, звенели трензелями, поскрипывали седлами. Люди перебрасывались короткими фразами, полусловами, смысла которых был с детства понятен Луговому:

- Твоя засекает?
- Да, есть трощки.
- Чересседельню отпусти.
- Позаревать бы еще часок!
- И-да, раненько выступаем.
- Дай на одну скрутку.
- А свою натягиваешь?

Теплый душок парующих конских спин, кожного снаряжения и навоза витал возле колодца.

— Не толчитесь, хлопцы. Всим хвате, — рассудительно увещевал Остапчук. Он стоял у колодца, расставив короткие сильные ноги, и ведром, привязанным к возжине, доставал из черной круглой дыры воду, сливал ее в длинное дощатое корыто. Широкая спина Остапчука мерно сгибалась и разгибалась, когда он наклонялся, под гимнастеркой на плечах вспухали бугры мускулов Крепкий, как дуб, он, казалось, мог бесконечно качать воду из колодца. Когда Луговой сквозь густую толпу казаков протиснулся к самому колодцу, и Остапчук, на какую-то сотую долю секунды, скосив глаза в спорону, вдруг увидел знакомый излом крутых, размашистых бровей, железная дужка ведра задрожала у него в руке, и он, передавая его стоявшему рядом казаку, громко сказал:

— Шабаш! Зараз ты, хлопец, вытягай!

Никто из казаков не заметил перемены в голосе всегда уравновешенного украинца. И только, пожалуй, один Луговой уловил эту перемену. Не любил Остапчук наружно выражать своих чувств. Но Луговой увидел блеск в глазах ординарца. Молча они выжирались из толпы казаков — Луговой впереди, Остапчук

вслед за ним. И когда уже отошли от колодца на порядочное расстояние, Луговой повернулся к ординарцу, протянул к нему руки:

— Ну, здравствуй, здравствуй, дорогой Остапчук! Что же молчишь? Или не узнаешь?

— Узнаю, — гулко сказал Остапчук, шумно вздохнув. — Узнаю, — повторил он, стараясь разглядеть петлицы Лугового и, разглядев, почтительно dokonчил: — товарищ майор.

Это все, что услышал от него Луговой. Со стороны могло показаться, что совсем не рад Остапчук встрече со своим начальником. Но Луговой знал, отчего задрожало ведро у него в руке, знал, что скрывается за глубоким, подавленным вздохом Остапчука. Был украинец от природы застенчив и молчалив, не умел выражать своих чувств, а они сейчас теснили его богатырскую грудь. Спаяла война этих двух разных людей, прочно спаяла друг с другом офицера с академическим образованием и просодушного украинского хлопца. Огневые переправы через Дон, тягостные дни отступления в кубанской степи, ночевки под одной шинелью в горах связали их тугими узами боевого товарищества.

— Зараз я вас у штаб проводу, — сказал глубоко вздохнув, сказал Остапчук.

— Веди, веди, — улыбнулся Луговой, любовно глядя на своего ординарца. — Только где же у вас штаб в этой голой степи?

— А тутечко, за бугром. На хферме.

По дороге в штаб Луговой забросал Остапчука вопросами:

— Зорька моя здорова?

— А то як же, — сказал Остапчук, и Луговой услышал в его голосе легкую, глубоко скрытую обиду. Ординарец не понимал, как могло что-нибудь случиться с Зорькой, если он сам неотступно досматривал за лошадью своего начальника.

— На левую не припадает?

— Трошки було, но я из стрелки колючку вытянув. Зараз не припадае.

— Застоялась?

— Дуже гладкая стала. Ее намерявся Синцов узять, а я без вашего приказу не дав.

— Какой Синцов? — Луговой придержал шаг, глядя на Остапчука. — Наш?

— Наш. Его с эскадрона за горилку зняли.

— Ну?

— А зараз в полк прислали. — Остапчук скупо цедил слова.

— Начальником штаба?

— Мабудь им. Но вин зараз полком командуе Нового командира жлуть. Шось его долго нема. — Остапчук снова неприятно вздохнул.

— Теперь уже дождались. Приехал новый командир полка, — прятая улыбку, сказал Луговой.

— Уже приехав? — испуганно спросил Остапчук. — Вы его бачили?

— Эх, Остапчук, Остапчук, — Луговой положил руку ординарцу на плечо. — Ну чего ты испугался? Разве я такой страшный?

— Вы? — задохнулся Остапчук. Луговой почувствовал, как у него под рукой мгновенно запотела рубашка ординарца.

— Ну да, я Или я не похож на командира полка? — смеясь, спросил Луговой.

Но Остапчук в ответ только шумно вздохнул. Он положительно был ошеломлен. И даже на полшага приотстал от Лугового, не зная, как ему теперь нужно держать себя со своим старым начальником.

— Значит, я зараз... — нерешительно начал Остапчук.

— Значит, ты теперь ординарец командира полка, — быстро перебил его Луговой. — И, пожалуйста, не вздыхай так тяжело, Остапчук, а то я еще, чего доброго, могу подумать, что ты недоволен моим приездом. Скорее веди меня в штаб пока полк не выступил. Далеко нам идти осталось?

— Ни. Ось за гребешком, — глубоким голосом сказал Остапчук. Луговой искоса взглянул на него. На широком, освещенном лунным светом лице ординарца отразились все его переживания: испуг, недоумение, растерянность, раздумье. И, наконец, проступила радость, слегка скрасив румянцем круглые скулы Остапчука. Луговой знал причину этой радости. Не перемена в собственном положении Остапчука была ей причиной: Остапчук всегда довольствовался тем, что давала ему жизнь. Сейчас он искренно радовался за своего старого начальника, но, быть может, еще больше радовался за свой полк. За полтора года он успел коротко узнать Лугового, и теперь был убежден, что в полк, переживший в течение последних месяцев трех командиров, наконец, приехал подлинный хозяин.

Они перевалили через гребень и по отлогому спуску стали спускаться в балку. К подножью бугра, укрываясь от ветров, лепились глиняные домики, длинные овчарни под соломой, окруженные саманной изгородью — нехитрые строения здешних мест. Вся ферма состояла из полдюжины таких домиков и трех-четырех сараев. На отшибе от других стоял серый дощатый дом под железной крышей, с высоким крыльцом. К нему-то и повел Луговой ординарца.

— Здесь? — спросил Луговой, заноса ногу на высокую ступеньку.

— Тут, — ответил Остапчук. — Вин, мабуть, еще спать.

— Ну, это вряд ли. Ведь полк выступает, — уверенно сказал Луговой. Переступая через порог и стукнувшись плечом обо что-то в сенцах, ощупью нашел другую дверь, потянул за ручку к себе.

Из комнаты на Лугового пахнуло резким запахом слежалых портянок и спирта. В доме было темно. Луговой стоял на пороге, вглядываясь в плывущие контуры предметов. В правом углу поблескивали золоченые ризы икон. Под иконами стоял длинный стол. Из окна к столу протянулась полоска лунного света, играя на горлышке бутылки. Занимая почти полкомнаты, громоздилась большая, широкая кровать. Между нею и стеной оставался проход в соседнюю комнату, задернутый колеблющейся занавеской.

После долгой дороги, после морозной, ветреной ночи, на уставшего, голодного Лугового вдруг дохнуло мирным домашним теплом. Но, услышав за окнами далекую, хриплую команду: «По коням, по коням, по коням», он с досадой отогнал от себя минутное настроение и, резко шагнув на середину комнаты, окликнул:

— Хозяева! Кто-нибудь есть?

На кровати кто-то заворочался, закрипел пружинами, и сильный мужской голос сердито спросил:

— Кто? Кого там принесло?

Слышно было, как рука шарила по столу возле кровати: «Черт, где же фонарик?» Сноп света, вдруг вспыхнув, косо пробежал по комнате, уперся в лицо Луговому.

— Ты, Луговой? — без удивления сказал тот же голос. — Погоди, я лампу зажгу. — Босые ноги тяжело прошлепали от кровати к столу, чиркнула спичка, и Луговой увидел стоявшего возле стола большого, грузного человека в белой нижней рубашке, в брюках, но без сапог. — А мы тебя вчера ждали, мне по телефону передали приказ о твоём назначении, — сказал он, зевая и почесывая пальцами грудь. — Ну, садись. Впрочем, что же я пригласаю, ты ведь теперь здесь хозяин. Замерз? Вот погрейся стаканчиком, правда, спирт сырец, дрянн, ну да с дороги пойдет. Ва, да я забыл, что ты не пьешь! Это сколько же мы с тобой не видались?

— Три месяца, — сухо сказал Луговой, не двигаясь с места. На столе карты и оружие лежали рядом с бутылками. Лицо Синцова было красно, измято. «Он все такой же», с брезгливостью подумал Луговой.

— Может, приляжешь с дороги? Или сперва закусишь? Я скажу хозяйке...

— Не стоит, Синцов. Нужно ехать. Вы слышите? — За окном ржали лошади, скрипели колеса бричек, тяжело катились орудия, переключались голоса. «Эскадро-он, правое плечо вперед!» кричал звучный молодой голос. На мгновение стало тихо, и потом словно мелкий сухой град зашуршал по степи. Тысячи конских копыт разгребали

песок. Эскадроны снимались с ночлега и уходили на запад, в глубь ночи.

— Нужно ехать. Слышите, Синцов? — прислушиваясь, повтори Луговой.

Синцов зевнул, прикрывая ладонью рот.

— Стоит ли торопиться? Всегда можно догнать на машине. Не спеши, еще надоест, Луговой. Маршрут эскадронам указан...

— Где маршрут? — резко спросил Луговой. Его начинала раздражать покровительственный тон, с первой минуты разговора усвоенный Синцовым.

— Сейчас покажу. Где-то здесь карта... — Синцов пошарил по столу ладонями, зазвенел посудой. Бутылка упала набок; жидкость, забулькав, струйкой стала выливаться из горлышка, потекла по столу, по картам. Острый, сивушный запах ударил в нос. — Ах, ты, чорт! — Синцов бросился поднимать бутылку, — экая жалость, все пролилось! Ага, нашел. Кажется, здесь маршрут. Немножко намокла... — Он подал Луговому карту. Луговой придвинул к себе лампу, склонился над столом. Душившее его раздражение прорвалось наружу:

— Стыдитесь, Синцов. Разве это маршрут? Вы же начальник штаба!

— А что? — испуганно спросил Синцов. — Может, это не та карта?

— Нет, та. Но здесь проведена прямая линия. Колодцы вы оставили в стороне. Кто поехал с эскадронами?

— Никто. Я лично проинструктировал командиров... — Синцов бледнел и краснел, поглядывая на занавеску, прикрывавшую дверь в соседнюю комнату.

— А если завяжется бой — кто будет руководить? — понизив голос, продолжал Луговой. — На стоянках жгут костры. Мы сами выдаем себя противнику.

— Я приказывал, чтобы не жгли...

— А ваши приказы, естественно, не выполняют. Эскадроны ушли, а вы остались где-то сзади. Люди сами себе хозяева. И потом — этот ваш вид, этот... — Луговой обвел жестом убранство на столе, — ...пейзаж. Можно подумать, что вы ожидали не командира полка, а своего собутыльника.

Луговой помолчал и уже мягче сказал: — Оставайтесь здесь, приведите себя в порядок и подстегните обозы. Я поеду вперед.

Он вышел на крыльцо. Гасли звезды, восточная окраина неба медленно светлела. «Вот-вот, недалеко уже рассвет, для перехода остается совсем мало времени. Как будто нельзя было полку выступить с вечера», подумал он.

Разговор с Синцовым оставил неприятный осадок. Не успев приехать, и сразу накричал, устроил разгром! Шевель-

нулось раскаяние. В сущности, Синцов хороший, знающий командир. Правда, распустился за последнее время. И потом — этот беспорядок в штабе, этот возмутительный тон, который он взял при разговоре с ним. Луговой терпеть не мог панибратства.

Ординарец вырос из темноты, держа в поводу лошадь.

— Верхом будем ехать? Чи на машине?

— Верхом, — сказал Луговой.

Остапчук подвел к крыльцу кобылу. Луговой ощутил волнение от близости лошади, на которую не садился уже три месяца. От нее исходил особый чистый запах, по нему он бы нашел ее среди тысяч других.

— Зорька! — тихо позвал Луговой. Кобыла ткнулась теплой шершавой мордой в его руку. Луговой вздрогнул и рассмеялся.

— Узнала, — сказал Остапчук. — Она вас долго шукала, товарищ майор.

Луговой сел с крыльца, не ступив ногой в стремя. Взял в руки повод и вдруг почувствовал, как тотчас распаял неприятный осадок, оставшийся после разговора с Синцовым. Сердце забилося часто и горячо. Луговой почувствовал коленями тепло лошади, и, как всегда, оно передалось ему, волной разливаясь по телу. Еще не трогая с места, но встряхнувшись всем корпусом в седле, он почувствовал, как отяжелела лошадь, застоялась. Рукой он не смог нащупать под ее кожей переднюю лопатку. Округлая, обросшая жиром, она выскальзывала из пальцев. Кобыла вздрагивала, переступая ногами.

— Раскормил ты ее, брат, — рассмеялся Луговой. Он боялся, что Зорька будет тяжелой на рыси, но она с места пошла легко и ходко. Остапчук ехал рядом на своем кауром дохмоногом жеребце, на полкорпуса отстав от Лугового. Ординарец и его конь удивительно прильсь друг к другу. Оба были угловаты, коренасты и налиты той густой тяжеловесной силой, которая создавала впечатление, будто ординарец и его конь вросли в землю. Короткая, сутуловатая спина Остапчука была на диво широка, а круп коня — массивен и покат, словно сточенный водой и ветрами плоский степной валун.

Лошади шли короткой, упругой рысью. Там, где ступали копыта, оставались круглые, неглубокие ямки, их тут же заравнивал песок, и опять гладкая лежала степь.

— Хорошо идет, — бросал с седла Луговой.

— Соскучилась, — отвечал Остапчук.

— Не припадает?

— Ни трощечки.

- Кажется, подпруга туговата?
- Ни, в самый раз.
- Давно перековал?
- Мабуть з нидилю.
- Не рано?
- Уже треба всих коней ковати.
- А подковы есть?
- Кажуть, привизлы.

Между ними снова установился тот же, особый язык, который был понятен и близок обоим. Луговой мысленно задавал себе вопрос — почему он всегда лучше и проще чувствует себя с такими людьми, как Остапчук? Опять пришел на память разговор с Синцовым. Вот с ним Луговой редко находил общий язык. Может быть, с молоком матери-крестьянки впитал он в себя то, что сейчас сближало его с людьми, подобными Остапчуку. И совсем не в том дело, что Остапчук и Синцов разные по культуре люди. У Лугового было много друзей — одноклассников по академии, знакомых офицеров, людей образованных и культурных. Он, разумеется, далек от того, чтобы искать себе товарищей с примитивным кругозором. Очевидно, его близость с Остапчуком объясняется другим — их общим отношением к жизни. Остапчук, во всяком случае, никогда не позволял бы пустить псак впереди себя, как это сделал Синцов.

Однообразная и неприглядная днем, до чего же хороша была степь в прозрачной сетке лунного света! На склонах бурунов мерцали вкрапленные з песок зерна слюды. Тонкие жилки ее выводили на песке замысловатые петли узоров. Черные прядки ракитника, тянувшегося по обочинам дороги, опушил белый иней.

Вскоре Луговой и Остапчук догнали полк. Эскадроны подтягивались на подъем, за которым начиналась равнина. Сырой, прикаспийский ветер дул в спины всадникам. Иней закурчавился в пахах лошадей, присыпал конские гривы, пал на плечи казаков.

..Вот так же, быть может, сто лет назад ехали по степи далекие сородичи казаков. Может быть, кость воинственного предка белеет на обочине дороги? Время и дождь источили ее. Ходил предок донского казака с деревянным копьём на турецкого янычара, на спесивого шляхтича, на вероломного прусса. Куда только не посылали казачья земля своих сынов! Так же тянулись полки за Суворовым под стены Варшавы, за Матвеем Платовым вдогонку Бонапарту. Приземистые курганчики, буйно поросшие сизой полынью, раскиданы на пути казачьих походов.

Объезжая колонну, Луговой поравнялся с первым эскадромом. В голове эска-

дрона ехал всадник в синем чекмене. Луговой направил лошадь к нему.

— Вы командир эскадрона?

— Ну, я, — придерживая лошадь, всадник козырнул. С молодого, почти юношеского лица смотрели светлые, не улыбочивые глаза. — А вас я что-то не припоминаю, товарищ?

— Я командир полка, вот мои документы, — Луговой сдерживал нетерпеливую лошадь. — Вам маршрут указан? Сколько прошел эскадрон? Успеете до рассвета?

Поворачивая лицо к луне, всадник внимательно рассматривал документы. И только после этого все так же неохотно сказал:

— Маршрут указан. А вот успеет — это вряд ли. Пожалуй, доедем до развилки. — Доедете до развилки — свернете влево, — сказал Луговой.

— Это зачем? — щелкая плетью по голенищу сапога, спросил всадник.

Луговой ответил не сразу. В тон всаднику медленно спросил:

— Когда вы отдасте приказание, ваши подчиненные тоже спрашивают у вас — зачем?

Он помолчал. Сзади, в первых рядах эскадрона, кто-то звучно крикнул. Всадник бессильно уронила руку с зажатой в ней плетью. Она черной змейкой скользнула по голенищу сапога и повисла, касаясь махром стремени. Луговой спокойно продолжал:

— Влево колодцы. Если ускорить движение, к утру можно доехать. Утром остановиться, рассеяться и ждать вечера. Но предварительно выслать к колодцам разведку.

Кашлянув, всадник виновато спросил: — Позвольте мне самому доехать с разведкой?

— В таком случае оставьте надежного заместителя. Избегайте открытых столкновений с разведками противника. Однако, если неизбежно — чтобы ни один не ушел. Помните — мы для немцев здесь не существуем.

Уже трогая лошадь, сказал:

— Если будут пленные — обязательно доставить живыми. — Луговой помедлил и раздельно повторил: — Обязательно живыми. Ясно?

Казаки провожали Лугового взглядами. В шеренгах обменивались замечаниями:

— Казак или не казак? В седле — будто казак.

— А по разговору городской.

— Ну, ты на это не смотри! Сейчас молодые гладко говорить выучились.

— Кобыла под ним справная.

— Ты слышал, Петр Тимофеевич, кто он такой?

— Кто?

— Я, говорит, командир полка. И документы твоему сынку показал.

— Еще молоко на губах. а уже командир полка! Как баба вареники, так и командиров нынче лепят. Шлеп, шлеп, и готов.

— Это не по справедливости, Петр Тимофеевич. Не все молодые на один резон. Ты слышал, как он твоему сынку ответствовал?

— Как?

— Я, говорит, отдал приказ — и точка. А вы, как подчиненный, не должны спрашивать, зачем. Ваше дело исполнять.

— Так и сказал?

— В точности говорю.

— Это он ловко его сразил!

— Известное дело — приказ.

— Значит, службу знает.

— А что он за пленных говорил?

— Чтобы, приказал, живыми представлять. А ежели хоть один волос упадет — расстреливать буду.

— Бреешь, Куприян, этого он не сказал.

— Все равно приказал с ними ласково...

— Выходит, знацца, не доверяют нам.

— Ну, это в бою видно будет. Нехай там мне кто закажет.

— Даже мягкие сердца у наших командиров.

Командир эскадрона Дмитрий Чакан вызвал в разведку добровольцев. Словом ряды, казаки плотно окружили комэска. Вызвался весь эскадрон.

— Кто-о позволил строй нарушать? — приподнимаясь на седле, закричал Дмитрий. Лошади шарахнулись от его крика. Виногато покашливая, казаки строились в шеренги. — Или в разведку всей свадьбой ездят? Ты поедешь, Ступаков, ты, Куприян. Еще Манацков, Барбаянов, Пятницын. Все. Я — шестой. А ты, батя, не толчись. Тебе нельзя.

— То-есть, как нельзя? — обиделся Чакан. Он выдался на своем меринке впереди всех.

— Нельзя, и все! Я запрещаю! — сурово прикрикнул Дмитрий. Он еще не забыл обиды, нанесенной ему прошедшей ночью отцом.

Шестеро разведчиков отъехали от эскадрона и быстро исчезли из глаз.

Когда миновали полверсты, Дмитрий обнаружил, что разведчиков не шесть, а семь. Седьмым оказался Чакан. *Отдавшись от эскадрона, он некоторое время ехал в отдалении, а потом осмелев, пристроился к хвосту разведки.*

— Отстань, батя, — сурово сказал Дмитрий.

Чакан промолчал, сворачивая на обочину дороги. Меринск под ним чуть слышно ёкал селезенкой.

— Батя, вернись, — повторил Дмитрий.

Чакан и на этот раз сделал вид, что не слышит. Он правил меринка поблаже к черноусому казаку, стараясь затесаться среди разведчиков. Тогда Дмитрий, догнав отца и наклоняясь к нему с седла, вполголоса сказал:

— Знаешь, батя, что я тебе скажу?

— А что? — спросил Чакан, обманутый миролюбивым голосом сына.

— А то, что лучше бы ты оставался дома на печи. Пользы от тебя здесь — никакой, только баламут — одна. Твое стариковское дело сейчас на завалинке сидеть, да старое вспоминать.

— Это, значит, ты мне такое советуешь? — спросил Чакан.

— Тебе, батя.

— Так-то ты с отцом. Нехай, значит, остается дома, и пусть его там германец казнит. А мне, родному сыну, по этому никакому делу нет, — голос у Чакана дрогнул. — Гм. Спасибо, сынок, уважил мои седые волосы. А место, старому дураку, старуха наказывала: «Поезжай и доглядывай там за Мигской. Не отступай от него ни на шаг, чтобы с ним в бою какая лихость не приключилась. А ежели, говорит, де побережешь, домой хоть не возвращайся...» Вот я и берегу тебя, сынок, и ездию за тобой. Думаю, если его где осколком приласкает или пулей, не дай бог, дарашнет — на своей спине вынесу. Так-то, сынок. А ты, значит, изгоняешь отца, нехай бы он лучше в германском плену оставался. Спасибочка, уважил за милую душу! — Чакан снял шапку и низко поклонился сыну.

Дмитрий промолчал, отъехал. С этой минуты в пререкания с отцом больше не вступал. Ехал сбоку и все о чем-то упорно думал, засмотревшись на луку седла.

Доехали до первого колодца. Был он на голом месте пробуровлен в земле — не укрыт срубом, не огорожен камнем. Вокруг песок истолчен следами колес изрыт копытами баранты, приходящей сюда на водопой. Увлажненная земля густо проросла польнью и черной верблужьей колючкой.

Черноусый казак спешился, лег грудью на землю, заглянул в круглую, темную дыру. Долго смотрел, дыша солоноватой сыростью.

— Ну, что, есть вода? Блестит? — негертелазо спросил Дмитрий.

— ...Нет воды, — глухо уронил в колодец черноусый казак.

«...нет воды», гулко ответил колодец.

— Что за чертовщина? — Казак отшатнулся, сплунул. — Будто кто живой там сидит.

«...сидит», отозвался колодец. Звук заглох и утонул в глубине.

— Засыпали, сволочи, — поднимаясь с земли и отряхивая колени, сказал черноу́сый казак. Он наклонился, стал внимательно рассматривать землю у себя под ногами. — Свежие следы. Конский навоз еще горячий. Они минут пять как отсюда уехали.

— Верхом? — спросил Дмитрий.

— Верхом приезжали. Должно, тоже разведка.

— А много их?

Черноу́сый казак снова нагнулся, стал считать следы.

— Да больше десятка будет. Две лошади раскованы, а другие на новых шипах. Одна, похоже, хромаст. Они далеко не ушли отсюда.

— Догоним! — заерзал на седле Чакан.

— Это надо с головой, они могли засадку оставить, — возразил Дмитрий. Он пошевелил губами, соображая. — Ступаков, Манацков и Пятницын, поедете по следу. Если догоните — двигайтесь сюда, себя не показывайте, но их тоже из виду не выпускайте. Мы вчетвером сейчас поедем на тот курган и перережем им дорожку. Им этого кургана никак не миновать. Как мы с ними завяжемся, вы ударяйте с тыла. Понятно? А теперь давайте поспеваем.

Казаки разъехались. Дмитрий свернул с дороги влево и повел свою четверку по бездорожью, напрямик через степь к темному кургану, неясно маячившему в ночи. Впереди, в неглубокой лощинке, лежащей на пути к кургану, что-то забелело.

— Соль это, братцы, — первым догадался Чакан. — Должно, озеро сухое.

Вдольную подъехали к озеру. От него исходило трепетное голубовато-белое сияние.

— Как в церкви светится, — сказал черноу́сый казак.

Озеро разлилось по лощине и застыло, величаво прекрасное, точно в детской сказке. Солнце выпарило его, а восточный сухой до конца высушил влагу. Соль легла на поверхности плотной серебрящейся кольчугой. Как поднял ветер текучую зыбь, так и застыла она в мертвой неподвижности. Ближе к берегу мелкая зернистая соль припорошила волнистые края озера словно молодым снегом, а на середине ветер оголил синий, как лед, пласт. Был похож он на прозрачный, коловской колодец, бездонно уходящий куда-то в землю. Крупные граненые кристаллы окружали его края. Опрокинутое звездное небо отразилось в синей глубине.

— Красота какая есть на земле! — вздохнул Чакан.

Курган темнел на той стороне озера.

— Объезжать будем? Или махнем прямомиком? — спросил черноу́сый казак.

— Прямиком, — сказал Дмитрий.

Копыта лошадей отчетливо застучали по сухому солянному пласту.

— Экое богатство пропадает! — сказал Чакан. — А у нас в станице, как война началась, днем с огнем нигде стакана соли не разживешься. Сейчас бы всем колхозом сюда на быках.

У подошвы кургана остановились. Ветер шелестел на вершине сухими стеблями бурьяна. Журча, стекала по склону мелкая песчаная сыпь.

— Они этот курган непременно должны кругом объезжать. А мы с этой стороны подождем их и встретим. Ты, Куприян, полезай наверх, посмотри — не едут? — сказал Дмитрий.

Черноу́сый казак, цепляясь за корни бурьяна, полез наверх и тотчас же скатился назад.

— Едут, — шопотом сказал он.

— К бою! — тоже шопотом скандовал Дмитрий.

— В шашки будем? — спросил Барбаянов.

— В шашки.

На вершине кургана шелестел бурьян. Кроме его сухого и звенящего шелеста, ничего не было слышно в ночи. Но вскоре стала различима далекая поступь копыт, разгребающих песок.

— При таком положении вещей... — донесся голос, отчетливо выговаривающий по-немецки.

— Что он сказал? — спросил у Чакана черноу́сый казак. — Ты ведь у них в плену был, Петр Тимофеевич.

— погоди, сейчас скажу. Не сопи над ухом. Они, как сороки, все сразу гомонят. — Чакан повернул ухо к ветру.

Говорило сразу несколько голосов. Ветер доносил только обрывки фраз. Тихину ночи резко разрывала чужеземная речь:

— Чорт побери! Мертвая пустыня, меня знобит.

— Светает.

— Что это такое?

— Столб.

— Пфуй! У меня рябит в глазах.

— Я проголодался, я хожу есть.

— О, французенки!

— Как горохом по печке. О чем они, батя? — спросил у отца Дмитрий.

— Один все какую-то бабу распоминает. Оно известно, баба человеку первая отравла. — Чакан покосился в сторону сына. — Другому местность наша не по нраву пришлась. Холодно ему, пустыня. У него, похоже, душа в пятки уходит. Даже от столба шарахается. Все сму, должно, смертушка мерещится. Он ее дождетя, он дождетя!..

— Тише, батя, могут услышать.

Голоса приближались. Всадники оглядели курган.

Ветер разрывал ткань разговора, путал слова. Черное небо стояло наверху. Казаки, застыв в седлах, слушали. Чужая речь коробила слух.

— Стойкость и упрямство русских — поразительны. Все разговоры о скорой их капитуляции — иллюзия, самообман.

— Предположим. А как поступать с военнопленными?..

— На виселицу! Убивать!

— Здоровое суждение.

— Правильно!

— Я согласен...

— Какие-то даже поганые слова... Капитуляцион, иллюзион. — Чакан сплонул. — Я у них два года в плену пробыл, а такой пакости не слышал. Короче, про наших людей разговор ведут. Русский солдат, говорит, упрямый и с ним никак не совладаешь. А потому, мол, ежели он в плен попал, надо его на виселицу — и готов! Всех подряд убивать.

— Так и сказал? — затрепетав ноздрями, переспросил Дмитрий.

— Так и сказал.

— Ну, спасибо, батя, — голос Дмитрия дрогнул теплотой. — Ты мне очень большую службу сослужил. — Дмитрий положил руку на эфес шашки, трогая лошадь, скомандовал:

— За мной!

Выехали на тропинку. Говор приближался вплотную. Впереди, в темноте, заколебались фигуры верховых. Они растянулись цепочкой. Казаки молча двигались навстречу.

— Пароль? — испуганно спросил немецки передний всадник.

— Что случилось? — переспросил другой голос.

— В ша-ашки! — переводя лошадь з галоп и дергая за эфес, — закричал Дмитрий.

— Западня, ловушка! — падая с лошади, прохрипел первый всадник. Дмитрий вышиб его из седла толчком коня.

Лошади сбились на узкой тропе. Темнота скрадывала число нападавших.

— Огонь, огонь! — повторял жалобный голос.

Храп коней. Хруст кости. Копыта месили песок. Сталь, заскрежетав, высекала пучок искр. Выбитые из седла люди падали на землю, как тугие мешки с зерном.

Немцы развернулись и, как на учении, построились в каре. После внезапного нападения они понесли урон, но и сейчас их было вдвое больше, чем нападавших казаков.

— Огонь, огонь! — кричал все тот же голос.

Лязгнули затворы автоматов. Дело при-

нимало серьезный оборот. Но в эту минуту во фланг каре ударили подскакавшие сзади Манацков, Пятницын и Ступаков. Немцы снова смешали строй. Это решило участь короткой схватки. Казаки прижимали расстроенную шеренгу к подошве кургана.

— Не выпускать! Чтоб ни один! — хрипел Дмитрий.

Рассветало. На склоне кургана затухала горячая рубка. Казаки теснили поредевшую кучку всадников. Дмитрий никак не мог достать шашкой молодого худощавого офицера. Высок был баварский, короткохвостый конь под седлом у немца. В схватке с головы офицера сбили шлем и оторвали зюган. Теперь он болтался на плече золотисто-желтым жгутом. С искаженным яростью и отчаянием красивым лицом офицер умело парировал удары Дмитрия. Выпрямив корпус в седле, он разворачивал палаш, как в фехтовальном классе. К Дмитрию подскакал черноусый казак, заноса над головой руку для баклановского удара.

— Чуток можно, а до смерти нельзя! — испуганно крикнул ему Дмитрий. Он хотел только ранить немца, чтобы взять его живым. Дорогой находкой мог оказаться офицер. Но, видно, не хотел он живым отдаваться казакам. Закричав, он вдруг круто повернул своего коня, сшиб загородившего ему путь Ступакова и вырвался из круга. Прежде чем казаки сомкнули строй, из круга успел выскочить второй всадник. Они стали быстро уходить в степь.

— Вдогон! — яростно закричал Дмитрий.

Офицера догнала пуля. Черноусый казак с седла послал автоматную очередь. Лошадь пронесла немца еще несколько сажень. Он медленно заламывался на правый бок, конвульсивно шаря пальцами воздух. Упал — и конь остановился перед ним, как вкопанный.

За другим погнался Чакан. Он перемахнул на своем меринке через курган, отрезая путь беглецу.

— Манацков и Куприян, скачите вслед! — приказал Дмитрий.

На восточной окраине степи вставало ярко-красное солнце. Над местом недавней схватки курилась пыль, держащая над землей легким облачком. Края его пурпурно пылали. Подошву кургана и рыли копытные следы. Песок с шорохом вбирал в себя пролитую кровь.

— Присыпать трупы, — приказал Дмитрий.

Казаки за ноги переворачивали мертвых. С беззлобным любопытством разглядывали искаженные смертью лица.

— Этот совсем молодой. Должно, неженатый еще.

— Как ты его, Игнат... Черепок пополам.

— Такая у меня рука. Я его только чуток зацепил.

— А этот, видать, обмарался перед смертью. Дух от него тяжелый.

— От них завсегда такой дух. Это они мажутся чем-то.

— Обувка на них новая... Жаль, если зря пропадет.

— Карманы обыскать, документы взять, а всю одежду оставить на них, — сказал Дмитрий..

Песок нагребали шашками. Скоро у подошвы кургана вырос невысокий, приземистый бугорок.

— Вот тебе и могилка, — весело сказал Ступаков, утрамбовывая бугорок ногами.

— Хватит тебе толочь. Поехали, — сказал Дмитрий.

Он напряженно всматривался в горизонт. На горизонте сноваали какие-то черные точки. «Не ускакал ли немец? Как там отец?», направляя лошадь в ту сторону, с тревогой думал Дмитрий.

Чакан шел за немцем в десятке саженной. Далеко слева скакали Манацков и черноусый казак, отжимая беглеца на восток. Немец уходил от погони карьером, выставляя коня над землей. Он сидел, низко пригнувшись в седле, вобрав голову в плечи и по-волчьи ссутулив обтянутую серой курткой спину. Иногда он оглядывался на погоню, и тогда Чакан видел низколобый череп, оскаленные от встречной струи ветра зубы.

На секунду Чакан прикрыл глаза, и ему представилась облава на волка за станицей прошлой зимой. Вот так же волк, сгорбив серую, вылинявшую спину, уходил по целине. Так же затравленно озирался, чуя за своей спиной наступающую погоню.

Вымахнувшее над горизонтом солнце освещало желтую степь. Необычайно похорошевшая, пробуждалась она в покрове голубоватого инея.

Чакан перевел коня в бросок. Заёвав селезенкой, меринок рванул вперед. Чакан видел ссутулую спину немца. Расстояние между ними быстро сокращалось. Заходя немцу с левой стороны, Чакан дергал шашку из ножен, привставая на стременах.

Он не заметил, когда немец, резко обернувшись в седле, вскинул руку. Ослепительно вспыхнул на солнце ствол пистолета. Выстрел щелкнул ударом кнута. Конь под Чаканом зашатался и тяжело стал валиться на правый бок, придавливая всадника.

...Когда Дмитрий подскакал к отцу,

он уже вылез из-под коня. Припадая на придавленную правую ногу, Чакан бегал вокруг упавшего меринка, горестно всплескивая руками.

— Ах, боже мой! Погиб! Пропал мой конь! От самой станицы нес!

Конь лежал на правом боку, вытянув шею и положив на песок длинную сухую голову. Пуля вошла ему в белую звездочку на затылке, прикрытую подстриженной хозяином челкой. Из крохотной ранки скупо сочилась кровь. Багровый глаз вылез из орбиты, медленно покрываясь мутной наволочкой.

— Не возвратишься тебе домой! Не видать больше Дону! — обхватив шею коня, плачущим голосом причитал Чакан. Слезы бежали по его бороде, падали в сухой песок.

Подъехали казаки, гоня впереди себя пленного. Это был тщедушный солдат, почти подросток. Он зябко прятал красные руки в рукава серой куртки.

Глядя на Чакана, казаки молчали. Черноусый, засучив ус, отвернувшись, стал смотреть в сторону.

— Немец! — увидев пленного, закричал Чакан. — Убивец! — выхватив шашку, он бросился к пленному. Солдат закрыл лицо руками. Дмитрий заступил отцу дорогу.

— Погоди, батя. Мы должны его живым в штаб представить.

Черноусый казак уважительно сказал: — Если бы не ты, Петр Тимофеевич, ушел бы он от нас.

— Я! — Чакан поднял на казаков полные слез глаза. — Истинно я! Допек его мой Орелик! Ах, боже ж мой! — Чакан снова бросился к коню.

Подъехал еще один казак, держа в поводу темногнедого коня взятого в плен немца. Немецкий конь хотел уйти, но казак, служивший до войны табунщиком на сельском конезаводе, ловко захлестнул ему шею веревочной петлей. Увидев хозяина, конь коротко заржал. Пленный вскинул на него задрожавшие веки.

— Вот тебе, батя, и конь, — беря повод из рук казака, сказал Дмитрий.

— И глядеть не хочу! Нету моему Орелику замены! — дернул плечом Чакан. Но все же подошел к трофейному коню, щупая глазами его стати. Казаки завистливо переводили глаза с Чакана на трофейного коня. Он был неизмеримо лучше вороного меринка, только что потерянного казаком в коротком бою. В высоком промере холки, в тонком подобранном кзаду туловище, в сухих бабках угадывался высокий экстерьер. Но Чакан никак не хотел признать превосходства немецкого коня над своим Ореликом.

— Карповат трошки. Сыроват. На

IV

рысь, должно, тяжелый, — бормотал он, обходя вокруг коня.

— Может, сменяем, Петр Тимофеевич, на моего? — сказал казак, поймавший коня.

— У цыгана меняй! Ишь, догадливый, — окрысился Чакан и поспешно взял повод из рук сына.

— Ты сядь на него. Спробуй, Петр Тимофеевич, — посоветовал черноусый казак.

Ступив в стремя, Чакан перекинул ногу через седло. Конь шарахнулся в сторону, но, почуввав твердую руку, выравнялся, послушно пошел, нервно вздрагивая связками мускулов под тонкой кожей. Он протяжно и жалобно заржал, скашивая глаз в сторону своего хозяина; заложив руки за спину и с трудом вытягивая ноги из песка, тот понуро брел под конвоем казаков.

— А шкуру-то мы забыли снять, — хозяйственно напомнил Чакан, когда отъехали на десяток шагов.

— Я для этого всегда при себе ножик вожу, — отозвался черноусый казак.

— Только живее, — разрешил Дмитрий. — Вы нас догоните, мы шагом поедем.

Через час Чакан и черноусый казак догнали уехавших вперед. У Чакана к седлу была приторочена конская шкура, стянутая тугими ремнями. Это было все, что осталось от вороного, круглоблого меринка. Тушу Чакан с черноусым казаком присыпали песком. При этом Чакан опять уронил слезу на могиле своего верного друга. Но, сев на трофейного коня, снова повеселел. Конь ему определенно нравился. Особенно по душе было то, что сам он, маленький и щедушный, возвышался над всеми всадниками на своем высоченном, куцехвостом баварце.

— А конь хороший, — оглядывая Чакана сбоку, сказал черноусый казак.

— Ничего конек. Правда, мой Орелик порезвейше был... — Чакан горестно вздохнул.

— А кличку какую ему дашь, Петр Тимофеевич? Ведь он немец.

— Кличку? — В глазах Чакана отразилось глубокое раздумье. — Это ты Куприян, верно сказал. Раз он немец, то русское, христианское имя, вроде Гнедко или там, скажем, Геркулес, грех ему давать. — Взав бороденку в руку, Чакан пожевал губами. Вдруг лицо его просветлело: — Придумал! — радостно хлопнул он себя ладонью по лбу: — Раз он есть добытый мною в геройском бою конь, то назовем мы его, Куприян, знаешь как?

— Ну?

— Трофеем! — И Чакан удовлетворенно засмеялся.

В тесной комнатке жарко. Чугунная плита раскалилась добела. Табачный дым застал потолок. Меркло колеблется пламя свечи на подоконнике.

— Люблю тепло... восточная привычка, — виноватым голосом говорит Милофанов. Он сидит, придвинув табуретку к плите; серые блестящие глаза вприщур глядят на огонь. Генеральский шюрток наброшен на плечи. — Вернемся к вашему варианту, Рожков. Вы меня извините, но он... отдает архаизмом. Атака долговременного рубежа в конном строю пагубна.

— Я полагаюсь на внезапность...

— Но прежде надо прорубить окно. Вы как думаете, Мирошниченко?

— Я с вами согласен, генерал. Лошади подорвутся на минах, нас посекут пулеметы, У него здесь пристрелян каждый клочок.

— Ты, Шарабурко?

Дремлющий в углу рыжеволосый гигант встрепенулся, шагнул на середину комнаты, касаясь затылком потолка:

— Только бы скорее! Полтора года руки томятся, — он с тоской взглянул на свои могучие, изъеденные угольной пылью ладони.

— Уже скоро, Шарабурко, — скользнув глазами по громадной фигуре шахтера, улынулся Милофанов. Он снова повернулся к Рожкову: — Конечно, с точки зрения старого кавалериста ваш вариант романтичен. Однако не больше. Прорывает артиллерия и пехота, а конница только входит в прорыв.

— Но вспомните польский поход, Крым. Самостоятельные операции...

— Вы спутали эпохи. Что теперь может сделать кавалерия без авиации, без танков?

— Как я понимаю, вы предсказываете недалекие похороны конницы? — устало спросил Рожков. Он сидел, грузно сутулившись, за столом. На бритом черепе его выступил пот.

— Нет, не похороны. Но лошадь теперь стала скорее транспортной единицей, чем боевой... Германская армия вовсе не имеет кавалерии. А между тем эта армия — сильнейшая в Европе.

— Вот так же предсказывали отмирание казачества. А теперь мы с вами присутствуем при таком событии... — голос Рожкова дрогнул от внутреннего волнения. — Рождение донского корпуса!

С молоком матери, природной урюпинской казачки, впитал в себя Рожков любовь ко всему казачьему, донскому. Годовалым мальчиком сажал отец Сере-

жку на коня, с гордостью смотрел, как бесстрашно цепляется несмышлениш за жесткую конскую гриву. Может быть, с этой поры и вьелась в сердце эта верность казачьей старине. Закрыв глаза, долгие часы он мог слушать старые песни, приукрашенные домислом рассказы служивых казаков. Свою одиннадцатую дивизию Рожков собирал по одному человеку из донцов. Съезжался к уропинскому казаку Сергею Рожкову первоконники и безусые ополченцы из Усть-Медведицкой, Ново-Анненской, Зотовской, Кумылженской — из верховых донских станиц. Когда штаб военного округа решил растворить казачью дивизию среди пехотных частей, ночь напролет просидел Рожков, наливаясь чугуной тоской, а утром послал телеграмму в Кремль. Три дня, как затравленный зверь, метался по штабу дивизии в ожидании ответа. А на четвертый день из Москвы пришла телеграмма, что дивизия будет жить. До утра просидел над ней Рожков, не сомкнув глаз.

...Вставало морозное утро. Упавшая ночью роса мелким стеклярусом застыла на всенчиках польни. Обчовленная и п.молодевшая, лежала степь. Эскадроны подошли к селу — серые глиняные домики на голом солончаковом месте, ни деревца. Слева, далеко над кромкой горизонта, в голубеющем мареве утра чудились взору белые кварталы, высокие трубы, ажурная башня церковной колокольни.

— Никак город, братцы?

— Город и есть. Моздок. Или не слышал?

— Что ж, мы туда и пойдём?

— Нет. Взводный говорит, что нам до самого Дона степью итти.

— Верхом?

— На этот бугор, должно, на карачках полезем. Лошадей, сказали, коноводам сдать.

— Что-то я не пойму. Похоже, мы наступать собираемся, а приказано окопы копать. Или опять в обороне сидеть?

Казаки дружно гребли лопатами мягкую супесную землю. Черное кружево окопов опоясывало подошву бугра.

— В этой земле сخورяят — не скоро истлеешь. Соль...

— Супротив нашей донской я нигде не видал.

— Земля, она повсюду одна. Русская.

— Чуете, братцы, никак наши пушки загудели?

— Сейчас немцы тоже начнут кидать. Давайте от греха в окопы.

Могучий густоголосый гул потряс степь. С травы вспорхнул иней и облаком поднялся над землей. С могильного кургана

взлетел желтый беркут. Струя горячего воздуха опажнула его крылом, он покачнулся, но потом выравнялся и, расправив радужное оперение, стал набирать высоту. Снаряды выли, сверля воздух. Чертя траектории, они уходили за курган. Калибры спорили басами, баритонами, тенорами. В небо поплыли ключья вязкого дыма.

И вдруг стало тихо. Парящий над степью беркут вздрогнул крыльями, испугавшись тишины. И тогда у подошвы бугра люди встали из окопов, полезли на бугор.

Когда первая волна встала из окопов для атаки, на гребне бугра показались танки. Они, должно быть, прятались по ту сторону его, в засаде. Казаки не успели добежать до вершины и повернули назад; соутулившись, рысцой потрусили к окопам. Танки ударили им в спину из пулеметов. Пули подыали среди бегущих рыжеватые столбики пыли. Поруженный пулеметами, местами лег бурьян. Упали раненые. Но отхлынувшая волна атакующих успела добежать до окопов и скатиться за спасительные брустверы. Тяжело раненые остались лежать на бурьянном поле, похожем на серую, клочкастую шкуру лняющего зверя. Некоторые ползли к окопам, слыша за своей спиной настагающий ляг гусениц. Молоденький, казачок с непокрытой белокурой головой подтягивал на руках тело, волоча перебитые пулеметной очередью ноги. Обессиливая, он ронял на песок чугуно-тяжелую голову, лежал в бурьяне, отдыхая. За ним тянулась широкая полоса крови. Раненый оглядывался через плечо, и, вбирая голову, полз на руках, срывая с пальцев ногти, окрашивая своей кровью песок.

Танки рядами перекатывались через бугор и, вздымая гусеницами пыль, спускались вниз. Луговой стоял на кургане. Он насчитал восемнадцать машин. Но из-за бугра лезли новые, сначала показывая над гребешком башню, потом жерло орудия и, наконец, ребра гусениц, несущих серый громыхающий корпус.

Густой рев моторов заполнял степь. Все притихло, все уступило, все подчинилось этому реву. Машина грубо утверждала свою силу и власть на земле.

Только хозяин степи — беркут, казалось, не хотел признать этой власти. Поднявшись с кургана, он величаво плавал в желтых лучах холодного солнца. Он то чертил над степью правильные круги, то, раскинув крылья черным крестом, стоял в небе над стадом идущих танков.

На полдороге к окопам танки открыли

орудийный огонь. Снаряды легли перед окопами, по склону бугра. Загорелся бурьян. Ветер тянул на восток, бурый дымок пополз по земле, прелой горечью дохнул в лицо казакам.

— Термитными стреляют, сидеть в окопах! — закричал Дмитрий.

— Раненые горят! — крикнул испуганный голос.

Ветер гнал огонь по полю, на котором лежали раненые казаки. Ключья пламени взлетали вокруг них. Раненый с перебитыми ногами, оглядываясь, полз на руках, уходя от пожара. Потoki огня спешили за ним вслед, дочерна вылизывая землю. Тлела рубашка на спине.

— Куда, куда?! — вразброд закричали голоса.

Женщина с санитарной сумкой вылезла на бруствер и на четвереньках быстро поползла по склону бугра вверх. Песок, журча, заструился из-под ее ног в окопы. Под защитной юбкой мелькали загорелые до красноты ноги.

— Как у перепелки, — сказал Чакан. — Кто это, Куприян?

— Да Фроська же. Твоего Митьки присуха. Или не угада?

Фрося карабкалась по склону бугра, ветер дышал навстречу жаром, тягуче, утробно ревел. Санитарная сумка сползла со спины на живот, болталась в ногах. Фрося вскидывала глаза, видела желтую, бушующую лаву, текущую прямо на нее. Сухие стебли травы похрустывали, сгорая. Хрустело все поле, волнуясь красными и синими языками огня. Земля под ладонями стала теплой, под сухим почвенным пластом жар распространялся быстрее, чем наверху. Танки разворачивались, обнимая бугор полукружьем. Луговой насчитал тридцать четыре машины. Центр полукружья выдался вперед, а фланги отстали, перестраиваясь; в центре шли тяжелые машины, желтые как песок.

— Передать на батареи? — спрашивал Лугового на кургане Синцов.

— Подождем, — не отрываясь от бинокля, ответил Луговой. Танки приближались к окопам. Над ними вверху, в сером, задымленном небе попрежнему, как рыжий клочок пламени, трепетал беркут.

— Дуже похожи на черепах, — сказал Чакан черноусому казаку. — Вот так же они у нас весной по берегу Дона командировались.

— А скажи, Петр Тимофеевич, что это за пакость у них впереди намазана? В аккурат медведь, каких цыгане на ярмарках водили.

— Медведь и есть. Это они, чтобы подложь нас напугать. Ночны, они, брат, хитрые.

Потоки огня догоняли раненого казака. Выбиваясь из сил, он все чаще ронял голову вниз, подолгу неподвижно лежал в траве. Теплая земля манила ласковым забытием. Поднявшись во весь рост, Фрося бежала к нему навстречу, придерживая сумку рукой. Она и огонь спешили наперегонки.

— Сгорят! Обое сгорят! — высунув головы за брустверы, говорили казаки.

— Сидеть в траншеях! Я кому сказал! — яростно заорал Дмитрий. Он заметался по тесному окопчику: — Пушки! Почему молчат наши пушки!?

Батареи молчали. Доставая дрожащими пальцами папиросу из портсигара, Синцов, волнуясь, говорил Луговому:

— Я не понимаю вашего спокойствия. Танки подходят вплотную.

— Добежала, добежала! — загомонили в окопах радостные голоса. Тоненькая фигурка склонилась над раненым. Стоя на коленях, Фрося разматывала белый, точный снег, бинт.

— Пить, — вскинув на нее синие, как небо, глаза, сказал раненый и уронил голову в сухую траву.

Танки шли за огнем по черной, искрящейся земле.

— Дура, и чего она возится, — сказал Чакан. — Ведь погибнет девка.

— Кажется, ветер повернул, — потянув ноздрями горячий воздух, сказал черноусый казак. — Так и есть, повернул, Петр Тимофеевич! Теперь не сгорят.

Ветер вдруг изменил направление и подул сбоку. Желтовато-бурый дымок потянул в сторону, оголяя выжженную землю. Ветер погнал клубы огня вправо, вдоль изломанной линии окопов. Пожирая траву, огонь побежал к горизонту. Скоро он исчез за его кромкой, в последний раз взмахнув оранжевым гребнем.

Впереди окопов простиралась вылизанная огнем, страшная в своей наготе земля. Медленно дотлевал бурьян. Танки шли по черному полю в клубах антрацитовой пыли.

— Держись за мою шею. Покрепче, — сказала раненому Фрося. Она быстро поползла на коленках, неся на себе раненого. Обескровленное тело его налилось тяжестью, руки петлей захлестнулись вокруг фросиной шеи. Она задыхалась.

— Сестрица, пить, — дышал ей на ухо раненый.

Сзади нарастал металлический грохот. Фрося чувствовала под своими коленями дрожание земли.

— Эх, не успеет, — высунув из окопа голову, волновался Чакан. — Раздавят девку.

— Батареи! Где наши батареи?! — в тоске стонал Дмитрий. Он вылез из окопа и стоял на бруствере во весь рост. Снаряды падали впереди и позади окопов осколками изрывая брустверы.

— Вы погубите полк, — с красными

пятнами на бледном лице сказал Луговому Синцов. Он рванула к себе трубку левого телефонного аппарата. — Это разгром. Я сам позвоню в дивизион.

— Телефон здесь непричем. И, пожалуйста, без истерик, — холодно сказал Луговой, беря из его рук трубку. Припав к аппарату, он негромко сказал: — Венера, ударить по центру.

Он встал и окинул глазами поле. Вздывая угольную пыль, танки подходили к окопам. Над окопами попадали белые барашки и вскоре донесли до кургана разрозненные хлопки выстрелов. Это открыли огонь бронейные ружья. На левом фланге выскочили из окопов и побежали назад группы людей. Спустившись с кургана, Луговой по ходу сообщения быстрыми шагами пошел на левый фланг.

Тяжело перевалив через бруствер, Фрося бессильно сползла в окоп. Протянулись руки и приняли с ее спины раненого. Опускаясь на землю, Фрося прикрыла глаза.

— Застрелю! Если еще раз — застрею! — яростно тряс ее за плечи, сказал Дмитрий. На секунду Фрося открыла похорошевшие, чистые, как после родов, глаза.

— Пить, — снова закрывая глаза, сказала Фрося. И, запретив влажными ресницами, повторила: — Он просит пить.

Когда Луговой пришел в окопы, батареи уже открыли огонь по танкам, а дрогнувшие на левом фланге люди остановились и вернулись назад. Первые снаряды разрушили центр танков. Над двумя машинами занялся темный, маслянистый дымок. Кусты разрывов вставали густо, в несколько рядов. Удушливо запахло горящим бензином. Луговой приказал перенести огонь сначала на левый, потом на правый фланг. Танки, поворачиваясь к окопам боками, стали уходить.

— Бронейщики! — закричал Дмитрий.

Противотанковые ружья залпами ударили по боковой броне танков. Было отчетливо видно, как густо зачернели на листовой стали круглые дыры пробоя. Из них хлынула черная дым. Смешиваясь с пылью, поднятой разрывами снарядов, он лохматым облаком заколыхался над полем боя.

— Бачите, товарищ майор, тикают, — сказала Останчук, протискиваясь по узкому ходу сообщения вслед за Луговым.

Танки уходили назад, карабкаясь на вершину бугра. Перед окопами остались догорать подожженные снарядами машины. Высокое зарево осветило черную, угрюмую степь.

Но один танк продолжал упрямо лезть вперед на сидевших в окопах людей. Его остановил угловатый в башню снаряд. Танк вздрогнул, поднялся на дыбы, словно готовясь к прыжку, и тяжело рухнул на песок, медленно сползая по отлогому склону. Он умирал трудно и медленно, как большое животное. Из ще-

лей наглухо закрытого люка вдруг вырвалось желтое пламя, и через мгновение танк окутался дымом. Черный, круглый столб вертикально поднялся к небу, почти касаясь перламутрово-светлых облаков. И долго еще в том месте, где поднялся дым, слышался сухой и частый треск, похожий на очереди автоматических пушек. Это рвались внутри танка нерасстрелянные снаряды, разнося в клочья сталь и железо. Долго еще над тем местом витал терпкий, горьковатый душок плавленого металла. Золотисто-желтое пламя шелушило серую, защитную краску, коржило стальные плиты, начисто слизывало нарисованного на лицевой броне танцующего медведя, которым завоеватели в своей самонадеянности рассчитывали устрашить простых русских людей.

Из окопов поднялись люди и, что-то крича, полезли на бугор.

В полдень цепи атакующих перехлестнули через вершину и устремились к селению, лежащему по ту сторону бугра. Бой подкатывался к окраине, когда приехал Милованов. Луговой стоял на вершине бугра, Милованов вышел из эмки, стал подниматься вверх. За ним неотступно шел шофер, бросив эмку где-то внизу. Из-под ног сыпалась черная, горячая земля.

— Полк продвигается, — дотронувшись рукой до козырька, доложил Луговой.

— Вижу, — недовольно сказал Милованов, и Луговой не мог понять, чем вызвано это недовольство. Полк, хотя и медленно, но шаг за шагом теснил противника, в то время как другие полки все еще топтались на флангах.

Немецкие наблюдатели, должно быть, заметили их, и начался минометный обстрел. Но мины рвались где-то далеко за спиной, делая большой перелет.

— Спустимся вниз, — предложил Луговой.

В воздухе что-то булькнуло и в ногах у Милованова вспыхнула пыльца.

— Пуля, — сказал Зоя, поднимая с земли комочек свинца.

— Э, Зоя, та, что просвистела, — не страшна. А вот ту, что поцелует, — эту, брат, не услышишь, — сказал Милованов.

Осадисто били пушки. Снаряды с клекотом пронесли над головой. Черно-красные кусты разрывов плясали среди глиняных домиков селения какой-то дикой, лихорадочный танец.

— Прикажете, чтобы усилили огонь. И пусть перейдут в атаку, — сказал Милованов.

Луговой послал Останчука. Батарейный огонь окреп, слившись в один нескончаемый гул. Разрывы в селении образовали сплошную, багрово-черную стену земли и огня. Артиллерийское эхо катилось из края в край степи.

С земли поднялись в рост серые фигурки людей. Они побежали врзброд, пригибаясь и часто падая. Казалось, сухая, супесная земля притягивала их к себе. В ней одной они теперь видели свою защиту. Впереди людей, колыхаясь, двигалась пурпурная завеса артогня. Люди шли за ней, точно привороженные. Вместе с нею они беспорядочной, расстроенной толпой шарахались из стороны в сторону.

Однако Луговой знал, что в этом кажущемся беспорядке есть свой порядок боя. На поле битвы все не так, как на учебном полигоне. В атаку людей сомкнутыми шеренгами не поведешь. И в том, что они бежали врзброд, расстроенной толпой, видны были побуждения здорового инстинкта и зрелого рассудка. Разрывы снарядов вставали в широких прогалинах между бегущими людьми, причиняя им небольшой ущерб. Лишь немногие оставались лежать на земле. Среди них муравьями сновавали санитары и санитарки. Ослепительно вспыхивали на солнце белые повязки раненых.

Атака подкатывалась к селению. Тогда пурпурная стена огня вдруг разомкнулась, и люди хлынули в пролом. Их поглотила густая желтая мгла, поднятая артиллерийским валом.

Луговой еще сомневался в исходе атаки, а Милованов уже видел ее результат. Он стоял, напряженно приподнявшись на носках и козырьком приложив руку к глазам. На окраине селения снова встал густой лес разрывов. Это стреляли пушки противника, укрытые за селением, в ложнине.

— Захлебнулась, — опускаясь на пятки, сказал Милованов. Со скучающим видом он стал смотреть в сторону. Луговой еще отказывался верить в неудачу атаки, но какое-то особое чутье уже подсказывало ему, что Милованов не ошибся. Сомнений больше не оставалось, когда из селения поодиночке и кучками стали выбегать серые фигурки людей. На этот раз Луговой ясно видел беспорядок. Люди просто бежали назад. Лишь немногие отходили правильными перебежками, временами припадая к земле и огрызаясь огнем. Разрывы провожали их до самой линии окопов.

— Это стало ясно в тот момент, когда его батареи открыли огонь, — повернувшись к Луговому, сказал Милованов. — Пока они не подавлены — успеха не будет. Наши пушки напрасно бьют по селу. Перенесите огонь в ложнину, и он сам уйдет. И потом — посмотрите, как точно ложатся их снаряды в наших порядках. Где-то сидит наблюдатель. Пощупайте вон ту мельницу, — Милованов указал на стоявший в стороне от села бескрылый ветряк.

Уже после того, как он уехал, после того, как были подавлены батареи противника, разбит его наблюдательный

пункт и противник ушел из села на северо-запад, Луговой напряженно думал:

«Почему он увидел, а я не увидел и сам не сделал этого раньше? Я должен был понимать, что достаточно подавить батарею в ложнине, и он сам уйдет. Но я этого не сделал. Почему? Должно быть, потому, что полк продвигался. Но тогда он продвигался шаг за шагом, а вот теперь противник сразу ушел. Очевидно, я просто не мог увидеть то, что увидел он. Чтобы так командовать, нужно иметь тонкий, схватывающий глаз. Но теперь я тоже буду видеть».

Верхом на белой лошади подъехал Синцов. Луговой послал его на правый фланг. После разговора на кургане Синцов избегал взгляда Лугового. Отводя глаза в сторону, он сказал:

— Много раненых, нечем возить.

— А повозки?

— Все наличные повозки я мобилизовал, но их недостаточно. Здесь в ложнине есть автоколонна.

— Какая автоколонна?

— Они возят боеприпасы. Отсюда идут порожняком. Они бы могли по дороге вернуть в госпиталь. Я просил начальника колонны, но он отказал. Какой-то интендант..

— Что он сказал?

— Он сказал, что не может жечь бснзин. И вообще не стал разговаривать.

— Хорошо, я поеду сам. — Остапчук подвел Луговому коня. Луговой внимательно посмотрел на Синцова.

— Вы что-то еще хотели сказать?

— Я хотел вас просить... — Синцов нервно комкал в руках повод, — ...это тягостное недоразумение.. я был неправ.

— Стоит ли об этом, Синцов! — дружелюбно сказал Луговой. — Мне понятно ваше нетерпение тогда. Вы просто утомлены.

За курганом в ложнине стояла автоколонна. Луговой подъехал к головной машине. Шофер в промасленном комбинезоне качал скат.

— Вы едете без груза? Нужно взять раненых, — сказал Луговой.

Дверца машины открылась. Из кабины выглянуло красивое, самоуверенное лицо. Луговой увидел на человеке знаки интенданта.

— Можно подумать, товарищ майор, что вы начальник этой колонны, — улыбаясь в холеные, глянцевито черные усы, насмешливо сказал интендант.

— Я прошу взять раненых. К вам приезжал мой чауштаба... — нахмурился Луговой.

— Я ему уже сказал, что это невозможно. Для этого мне придется сделать крюк. — интендант отчетливо выговаривал каждое слово. Под смуглыми усами пренебрежительно кривились яркие, как у женщины, губы.

— Это по дороге.

— Нет, не могу. Я потеряю полчаса! — покачал головой интендант.

— Они теряют кровь, — тихо сказал Луговой.

— А я вожу снаряды, — интендант захлопнул дверцу кабины.

— Возьмите отделение автоматчиков. Всех раненых положить в машины. Чтобы доставить в госпиталь! — громко, но спокойно сказал Луговой ординарцу.

Дверца кабины, шелкнув, открылась.

— Это самоуправство. Я из штаба дивизии...

Луговой смотрел пустыми глазами мимо, куда-то в степь.

— Вы будете отвечать. Я прикажу колесные двигаться.

— А я прикажу стрелять, — холодно сказал Луговой.

Интендант вылез из кабины, подошел к Луговому. Примирительно тронул рукой гладкое стремя:

— Между двумя офицерами... Можно и без этого уладить.

— Прочь, — очень тихо сказал Луговой. Он попрежнему смотрел пустыми глазами в степь. — Немедленно убирайтесь прочь.

«Ах, гадина!» думал Луговой, выезжая из лощины. Он оглянулся. Интендант стоял возле машины, заложив руки в карманы черного кожаного пальто и что-то говорил шоферу, качавшему скат. «Какая гадина», — прищипывая лошадь, Луговой скривился, как от зубной боли.

Занятое селение курилось дымком. Обугленные стены глинобитных домиков дышали жаром. На дороге копошились люди. Они вынимали из земли красивые, белые ящички и складывали их на обочину дороги.

— Мины! — разгибаясь, крикнул высокий сапер Луговому.

Пошел снег. Смешиваясь с копотью, он ложился на землю серым покровом. Лошадь Лугового, захрапев, шаракнула в сторону. Поперек дороги, распахнув полы серо-зеленой шинели лежал убитый немец. На белом, как гипсовая маска, лице застыло выражение изумления. Снаряд вырыл рядом маленькую, неглубокую лунку. Отброшенная взрывом, на другой стороне улицы валялась смятая каска. Падающий снежок таял на неостывшем лице убитого. Из-под шинели лужей растекалась кровь. Она еще дымилась. Снег припорошил края лужи.

Тускло светило солнце. С горячих камней сбегала вода. Запахло пресным, венинным запахом талой земли. Но ветер, набегавший из степи, обжигал стужей. На площади шоферы цедили из белых трофейных бочек бензин. Под стенами домов, под заборами лежали неубранные трупы. Кровь застывала. А на середине площади, возле колодца, уже пристроил свою двухколесную кухню эскадрон-

ный повар. Гомонливая толпа, брэнча котелками, окружила кухню.

На лафете разбитой немецкой пушки рядком присели два казака. Котелки они поставили на колени. Горячие щи закурвились паром. Ложки дружно скоблили донца котелков. Оживленный голос рассказывал:

— Подскочил я к амбразуре и — гранаты. Их в блиндаже было душ десять. Кровищи натекло — по колено.

— А мясо жирное. Должно, баранина, — обгладывая косточку, говорил другой казак.

Узкие улочки селения загородили машины, заперудили повозки. Подтягивались полковые тылы. Шоферы разворачивали машины среди штабелей мин. Коноводы вели из степи лошадей.

В тесном переулке, среди бричек и машин Лугового нашел Остапчук. Каурый, лохмоногий жеребец под ним раздвухивал боками.

— Как раненые? — спросил Луговой.

— У госпитале, — коротко ответил Остапчук. Он тяжело спрыгнул с коня, отпустил черседелью.

— На пивдороги вин хотив их скинуть, — снова саясь на лошадь, гулко сказал Остапчук. — Ну я сказав, що хлопцы будут стрелять. Тоди вин взякався и повиз.

«До чего же гадина!» снова подумал Луговой, вспоминая красивое, самоуверенное лицо интенданта.

Подъехал Синцов. Козыркнув, он весело сказал:

— Еле нашел вас. Уморил коня.

Красное лицо Синцова вспотело, глаза подернулись маслянистой влагой. Луговой ощутил на расстоянии терпкий, вощный запах.

— Трофейная, — заметив вопрос в глазах Лугового, засмеялся Синцов. — Казаки первого эскадрона угостили. Они две бочки захватили. Я полагаю, по случаю такого дня не возбраняется...

Глаза, смех, радостные интонации в голосе Синцова обезоружили Лугового. Человека возбуждал успех. День и в самом деле был ослепительно хорош. Снег прошел, ветер угнал серые тучи, и солнце щедро озарило по-зимнему побелевшую степь, приурбанные снегом улочки селения. Над проезжавшим через площадь эскадронном вихрилась игровая песня:

Соловушка прилетал, прилетал,
Соловьешку выклалал, выклалал,
Соловьешка, вылетай, вылетай.
Соловушка принимай, принимай.

Влажно блестя оттаявшие крупы лошадей. На башлыках казаков искрились снежинки. Вспыхивали стертые подковы. Эскадрон вытягивался из села, унося за собой песню:

Иванушка, отдари, отдари,
Два колечка положи, положи,
Два колечка золотых, золотых.

— Теперь ждате гостей, — взглянув вверх, сказал Синцов.

— Распорядитесь очистить улицы. Всех людей, повозки и машины — в степь. Чтобы ни души, — сказал Луговой.

Синцов отъехал. На маленькой площади села загрел его зычный голос:

— Почему здесь кухня? Сейчас же убрать! Я кому сказал?!

— Побачьте, вже летят, — сказал Остапчук.

С запада к селу подходило звено «Юнкерсов». Они огибаали круг, чтобы появиться со стороны солнца. Луговой знал этот излюбленный прием немецких летчиков.

Улицы села мгновенно опустели. Машины вырывались в степь. Ездовые яростно стегали кнутами лошадей. Громыкая, протчалаась по площади кухня. Стало тихо, так тихо, что слышно было, как журчит, сбегая с крыш домов, талая снеговая вода. Луговому хорошо было знакомо это напряженное состояние тишины, всегда предшествующее свисту фугасных бомб.

Самолеты приближались с противоположной окраины села. Солнце, казалось, стекало с их плоскостей. Низкий ровный звук буравил небо. Луговому этот звук всегда напоминал слышанный в детстве протяжный предвечерний крик птицы над болотом.

— Гурр — гурр — гурр...

— Зараз будут кидать, — сказал Остапчук.

Самолеты по крутой вертикали стремительно шли вниз. На окраине вспыхнула пулеметная стрельба. Свиста бомб не было слышно. Разрывы слились в один продолжительный грохот. Лугового охватило теплом и упруго толкнуло в грудь.

— Задымився, задымився! — кричал Остапчук. Луговой перешел на другую сторону улицы. Два самолета выходили из пике, набирая высоту. Третий, проваливаясь, тяжело отворачивал от звена, идя на снижение. За ним тяла на небе бурый, желтоватый шлейф. Тяжело со скальзывая на крыло, самолет шел к земле в белом крошечке зенитных барашков. У самой кромки горизонта летчик, должно быть, попытался вырвать машину. «Юнкерс» задрал фюзеляж и вдруг, круто провалившись, отвесно рухнул вниз. Издалека пришел глухой раскатистый гул.

— Зараз сюда идут, — сказал Остапчук.

Два «Юнкерса» медленно разворачивались для второго захода. Они правили прямо к центру селения. Луговой стояла на середине улицы, закинув голову вверх.

— Вы напрасно бравитуете, товарищ майор, — услышал он за своей спиной насмешливый женский голос.

Он оглянулся. Возле дома, прислонившись к стенке спиной, стояла женщина в серой шинели. Руки она держала в кар-

манах. Под серым мехом ушанки поблескивали черные глаза.

— Вам бы следовало пойти в щель, — сухо сказал Луговой.

— Кидают. Ховайтесь, товарищ майор! — взволнованно закричал Остапчук. Луговой побежал через улицу в щель. Пробегая мимо женщины, он схватил ее за рукав шинели, потащил за собой.

— Пустите. Я сама, — вырываясь, запротестовала женщина.

Прыгая в щель, он грубо толкнул ее вперед. Одновременно с грохотом сверху посыпались комья земли. Стало темно. Удушливо запахло взрывчаткой. Луговой пошарил возле себя рукой.

— Вас не ушибло? — спросил он.

— Если не считать того, что вы выдернули мне руку, — сказала сердитый голос Мгла медленно рассеивалась. Луговой увидел — женщина держится рукой за плечо.

— Но это могло стоить вам жизни, — сказал Луговой.

— Благодарю вас, — она церемонно поклонилась, сняла ушанку, стряхивая пыль. На плечи упали русые волосы. — У меня вся голова в земле. И потом... здесь лягушки, — она испуганно огляделась. — Пойдемте отсюда.

— Да, но там бомбят, — с удивлением глядя на нее, сказал Луговой.

— Это все-таки лучше, — со вздохом сказала она, — и потом они, кажется, ушли, — подобрал шинель, она по ступенькам стала подниматься наверх.

Вдали замирал тонкий гул. Девственно сверкала голубоватый снег.

— Как будто нет войны, — уронила она.

— Это же подумал и я, — сказал Луговой.

— Да, но война все-таки есть, — женщина рассмеялась. Теперь она показала ему ниже ростом, чем вначале. Красноармейская шинель горбилась на спине.

— У вас кровь, — она озабоченно дотронулась до руки Лугового.

— Должно быть, царапина, — сказал он, натягивая рукав шинели.

— Подождите, у меня есть спирт, — она достала из кармана шинели флакон и, сосредоточенно сдвинув темные, густые брови, вытерла кровь носовым платком.

— Вы врач? — догадался Луговой. — Откуда вы?

— Зачем это вам, товарищ майор? — она весело посмотрела на него. — Ухаживания я не принимаю.

— Если вы так поняли, — холодно сказал он, коснувшись пальцами козырька фуражки. — Прощайте.

— Подождите.

Ссутулив плечи, он пошел к лошади, не оглянувшись.

Бой перекинулся за высоты. неясно сияющие за окраиной села. Ложились сумерки. Деловито гугали пушки. чолбя передний край. Разбитый противник от-

юдила на северо-запад, к реке Куме. Вдоль линии фронта, шурша, бежала черная эмка. В стеклах трепетали отсветы рудийных залпов. Взмывая над передним краем, разгорались ракеты, разбрызгивали искры мертвого света.

Навстречу по проселку — группа верховых. Впереди на поджарой светлорыжей обывале коренастый всадник. Сытые лошади лениво помахивают хвостами. На кадняках новенькие чехменги, фуражки красными околышами. Негромкий прячется разговор:

— Обеднял Дон традициями. Теперь слабо собирать.

— В донском корпусе командиром должен быть казак. Я не понимаю Ставки.

— Вы ведь из Урюпинской, Сергей Кабич?

Увидев затормозившую эмку, передний всадник легко прыгнул с лошади, быстрыми шагами пошел навстречу, подвинул руку к фуражке.

— Командир одиннадцатой дивизии...

— Не нужно, — Милованов нетерпеливо мотнул головой. — Почему отстали флажки?

— Я послал проверить.

— На дорогах беспорядок, обозы растянулись...

— За это отвечает мой интендант.

— Я не знаю интенданта. Вы командир дивизии. Где ваш ка-пе?

— Мы сейчас меняем место. — Рожков снял казачью фуражку, провел ладонью по вспотевшему гладкому черепу.

— Почему не ставите в известность штаб корпуса? Третий час вас ищут.

— Но, товарищ генерал...

— И потом, что это за кавалькада? Узнаю вашу манию...

Милованов выгнулся из машины, сощурил глаза. В серых зрачках зажегся огонек любопытства.

— Ваша лошадь? Хороший экстерьер.

— Сальского завода. Чистых кровей, — тешеславно сказал Рожков.

— Флажки, флажки, — снова другим голосом повторил Милованов. Он тронул за плечо шофера: — Поехали, Зоя.

Рожков шел рядом с машиной, наклонив бригую голову, обиженно говорил:

— Я к нему посылаю офицера, просил помочь моему левому флажку, а он отстал...

В стороне от дороги — курган. Острая вершина его скрыта лопатами, изрезана окопами. Издали кажется: полонялся курган от солнца. От самого подножья трещины черными зигзагами бегут вверх.

Милованов по ходу сообщения поднимается на курган. В окопах — треск зумеров, пение морзянки, теснота. С вершины, вся на виду, темная, укрытая вечером степь. Бегут внизу гаснущие светлячки транссирующих пуль. Артиллерийские вспышки озаряют черный, неви-

димый горизонт. Ветер тянет снизу густой, жирной гарью.

— Рожков жалуете на вас, Мирошниченко. Он вас просил помочь.

— Я берегу свой резерв.

Глохнут удары пушек. Разрывы снарядов, вспышки ракет обозначают рубеж. Текучими огнями трепещет линия фронта. На крайнем правом флажке против казаков встает живая стена. Черные, густые шеренги, поднявшись в рост, идут в психическую атаку. Светятся в темноте угольки сигарет. Дрогнули, смешались казаки двенадцатой дивизии. К переднему краю подъезжает серый броневичок. На землю прыгивает полковник в черной казачьей папахе, с красивым мужественным лицом.

— Зотовские, ко мне! — машет он рукой.

Кинулись казаки Зотовской станицы, узнали в полковнике своего земляка, — по-станичному, Никишку Завалою. Распахнув шинель, полковник во главе зотовцев шел в контратаку. За ними поднялись другие станицы:

— Бей психов!

Идущие навстречу черные шеренги колыхнулись, остановились. Навстречу тек звериный рев:

— А-а-а-а-а!

Шеренги повернулись и побежали назад. Леденящий ужас касался затылка.

— А-а-а-а-а! — настигая, летело вслед.

Поздно вечером Милованов приехал в штаб. В жарко натопленной комнате, у раскаленной плиты дремал дежурный. Он быстро вскочил, испуганно моргая ресницами.

— Офицер связи вернулся?

— Он вас ждет.

— Пусть войдет сюда.

Молодой капитан, совсем мальчик, вытянувшись, докладывал, что на правом флажке отошли.

— Это все? — Милованов побарабанил пальцами по столу.

— Все.

— Идите.

В комнате было полутемно. В печке потрескивали дрова, пахло смолой. За окном стояла ночь. Отраженный квадрат поддувала лежал на стене. В голове копошились обрывки мыслей: «Отойти и не предупредить — это уже слишком. А этот Луговой, кажется, хороший офицер. Молод, правда. Рожкова с Мирошниченко надо помирить. А за правым флажком придется присматривать...» Сон, подступив, менял направление мыслей.

Скрипнув дверью, вошел Ванин, остановился на пороге.

— Он спит, — тихо сказал Зоя.

— Нет, не сплю, — громко сказал Милованов. — Ты что, Ванин?

— Разрешите доложить, — взволнованно сказал начштаба. — Дыдынкин, Митрофанов, Ага-Батырь заняты частями корпу-

са. Оборона противника прорвана по фронту на двадцать километров. Командиры дивизий ждут ваших приказаний. Милованов встал — маленький, смуглый, сухой. Скользя взглядом по раскаленной плите, Глаза брызнули отраженным светом искр. Слушая музыку слов, медленно сказал:

— Вести дивизию в прорыв

V

Все время — степью, балочками и толами, по хрусткому снежному насту, по непроторенной тропе. Ночами пылающие скирды озаряли путь похода. Ветер кружил поземку вместе с золой. На обочинах — кучки сгоревшего металла, гладкие, как голыши, каски, зияющие жерла воронок. Порывом сдует поземку, и оголится зеленая пола мундира, конвульсивно сжатая рука, белое, выжатое морозом лицо трупа. В синем выжженном дыму движутся, колеблются силуэты дорожных вещей. Кажется они вставшими с обочин мертвецами, бредущими в белых саванах на запад по колени в глубоком снегу.

Рыхлый, широкий след перепахал просохшее поле озимки. Поникли придавленные гусеницами изумрудно-зеленые ростки. На гребнях степных перекатов пулеметный огонь посек молодые деревца. Лишь обугленные пеньки скорбно глядят из-под снега. Запахом горького тлена дымится опаленная пожарищем земля.

Но неистребима сила жизни. Зарю на розовой, снежной целине ляжет тончайшая сетка лисьих следов. Среди голых пеньков хлопотливо забормочет зимающая под перекатом куропатка, собиравшая гнездо для будущего выводка. А весной из черного, расщепленного пенька снова вытянется тонкий, молодой лист. Поднимется вытоптанная танками, вылизанная пожаром озимка. Огонь потравил только верхнюю поросль, внизу же осталось жить семя. Согретое благостным теплом земли, оно даст новый побег, и он властно встанет навстречу солнцу, утверждая торжество жизни над смертью.

За полтора года, проведенные на войне, Луговой окончательно уверовал в неистребимость всего живого. И теперь, наступая с полком по разбитым противником дорогам, мимо черных пустырей и пепелищ, проходя через выжженные дала, разрушенные местечки и хутора, он только окреп в этом своем убеждении. Едва орудийное эхо уходило на запад, как на пепелищах появлялись люди и начиналась жизнь. Из обломков камня, из кусков кровельной жести люди строили себе жилища, пустые окна закладывали зеленым бутылочным стеклом, и скоро за скном уже слышался крик ребенка, а

из трубы струился кудрявый дымок. Люди обстраивались прочно и надолго, женщины откуда-то везли на ручных тачках столы и табуретки, кастрюли и цветочные горшки. Черные пустыри кишели, как муравейник. На голом месте, на золе вырастали улицы, сложенные человеческими руками. Пламя войны, опалив людей, не могло заставить их поверить в смерть.

За два дня Луговой ни разу не прилег, не сомкнул глаз. Все время в седле, из эскадрона в эскадрон, с батареи на батарею. Бессонную голову клонило к холке лошади. На третий день Остапчук нашел квартиру на окраине занятого полком хутора Кизилова. Стоявший на отшибе дом чудом уцелел от огня. Молодая, черноглазая хозяйка проворно вымыла пол в горнице, затопила печь, собрала на стол Луговой поманил к себе трехлетнего сына хозяйки. Он слышал, мать называла его Сережей. Посадив мальчика к себе на колени, спросил:

— Где же твой папка, Сережа?

— На войне, — угрожно ответил мальчик, засунув в рот грязный кулачок. Из-под крутых бровей на Лугового недружелюбно смотрели черные, как у матери, глаза.

— А что же он делает, на войне, твой папка?

Мальчик тревожно взглянул на мать быстрыми глазами. Помолчав, осторожно спросил:

— А ты сам, дядя, кто такой, немец или русский?

— Русский, русский я. — Луговой рассмеялся, достал из кармана кусок сахара. — На, вот, возьми, Сережа.

Хозяйка метнула на Лугового благодарный взгляд. Мальчик снова взглянул на мать черными, как сливы, глазами. Он, видимо, находился в затруднении. Выручая сына, хозяйка сказала:

— У наших соседей офицер останавливался, немец. Вот так же девочке шоколадку дал, про отца спросил. А она и скажи ему, — немца бьет. Тогда он вынул пистолет и все пули — в нее.

После обеда Луговой вышел во двор. Грустным взглядом окинул небольшое хозяйство. И в этом маленьком дворике побывала война. Артиллерийский снаряд вырыл перед домом воронку, разбросал кругом комья земли. Угол крыши был начисто сметен воздушной волной. На земле лежали сорванные с петель, разбитые ворота. Подпирающий дом столб подгнил и грозил рухнуть. Но не только война пагубно отразилась на хозяйстве. Время тоже рушило, подтачивало его устои. Из всех углов глядели запустение и беспорядок. Ко всему пора было приложить умелую мужскую руку.

Луговой взял молоток, подправил ворота, надел их на петли. Остапчук подставил лестницу, перекрыл угол дома. Потом принес с улицы поваленный телеграфный столб, подпер им сени. Вдох-

нув, Луговой отметил про себя, как жадно рука его держит молоток. Это было лучше того ремесла, к которому сейчас вынуждал русских людей чужеземец. Должно быть, и муж хозяйки, если он жив, асест заветную думку о возвращении к своему хозяйству.

Остапчук, как видно, в этот момент думал о том же. Но, по обыкновению, мысли свои он выразил немногословно:

— Ох, и лютую же я на него зараз, товарищ майор! — сказал он, яростно обстругивая топором стойку для забора.

— На кого, Остапчук? — спросил Луговой.

— На немца. Зараз бы я робыв соби у колхози. Дюже я на него лютую! — Остапчук одним ударом топора вогнал стойку в землю.

Ординарцу работа пришлаась по душе. Он один справлялся за четверых. Пока Луговой ладил ворота, он и угол крыши перекрыл, и столб поставил, и забор починил, и навоз, раскиданный по двору, сгреб в одно место. Хозяйка, вышедшая к колодцу с ведрами в руках, не узнала своего двора.

— Люди добрые!.. — только и сказала она, роняя ведро.

Вечером в горнице пили чай. Остапчук спал в передней, рассыпая по комнате густой хрип. Хозяйка сидела против Лугового, откусывая сахар острыми, мелкими зубами и осторожно сдувая с блюда пар. Она раскраснелась, на лбу выступили мелкие капельки пота. Днем ее внешность не обращала на себя внимания, но теперь разгоряченная, с оживленными, заискрившимися глазами, она погказалась Луговому похорошевшей и свсем молодой. К вечеру она принарядилась, надела белое с оборочками платье и накинула на плечи пуховый козий платок: засияла ее строгая, неяркая красота. Со смешанным чувством жалости и восхищения Луговой смотрел на молодое лицо хозяйки. Война внесла в жизнь женщины, может быть, даже больше изменений, чем в жизнь мужчины. Ему по крайней мере не привыкать держать в руках винтовку, а вот на ее плечи, кроме обычных женских забот, теперь упало еще и непосильное бремя всего хозяйства. Сколько раз Луговой, в дни отступления, видел женщин, бредущих с ручными тележками по дорогам на восток, и теперь с этими же самыми тележками возвращающихся на родные, насиженные места. Что ожидало их — дымок над пожарищем, кучка пепла, торчащая в небо обугленная труба? Как божьей птахе, нужно опять по пруткику складывать домашнее гнездо, собирать топяиво для детей, добывать им скудную пищу. И все сама, все одна, без чьей-либо помощи! Где уж тут думать о своей красоте? Разве, иногда мельком взглянет в осколок зеркала и увидит постаревшее лицо,

преждевременную паутину морщин возле глаз. А вечером не у кого выплакаться на плече, пожаловаться на свои горести. Муж далеко, а заезшему случайному гостю разве станешь открывать душу?

Под пристальным взглядом Лугового хозяйка смутилась, поставила блюдо на стол. Она, должно быть, по-своему истолковала его взгляд, маленькие розовые уши ее пунцово запылали. Она встала, опачнув Лугового теплом своего тела, и низким голосом спросила:

— Вы, должно быть, спать хотите? Устали?

— Устал, — признался Луговой, с трудом размыкая слипавшиеся веки. Чертовски хотелось спать после суролюки последних двух дней. Углы комнаты в тумане плаыли перед глазами, Луговой вздрагивал, открывал глаза, стараясь, не мигая, смотреть на огонь лампы.

— Вы как мореный конь, — засмеялась хозяйка. — Я сейчас постель разберу.

Она взбила перину, разослала свежую простыню, положила подушки. Прикрутив фитиль лампы, легла на лежанку, рядом с сынишкой, сладко бормотавшим во сне. Долго прислушивалась к дыханию гостя в темноте. Давеча, за столом, он смотрел на нее таким взглядом, что даже в краску вогнал, а как только она постелила ему постель — упал, как сноп, и сразу затих. Похоже, простой человек — сына посадила на колени, ворота подправил, а по разговоры — городской, и какой-то важный офицер. Ездит с адъютангом! Сладко забормотал во сне мальчик. В передней громко храпел Остапчук.

Утром хозяйка вышла проводить Лугового на крыльцо. За ее юбку держался сын, исподлобья поглядывая на чужого дядю.

— Прощайте, — садясь на лошадь, сказал Луговой. — Спасибо вам..

— Не за что, — тихо ответила она. — Тебе спасибо, непохожий ты на других, совсем не такой.

— Разве?

Он думал о ней, мерно покачиваясь в седле. Потом мысли его перешли на ту женщину-врача, которую он силой укрыл в щели от бомб и которая оставила в его душе неясный, тревожный след. Сейчас Луговой знал об этой женщине немного больше, знал, что ее зовут Мариной.

Он снова встретился с ней, оббезжая в пути растянувшиеся колонны полка. Приданный полку полевой госпиталь потерялся где-то далеко позади, и Луговой поехал искать его в тылах. Он нашел его на переправе через мелкую, незамерзающую зимой речушку. Мост был подорван, и ездовые правила лошадей вброд, по мягкому илистому дну. На стремнине нагруженная медикаментами

бричка провалилась передком в яму. Ее начал объезжать крытый зеленый фургон. Чека зацепилась за чеку, и фургон остановился, перегородив всю речку. Ездовые соскочили с бричек в воду, схватились за грудки. Загрожали воротники рубах. Ругань повисла над рекой. На берегу, ломаясь зигзагами, вытянулся длинный хвост подвод.

— Сейчас же прекратите! Где начальник госпиталя? — осаживая лошадь, резко сказал Луговой.

Ездовые отскочили друг от друга, как испуганные петухи. Худощавый казак в затанном чекмене, с усилием опуская по швам вздрагивающие мелкой дрожью руки, ответил:

— На последней повозке. В конце хвоста нужно искать.

Подъезжая к хвосту колонны, Луговой заметил серую ушанку и блестящие изпод заячьего меха глаза. Он почему-то сразу решил, что она и есть начальник госпиталя. Марина, тоже узнав его, дружелюбно улыбнулась:

— Здравствуйте, товарищ майор.

— Почему вы в хвосте колонны? Впереди — пробка, беспорядок, — придерживая лошадь, сухо спросил Луговой.

— Я думала, здесь уместней... чтобы не отставали. Хорошо, я проеду вперед, — согласилась она, с испугом, как показалось, скидывая на него темные ресницы. Луговой тотчас же раскаялся в своем враждебном тоне и все-таки продолжал говорить не меняя голоса:

— Вы все время отстаете. Полк ушел вперед...

— Но разве мы виноваты? Интендант дивизии отказал в машинах, — запальчиво сказала она, вспыхнув. В черных зрачках ее засветился злой огонек.

— Вы сами говорили с интендантом?

— Это безразлично. Важно, что он отказал, — она поджала ноги под передок брички. Луговой вдруг с оскорбительной ясностью представил себе рядом с ее лицом красивое, самоуверенное лицо интенданта.

— Хорошо, я пришлю машины, — поспешно сказал он. Его лошадь шла рядом с бричкой. Она сидела, скорбившись и засунув в рукава шинели озябшие руки. Под колесами подвод, под копытами лошадей хрустел мерзлый снежок. Ветер дышал из степи морозным настоем полыни, запахом жирующих зайцев.

— Вы вправе сердиться на меня, — после молчания сказала она тихим голосом. Она в упор смотрела на него снизу вверх. Он густо побагровел.

— Нет, нет, — остановила она, — для меня это урок, то, что случилось тогда. Нельзя же ко всем подходить с одной меркой... Вы мне напоминаете одну мою близкую подругу, даже лицом... И такой же, как она, строптивый.

— Вы озябли. Я скажу, чтоб прислали валенки, — вдруг сказал Луговой. Она внимательно посмотрела на него. Он внутренне ожесточился, боясь, что она, снова истолкует его слова иначе, чем он думал. Но она сказала очень просто:

— Спасибо.

Лошади шли в клубах морозного пара. В воздухе плаыл тягучий колесный скрип.

— И все-таки, признайтесь, что не только товарищеские побуждения...

Поблуднев, он заторопил лошадь.

— Через полчаса придут машины.

— Вернитесь, — тихо сказала она. — Вот вы какой...

Вторая женщина сегодня говорила ему почти одно и то же. Что они могли найти в Луговом, что отличало его от его полковых товарищей? Луговой никогда не отделял себя от товарищей, а тем более никогда не признавал за собой никаких особых достоинств, которые могли бы поставить его выше других. Правда, он уже командовал полком, в то время как многие из его однокашников по академии продолжали командовать эскадронами и батальонами. Но он приписывал это исключительно счастливому стечению обстоятельств. Пусть он сделал успехи. Зато некоторые его однокашники, не в пример ему, уже носят полковничьи знаки, а сосед Лугового по кювету в общегитити в недавних боях под Воронежем так отличился, что его сразу, через две ступени, произвели в генералы.

Он выполнял ту же работу, какую выполняли сейчас миллионы людей, ходил в атаке, выполнял приказы. Он был только маленьким винтиком в огромном механизме войны. В случае нужды, на его место безболезненно мог встать другой — так же будет ходить в атаке и выполнять приказы.

Он догнал полк, поехал по обочине дороги рядом с первым эскадроном. Над шеренгами всадников голубыми клочками взлетал махорочный дымок, лениво плескался дорожный говорок. Затевавшийся куда-то в самую середину эскадрона казачок голосом отпетого станичного балагура говорил:

— Дома, значит, его законная женушка дожидается, а тут у него тоже...

— А что такое, Степан? — спрашивал другой голос.

— Гм. До чего же ты неук, Игнат...

В рядах загготали.

Луговой дернулся, как от удара кнута. Дав шпоры лошади, он резко погнался по дороге, к голове полка.

VI

Пятого января командир 13-й германской танковой дивизии генерал-майор фон де Шевелери пригласил к себе командиров полков. Генерал занимал большой, красного кирпича особняк в центре хутора Лепилин. Из особняка вы-

селили амбулаторию, в чистых высоких комнатах еще стоял лекарственный запах. Командиры полков собрались к десяти часам утра. Все в кабинете — от стен и потолка до окон и дверных ручек было окрашено белой масляной краской. Окна выходили на площадь, за нею, в просвете единственной, надвое разрезавшей хуторок, улицы, лохматилась белая, посеребренная изморозью грядка полыни. Генерал еще не выходил. За белой, с голубыми прожилками дверью, ведущей в спальню, слышались позывания, кашель, шорох одежды. «О танненбаум, о танненбаум», с расстановками напевал фальшивый голос.

Бокон прогиснувшись из двери, денщик пронес через кабинет завернутую в красивый бумажный футляр ночную посуду. Командиры полков дружно отвернулись к окну. Только сидевший возле стола тучный, лысеющий командир 4-го танкового полка продолжал смотреть прямо перед собой с ледяным безразличием ко всему окружающему.

— Подполковник фон Хаке сегодня не в духе, — наклонившись к соседу, вполголоса сказал командир 93-го полка гренадеров Польштер.

Сосед его, с погонами артиллерийского офицера, тонко улыбнулся.

— Он вчера восемнадцать танков потерял.

— А-а, — Польштер откачнулся от соседа и со вниманием стал смотреть на вы бритое, скванное гримасой безразличности лицо подполковника фон Хаке. В кабинете поселилась тишина, нарушаемая лишь шорохом за дверью. «О танненбаум, о танненбаум», однообразно мурлыкал фальшивый голос. Распространяя запах французских духов, вошел со двора адъютант. Осторожно ступая по дощатому, охрово-желтому полу, положил на стол пачку газет. Подполковник фон Хаке, потянувшись, ровным движением взял со стола газету. Серые холодные глаза равнодушно пробежали лист, безглавая гримаса все больше кривила его выхолощенное лицо.

— Прочти, Кюн, — с судорожным смехом сказал фон Хаке, протягивая газету артиллерийскому офицеру. Тот взял газету двумя пальцами, оглянулся на дверь, медленно стал читать звучным, приглушенным голосом:

«Берлин, первое января. Вот уже несколько недель, как на всем протяжении восточного фронта, простиряющегося от Черного моря и снеговых вершин Кавказа, через жизненные центры России, области Дона и Волги, до заключенного в мертвом кольце Ленинграда идут жестокие бои. Как по сообщениям самих большевиков, так и по оценке германских военных кругов характер отдельных и взятых в целом боев напоминает зимнее наступление

большевиков в прошлом году, когда сталинские генералы, бросая в бой небывалое количество бойцов и боевых средств, пытались добиться решающего поворота в ходе нынешней войны. А, между тем, положение резко изменилось. Во-первых, изменилось общее положение России, во-вторых, коренным образом изменилась и предшествовавшая началу второй зимней кампании материальная подготовка германских и союзных армий. Если принять во внимание, что на огромном протяжении (более 2000 км) необходимо создание непрерывного «фронта», классическим типом которого был, например, французский фронт во время прошлой мировой войны, то понятно, что союзные войска оси спасшь да рядом должны ограничиваться защитой важных стратегических пунктов. Только этим и можно объяснить, почему большевики порой могут сообщать об успехах местного характера. Германское военное командование не считает нужным замалчивать подобные случаи. Решающее значение имеет то обстоятельство, что большевикам нигде не удалось даже приблизиться к главной линии фронта германских и союзных армий. О прорыве этой линии, конечно, говорить не приходится. По военным сводкам последних дней большевики снова понесли большие потери в людях. На огромном протяжении идут тяжелые бои против превосходящих сил противника, причем секторы наиболее упорных боев продолжают расширяться. Местами бой доходит не только до рукопашной схватки, но и до единоборства. От стойкости и решимости отдельной части зависит судьба целого боевого участка. Маневренная оборона, которую ведут германские войска, ставит повышенные требования к среднему и высшему командному составу».

— Однако что они называют главной линией? — сворачивая газету, вполголосом спросил артиллерийский офицер, ни к кому не обращаясь. Фон Хаке пожал плечами. Грузный, стареющий командир 66-го полка гренадеров подполковник Рачек с горькой иронией сказал:

— В последних боях я потерял две трети полка. Что они еще могут от меня потребовать?

Никто не ответил. За окнами клубилась белая вьюжная муть. В углу кабинета на стуле сидел человек в казачьей порывеющей папахе, но в сером мундире германского офицера. За космами низко надвинутой папахи, под крутым лбом пряталась глубоко запавшие глаза. Большие, красные руки лежали на коленях. Между колен свесился на ремне кавалерийский маузер, почти касаясь пола желтым лощеным чехлом.

— Какое дегенеративное лицо. Кто это, Кюн? — тихо спросил Польстер.

— Это Харченко; он у большевиков сидел в тюрьме, — отчетливо выговаривая русскую фамилию, сказал артиллерийский офицер.

— А-а, этот эскадрон...

— Вот, вот, уголовники, всякий сброд...

— Он, кажется, бежал с каторги?

— У русских это называется Соловками. Можешь говорить громко, он по-немецки — ни слова.

Снова вошел адъютант и замер с торжественным лицом возле белой двери. Послышались шаги.

— Генерал-майор фон де Швелери, — строго сказал адъютант, почтительно толкнув дверь.

Вошел генерал. Командиры полков дружно встали, вскинув правые руки и наклонив четыре коротко остриженные головы.

— Да, да, — рассеянно сказал генерал, проходя к столу. — Садитесь господа. — Командиры полка сели, согнув ноги под прямым углом. Генерал зашуршал на столе газетами. На вытуженном рукаве блеснула дивизионная эмблема — оранжевый круг с двумя перекрестами. Глаза пробежали газетный лист. На тонких выбритых губах скользяла усмешка.

— Вы читали, что пишут на родине, господа? — спросил генерал.

Командиры полков наклонили в знак согласия свои коротко остриженные головы. «Четверо — и все подполковники», дернув уголками губ, подумал генерал. Человек в косматой казачьей папахе стоял в углу, придерживая рукой маузер. Генерал остановил на нем отсутствующий взгляд. Сказал, обращаясь к адъютанту, медленно выговаривая каждое слово:

— Господин Харченко пусть подождет.

Человек в папахе вышел, гремя тяжелыми сапогами. Генерал проводил его глазами Опускаясь в кресло, положил на стол балье, с длинными пальцами руки, повернул к командирам полков худое лицо:

— Я должен вас познакомить с новым приказом, господа...

Генерал Швелери принадлежал к старинной юнкерской фамилии. Он носил два дворянских титула. Вторым титулом деда Швелери наградила Наполеон. Когда-то это составляло предмет особой родовой гордости семейства Швелери. Немногие удостаивались чести быть причисленными к французскому дворянству. Но с недавних пор времена резко переменялись. За грехи деда пришлось расплачиваться генералу. В 1933 году раздались первые голоса о сомнительном прошлом семьи Швелери. За него вступился рейхсвер. Впоследствии генералу приходилось неоднократно давать в ведомстве Розенберга свои объяснения.

Коварная частица «де» причиняла немало хлопот. Однако все нападки мгновенно прекратились, когда генерала обласкал фюрер. В 1940 году, командуя дивизией, генерал Швелери вступил в пределы Франции. Все сомнения в преданности генерала новому режиму окончательно рассеялись после того, как он, на Somme приказал долта сжечь французскую деревушку за убийство германского солдата. Тем не менее в офицерском корпусе за генералом прочно укрепилась репутация франкомана. На восточный фронт адъютант выписывал к его столу исключительно французские вина. Со стола генерала не исчезали сабли, бордо, барзак, вувре шамбертон, бон нюи и особенно шатонедю-пап. Говорили, что вместе с частицей «де» генерал унаследовал от своих предков чуждую вестфальскому немцу сентиментальность. Из главной квартиры фюрера делала запрос по поводу последней выходы генерала на восточном фронте во время расстрелов в Моздоке. Когда оберштурмбанфюрер полка СС представил генералу на утверждение порядок экзекуции, Швелери, поморщившись, сказал: «Хорошо, я утверждаю, но только я требую, чтобы были соблюдены необходимые правила гуманности». «Как?» — озадаченно спросил оберштурмбанфюрер. «Вы, кажется, практикуете в эти... м-м, тягостные минуты отделять детей от их матерей. Я настаиваю, чтобы это было прекращено», — энергично сказал генерал. «Вместе?» — ослабившись, догадался оберштурмбанфюрер. «Вот, вот, именно это я и хотел сказать», — улыбулся генерал.

Однако этот случай уже не мог поколебать положение Швелери. За ним прочно укрепилась репутация первоклассного генерала. Гудериан причислял его к своим ученикам. За восточный поход фюрер пожаловал генералу дубовую ленту к железному кресту. Командуя 12-й танковой дивизией, Швелери дошел до Терека. Фон Маннштейн в особых случаях всегда прибегал к его помощи. Тринадцатую дивизию бросали то под Владикавказ, то под Моздок, а в средних числах декабря фон Маннштейн перед своим отъездом под Сталинград пригласил генерала к себе и поставил перед ним новую задачу. «Вы будете, граф, прикрывать левый фланг всей нашей кавказской группировки», — сказал Маннштейн. Он помолчал, глубоко затянувшись сигарой, и добавил: «Какая-то кучка казаков угрожает нашим коммуникациям. Я уверен, граф, что ваши танки и ваши гренадеры сумеют образумить их».

С этой задачей Швелери приехал в терскую степь. Он не сомневался, что при первом же столкновении его танков с конницей противника преимущество

останется за танками. В памяти генерала еще жив был случай, когда на Сомме французы бросали две своих лучших кавалерийских бригады с обнаженными паашами против его панцирной дивизии. Танки генерала тогда расстреляли и передавали большую часть лошадей и всадников. Но собирались ли казаки в конном строю атаковать танки? Генерал тешил себя этой мыслью. Но в первом же бою под Ага-Батырем его дивизия была жестоко потрепана казаками. У Шевелери были сведения, что казаки скапливаются где-то под Кизляром. Дивизию отделили от них по меньшей мере пять конных переходов. За это время с успехом можно было подготовиться к встрече. Но казаки внезапно атаковали дивизию уже на третей день. Гренадеры Шевелери откатились сразу на восемьдесят километров. Казаки наступали не в конном строю, как ожидал того генерал, а как простая пехота. За три года войны Шевелери привык диктовать свою волю противнику, теперь у него отнимали это главное преимущество. После прорыва под Ага-Батырем не только для 13-й дивизии, но и для всей кавказской группировки содалась тревожная обстановка. За ударом русских на левом фланге последовали удары справа и в центре. Вчера пал Моздок. Начиная общий отход от Терека. Кроме местных причин, для этого имелись причины и другого порядка. Надо было все время оглядываться назад, на узкое горло между Ростовом и Волгой. Последние вести отсюда Шевелери находил мало утешительными. Горло сузилось, и русские, кажется, действительно держали Сталинград плотным охватом. Еще неизвестно, сумеет ли Маннштейн пробиться из района Котельниково на помощь к Паулюсу. От Маннштейна можно многого ожидать, но Шевелери все больше проникся убеждением, что времена переменялись. Не одни генералы теперь решали исход операций. Новые факторы стали влиять на военную обстановку. Не мог же генерал предположить, что казаки первыми атакуют его дивизию под Ага-Батырем! Шевелери считал, что общая ситуация с каждым днем осложнялась. Из главной квартиры только что получен приказ отходить в общем направлении на северо-запад, выводить главные силы из-под удара, прикрываясь сильными арьегардами. Очевидно, в главной квартире тоже с беспокойством взирали на горло между Ростовом и Волгой. Но как можно выйти из-под удара, если противник дышит прямо в спину, все время навязывает бой и не дает дивизии оторваться? Минувшей ночью у генерала созрел план, который он надеялся привести в исполнение. Если внимательно продумать все детали, то противник по-

лучит некоторый реванш за Ага-Батырь. В этом случае дивизия сможет оторваться от казаков по меньшей мере на одни сутки. Но предварительно нужно посоветоваться с командирами полков. С некоторых пор, принимая решения, приходилось быть вдвойне осторожным. Генерал не мог брать всю ответственность только на свои плечи. В случае неуспеха всегда найдутся скептики, вроде этого фон Хаке, который, кстати сказать, держит себя исключительно самоуверенно. Генерал пригласил командиров полков для того, чтобы уточнить с ними обстановку и познать их со своим планом. Положив руки на стол, он ровным голосом изложил им свои соображения.

— Это в случае удачи, а в случае неудачи? — осторожно спросил Польстер.

— Мы останемся в прежнем положении, — холодно сказал Шевелери. Он ревниво относился к своему плану.

— Надо полагать, что и на этот раз противник не окажется дальновиднее нас, — иронически вставил фон Хаке. Это был колкий намек на ага-батырское поражение. Генерал молча пожал плечами. В конце-концов он не сомневался, что этот Хаке будет всячески мешать ему.

— У меня осталась третья часть полка. Тридцать машин и двести людей, — невпопад сказал Рачек.

— Но, как я понимаю, для выполнения этого плана мы должны пожертвовать жизнью одного из наших офицеров? — спросил командир 13-го артполка подполковник Кюн.

— Щекотливую часть мы поручим этому... — генерал нетерпеливо пощелкал пальцами.

— Харченко? — подсказал Кюн.

— Да, да. Мы не станем терять своего человека. — Генерал помолчал и потом официальным голосом продолжал: — Я вас предупреждаю, господа: нужно мобилизовать все, до последней машины. К утру дивизия должна быть за сто километров отсюда.

Вошел адъютант. Изогнувшись, шопотом что-то сказал в мясистое ухо генерала.

— Да, да! — Генерал сделал рукой жест, приглашая командиров полка к столу. — Обедать, господа.

— Разрешите мне ехать, генерал. Мой полк ведет бой, — вставая, сухо сказал фон Хаке. Остальные командиры полков тоже встали.

— Ну, что ж, в другое время я бы предложил вам, господа, распить со мной бутылочку шатонфед-дю-пап, — генерал звучно произнес последнее слово.

Командиры полков стали выходить. Генерал остановил их жестом.

— Я забыл вас предупредить, господа. Получен приказ: перед отходом все жечь. Жечь, жечь!

Он остался один Нет, этого Хаке по-

ложительно нужно одернуть. Однако, генерал должен был признаться себе, что слова подполковника заставили его заново взглянуть на свой план. Ведь противник, и в самом деле, может не поверить? Надо продумать все возможности.

После обеда генерал повеселел. Французское вино действовало успокаивающе. Шевелери склонился над столом. Надо посмотреть, что пишет фюрер в своем новогоднем послании солдатам. Генерал читал, оттопырив мизинец левой руки и легонько, подушечкой ладони отстукивая по столу каждое слово...

«...Солдаты! Когда я в прошлый раз обратился к вам с новогодним приказом на Востоке, над нашим фронтом простиралась зима, подобная природному бедствию. Вы сами, солдаты, знаете, что вам пришлось тогда пережить и перенести на восточном фронте! Бессонными ночами в непрестанных заботах о вас неслись к вам мои мысли. Вам удалось отклонить от себя уготованный нам разгром Наполеона»

— Вот именно... уготованный... уготованный, — пробормотал Шевелери, отстукивая ладонью слова. Он расстегнул душивший его воротник. Черные строчки рябили в глазах.

«...1943 год будет, возможно, тяжелым годом, но, наверное, не тяжелее прошедших годов. Раз Господь Бог дал нам силу перенести зиму 1941-1942 г., то мы, несомненно перенесем и эту зиму, и весь наступающий год... Мы верим, что смеем молить Господа Бога в наступающем году послать нам свое благословение, как и в предыдущие годы».

«Фюрер становится набожным», подумал генерал. Он отложил газеты. В окна ползла зыбкие сумерки За хутором лежала белая, беспредельная степь. «Какая яркая в России луна», подумал генерал. В стекла толкался неровный оружейный гул. Шевелери со вздохом вспоминал, что у него в дивизии осталось снарядов всего на десять залпов. «Однако спать, спать. Ночью нужно ехать».

Он прошел в спальню, лег на кровать. Денщик стал растирать ему ноги спиртом. Прошлая зимой генералу пришлось ночью уходить от русских партизан через окно. Он бежал разутый, проваливаясь по пояс в глубоком снегу. Тогда и простудил генерал-майор фон де Шевелери свои ноги. С тех пор каждый вечер денщик бережно растирает спиртом простуженные, ревматические ноги генерала...

В полночь Чакан и черноусый казак объезжали в боевом охранении позиции полка. Казаки спали на бичках, на машинах, на земле, тесно прижавшись друг к другу спинами. У коновязей тихо по-

фыркивали, переступали ногами лошади. Свет луны голубым разливом затопил степь, но к западу от полка в белом небе горели ракеты. Поднимаясь с земли, они останавливались в воздухе, дрожа, и вдруг вспыхивали ярким, колеблющимся пламенем. Но мертвый свет их не могли рассеять, ни заглянуть мягкого сияния луны.

— Ишь как жгут! Не жалко им света, — сказал Чакану черноусый казак.

— Это они от страха. Боятся нашей ночи.

— Если бы весь этот свет собрать, можно было бы сейчас тыщу деревень осветить. Так, Петр Тимофеевич?

— Этого они не хотят. Они, чтобы себе светло, а все другие пускай в темноте.

— Чтобы слепыми, значит. Хитро придумано.

Пелена серебряного лунного света крыла землю. Взгляд терялся в белесой мгле.

— Никак кто едет? Чуешь, Куприян? — прислушиваясь, спросил Чакан.

Вместе с ветром издалека донесло легкий, осторожный звук. Приглушенно заржала лошадь.

— Верховой. Свой или немец?

— Свой. Немец ночью в одиночестве не будет шалиться, — спокойно ответил Чакан. Звук приближался. Теперь явственно стал слышен отчетливый звук копыт.

— Остановимся, — придерживая лошадь, предложил черноусый казак. Чакан на всякий случай снял с плеча карабин, вскинул на руке.

Из-за поворота дороги, в десяти сажнях от казаков, вдруг вынырнул верховой. Он ехал шагом, но странно, то останавливая, то снова нерешительно пуская лошадь вперед.

— Или пьяный, или конь под ним дуже мореный. Как на смерть едет, — шопотом сказал черноусый казак.

— Стой! — клацнув затвором карабина, крикнул всаднику Чакан.

Верховой круто остановился, но потом, решившись, снова тронул коня вперед. Лунный луч упал всаднику на плечо, и в ночи белым блеском вспыхнула серебряный погон.

— Руки вверх! — крикнул по-немецки Чакан, рысью пуская коня навстречу верховому. Всадник резко бросил коня в сторону от дороги.

— Хальт! — вскидывая винтовку, закричал Чакан. Тишину ночи расколол выстрел. Чакану показалось, что всадник покачнулся в седле. Белая мгла скоро поглотила силуэт лошади. В отдалении замарал рассыпчатый конский топот.

— Ушел! Промашку ты дал, Петр Тимофеевич, — с сокрушением сказал черноусый казак.

— Не-ет! Мне снается, будто он упал с седла, — с сомнением ответил Чакан.

Они подъехали. Чакан слез с лошади. Стал оглядывать землю.

— Кровь,— сказал он.— Должно, я его поранил. Или он упал, или его конь унес.

— Здесь! — проехав вперед, крикнул черноусый казак. Его конь, захрапев, остановился перед темным телом, распростертым на земле.

— Я так и знал! — наклонясь над ним, возбужденно говорил Чакан. — А ты говорил — ушел.

— Дышит?

— Какой там! Под левую лопатку вошла. Я, брат, с первого выстрела. Офицер,— Чакан перевернул труп вверх лицом.— Одежда на нем немецкая, а по роже — ну, никак не немец. Я их в плену в доподлинности изучил. Борода... усы. Даже подлиннейше моих будут,— Чакан тронул свои, торчащие, как у кога, усы.

— Ты, Петр Тимофеевич, обыщи его, может, на нем какие документы есть, а я покуда с него сапоги сниму. Хотя и не разрешают наши командиры, да даже, у него сапоги хорошие. Не пропадать же такому добру, а у меня уже кроме голенищ ничего не осталось.

— Сымай, Куприян, — покровительственно разрешил Чакан.

Обыскивая убитого, Чакан тщеславно подумал, как завтра будет рассказывать всему эскадрону о том, как он с первого выстрела уложил немца. И не какого-нибудь обер-лейтенанта, а полковника. «Нет, полковника — это много, — подумал Чакан, — еще могут не поверить. Пускай лучше он будет подполковник. Как никак, а подполковник тоже важная птица».

— Ты что-нибудь нашел, Петр Тимофеевич? — спросил черноусый казак.

— Нашел. В кармане, должно, его солдатская книжка, а в сумке тоже, видать, что-то есть. Даже толстая сумка.

— Н-ну?! Может, там какие секретные планы. Поехали скорее в штаб, Петр Тимофеевич.

— Как я его, Куприян! — неумолчно говорил по дороге Чакан. — Ведь без промаха, а?

Луговой с вечера уехал по эскадронам и вернулся в штаб полка только за полночь. Его встретил Синцов.

— Захвачен приказ, — сказал он взволнованно.

— Какой приказ?

— Противник переходит в наступление, — на бледном лице Синцова круглыми пятнами проступил румянец.

— Подождите, Синцов, я что-то вас не пойму. О чем вы толкуете? — нахмурился Луговой.

— Вот, — Синцов протянул ему лист бумаги. — Это найдено в сумке убитого

офицера. Только здесь по-немецки. Впрочем, я и забыл, что в академии...

Но Луговой уже не слушал. Глаза его быстро пробежали лист. Синцов неотступно следил за ним.

— Придется переходить к обороне, — сказал он тревожно.

— Кто убил офицера? — поднимая глаза, спросил Луговой.

— Один казак из боевого охранения. Кажется, фамилия его Чакан.

— Позовите его.

— Я здесь, — выступая из угла, проговорил Чакан, стоявший в стороне, ожидая, когда его позовут.

— Вы? — с удивлением спросил Луговой. Казак был маленький и совсем щуплый.

— Я, — Чакан самодовольно тронул пушистые, торчащие в разные стороны усы. — То-есть не один, а вместе с Куприяном Зеленковым. Мы едем, а этот офицер нам навстречу. Я ему по-русски кричу «стой!», а он продолжает править прямо на нас. Тогда я ему «хальт!» и «хенде хох!» — это, чтобы он, значит, без лишнего разговоров руки до неба поднял. Ну, тогда он, видно, сообразил, что шутки плохи, и как сигнет своим конем в сторону. Я приложился с коня из винтовки и ему — вдогон. Так с первого выстрела и положил. Пуля, она быстрее коня бежит. Как в левую лопатку ему вошла, так под соском и вышла. Подъехали мы к нему, видим — офицер, должно, какой подполковник, а может еще и повыше. Я этому убитому обыск произвел. На поясе у него вот эта сумочка была, а в грудном кармане документы. А там кто его знает, может, он и не подполковник. Потому, как я стал его разглядывать, а у него усы и борода. И весь он обличьем ну никак на немца не похож. А сейчас вот товарищ начальник штаба мне сказал, что и по документам этот офицер, выходит, русский.

— Да, да, — подтвердил Синцов. — Я и забыл вам сказать. Но я думаю, что это не так важно.

Луговой не ответил. Кто знает, может быть, это как раз и важно. Какое-то неясное предположение вертелось в голове Лугового. Почему этот офицер продолжал ехать прямо на пост, после того, как его окликнули по-русски? Но какое это может иметь значение? — тут же спрашивал себя Луговой.

— Передать, чтобы заняли оборону? — волнуясь, повторил Синцов.

— Можно... на всякий случай, — ответил Луговой, досадуя на свою нерешительность, резко встал. — Я поеду в штаб-див.

«Но почему я придаю какое-то особое

значение этому случаю? — думал он по дороге в штаб дивизии. — Вот Синцов сразу принял решение, что нужно перейти к обороне». Но где-то в глубине души у Лугового копошилось сомнение в правильности решения, принятого Синцовым. Интересно, как отнесется к этому Рожков?

Рожков внимательно прочитал приказ, позвонил начальнику штаба.

— Полкам занять оборону, выдвинуть противотанковую артиллерию. Скоро будем сям.

Положив трубку, он весело подмигнул Луговому:

— Встретим. Люблю с танками дело иметь, красиво они горят. — Он пристально посмотрел на Лугового. — А ты что-то приуныл, казак, или нам это в новинку? Твой комэски знают?

— Мой начштаба сообщит, — уклончиво ответил Луговой. Он снова испытывал тягостное чувство раздвоенности. Вот и Рожков думает то же, что думает Синцов. А ему, Луговому, кажется, что здесь нужно принимать какое-то другое решение. Но какое? На этот вопрос он не находил ответа.

— Надо предупредить штаб корпуса, — забеспокоился Рожков. — Вот что, Луговой, поезжай-ка ты сам к генералу. Ты знаешь, как был захвачен этот приказ, расскажешь ему, что и как. Здесь всего полчаса езды.

«Что он скажет?» — размышляя Луговой, направляясь в штаб корпуса. Он вдруг вспомнил разговор с Миловановым на кургане, во время боя. И странно, это воспоминание рассеяло бродившее в душе Лугового смутное опасение, что может быть совершена какая-то ошибка.

Но, когда он уже стоял перед Миловановым, сомнения с новой силой нахлынули на него. Вот сейчас, может быть, и генерал скажет то же, что сказал Синцов и Рожков.

— Кто захватил приказ? — прочитав, спросил Милованов.

— Боевое охранение. Одного казака помню точно — Чакан.

— Чакан? — просветлев лицом, переспросил Милованов. И тотчас же опять озабоченно склонился над приказом, что-то бормоча сквозь зубы.

— ...Не зашифрован, — услышал Луговой.

— Вы говорите, он ехал прямо на пост?

— На пост, — ответил Луговой.

— А после того, как его окликнули?

— Сначала его окликнули по-русски. Но он не остановился. Тогда его окликнули по-немецки.

— Этот Чакан? — улыбнувшись, спросил Милованов.

— Чакан, — Луговой жадно вбирал в себя его вопросы. Ему казалось, что сейчас он найдет ответ на мучившие его сомнения.

Милованов отошел к окну, стал смотреть в степь. Мягко постучав пальцами по столу, спросил:

— Вы, говорите, что этот офицер по документам — русский?

— Да, русский, — сказал Луговой. У него медленно начинала созревать догадка.

— Ну, конечно, — вполголоса пробормотал Милованов. — Зачем им жертвовать своим человеком? — Он быстро повернулся к адъютанту.

— Зоя! Начштаба!

Запыхавшись, вошел Ванин. Милованов протянул приказ. Пока Ванин читал, он внимательно смотрел на его лицо.

— Но ведь он не зашифрован? — быстро вскидывая на Милованова глаза, сказал Ванин.

— Ага, ты догадался! — удовлетворенно рассмеялся Милованов. Лицо его снова стало сосредоточенным, почти суровым. — Пиши, Ванин!

Он отошел к окну и, не оборачиваясь, пытливо вглядываясь в ночь, словно в ней, в ночи, было скрыто для него то, что не могли видеть другие, стал раздельно диктовать:

— Противник хочет оторваться и уйти вперед. Немедленно перейти в наступление и атаковать...

Милованов остановился и чуть улыбнулся, невидимо для других.

— ... в конном строю, — закончил он, вспомнив обиженное лицо Рожкова. «Рад будет старик, страшно рад», — молнией пронеслось в голове.

— Вы играете в шахматы? — неожиданно спросил он у Лугового.

— Нет, — смешавшись, сказал Луговой.

— Жаль. Это называется ход конем. — Он помолчал и, повернувшись к двери, позвал:

— Зоя!

Влетел адъютант, волоча по полу шапку.

— Передать в дивизии. Быстро, — сказал Милованов.

«На этот раз, — думал Луговой, возвращаясь в полк, — я сердцем почувствовал, что он увидел разумом. Я еще сомневался, когда он уже принял решение». Конечно, в его решении есть элемент риска, но что-то подсказывает Луговому, что все произойдет именно так, как предполагает он. И разве нет этого риска в каждом, даже самом небольшом сражении?

...Генерал-майор фон де Швелери внезапно проснулся в своей постели в холодном поту. Сквозь сон ему явственно послышались стрельба и какой-то дикий, протяжный вой. Минуто генерал лежал, прислушиваясь. «О танненбаум, о танненбаум», неуместно вертелся в голове знакомый мотив. Вой приближался вместе с густым нарастающим топотом. Разрозненные очереди пулеметной стрельбы вспыхивали и гасли на окраинах селения. Генерал сел на кровати, коснувшись ступнями холодного пола. На мгновение он вспомнил о своих простуженных ногах. Он хорошо помнит, что тогда точно так же светила в окно полная луна и он, разутый, уходил от партизан по голубому, зернистому снегу. Морщась, генерал искал рукой фонарик. Это воспоминание было сейчас таким же неуместным, как и мотив назойливой песенки. На столе упала бутылка, и густая жидкость, забубльвав, полилась на пол. По комнате распространился тонкий винный аромат.

— Адъютант! — крикнул он хриплым голосом.

Никто не отзывался. Стрельба окрепла, стала гуще и звучала теперь совсем близко. Конский топот вдруг рассыпался по селу, как горох. Под окном завели автомобильный мотор. Он работал тяжело, с перебоями, стекло в раме окна тонко и жалобно позванивало.

«Чорт возьми, могут бросить одного», — лихорадочно всовывая ноги в валенки, подумал генерал. Он, наконец, нашел фонарик, и желтый круг света упал на дверь. В передней комнате пробегали быстрые шаги и в дверь просунулось искаженное бледностью лицо адъютанта. Заморгав глазами от яркого света, он сказал, заикаясь:

— В-ваше превосходительство, к-казак!

VII

Дмитрий Чакан с первой цепью атакующих ворвался на окраину хутора Лепилин. В то время, как другие эскадроны в конном строю атаковали хутор с запада, казаки первого эскадрона пластунами подползли к немецким окопам на восточной окраине, подрезали проволочные заграждения и вдруг перекатились через брустверы. Дмитрий бежал по ходу сообщения вместе со всеми, крича, размахивая прикладом автомата, как щепом на мотыльбе, и смутно угадывая в темноте, где друг, а где враг, чувствуя, как под его ударами хрустит кость, мягко оседает тело и беззвучно валется на землю люди. Он ошупью находил нужное направле-

ние, наткнулся на стены, когда ход сообщения вдруг резко поворачивал в сторону, стрелял, не целясь, душил.

Узкий окоп бежал, извиваясь; то там, то здесь от него уходили черные отростки, как ветви от дерева. По неясному побуждению, скорее безотчетно, Дмитрий свернул в один такой ход и вдруг уперся в тупик. Пошарив руками в темноте, он нащупал бревенчатую дверь, должно быть, ведущую в блиндаж. Пинком сапога он широко распахнул ее и на миг остановился на пороге, ослепленный потоками яркого света.

В блиндаже горела электрическая лампочка, в лицо Дмитрию дохнуло теплом и пряной смесью каких-то незнакомых, чуждых запахов. Под лампочкой сидел человек в белой ночной рубашке. Он что-то писал, склонившись над столом. На резкий стук двери человек поднял голову. С острым, уже изведенным чувством восторга Дмитрий увидел на лице врага растерянность, животный страх. Прыгая с порога вперед, Дмитрий выдернул из ножен пашку. Но в этот момент человек рванулся от стола и, взмахнув полами длинной, как у женщины, рубашки, бросился в противоположный конец блиндажа. Кинувшись за ним, Дмитрий опрокинул стол. Он слишком поздно сообразил, что из блиндажа вели два выхода. Когда Дмитрий выскочил наружу, он увидел только белое пятно, канувшее в темноту. Дмитрий выстрелил вдогонку, и ему показалось, что пятно задержалось. Но когда он добежал до места, вблизи никого не оказалось. Хутор полнился выстрелами, конским топотом, криками людей. С чувством, близким к отчаянию, Дмитрий вернулся в блиндаж. Возле опрокинутого стола он поднял с земли книжечку в шагреновом переплете... Едва взглянув на книжечку, Дмитрий равнодушно сунул ее в карман. Он не питал уважения к подобному рода находкам на войне. Дмитрий был одержим другой болезнью — собирать оружие и награды убитых им врагов. Трофейным оружием он был обвешан, по словам отца, как цыган уздечками, а крестами и медалями Дмитрий украшал сбрую своего коня. При каждом движении коня кресты издавали оглушительный звон. Дмитрий уверял, что звон крестов напоминает ему голоса убитых им немцев.

К документам он уважения не питал, фотографии, найденные в карманах убитых солдат, рвал на мелкие клочки, а письма распускал по ветру. «Пускай летят в Германию», — говорил он при этом. Он не одобрял и тех, кто любил перечитывать немецкие письма и дневники, стараясь заглянуть в чужую душу. «Ничего

там нет, в этой душе, одна муть. У нашего кобеля в станице душа куда чище», — говорил Дмитрий.

Поэтому с таким безразличием он отнесся к своей находке в блиндаже. «Надо будет передать ее Луговому», — подумал он, равнодушно положив ее в карман...

15 июля.

Прошло пять месяцев с тех пор, как я лишился своего дневника. Мне не везет. Мою юношескую тетрадь тогда нечаянно сожгла сестренка Луиза с ненужными бумагами. Теперь я снова стал жертвой фатального случая. Санитары, которые подобрали меня в беспамятстве под Ржевом, похитили вместе с моими деньгами и документами и дневник. Как будто само провидение запрещает мне оставаться наедине со своими мыслями. Я успокаиваю себя надеждой, что вора интересовали только мои деньги, а дневник он, возможно, выбросил, даже не полюбоществовав его прочитать. Я так всегда оберегал его от чужих глаз.

Моя рана затянулась, свищ окончательно исчез, но всякий раз, когда я, забывшись, слишком твердо наступаю на ногу, в коленной чашечке появляется тупая ноющая боль. Однако президент медицинской комиссии, осмотрев мое колено, заявил, что с сегодняшнего дня он находит мое дальнейшее пребывание в госпитале бесполезным. Когда я сказал ему о болях в чашечке, он с улыбкой ответил мне, что понимает мое желание еще побыть на родине, но я не должен забывать о товарищах, которые ждут меня на востоке. Потом он сослался на какие-то параграфы, которые не позволяют ему задерживать меня в госпитале дольше положенного срока. Этот тыловой гусь, кажется, счел меня симулянтом.

Вилли выписался двумя днями раньше. Сегодня он зашел ко мне и сообщил, что нас, очевидно, снова направят в 13-ю дивизию. Наш 4-й танковый полк доукомплектовывается сейчас в Варшаве.

25 июля.

Стучат колеса. Вилли спит, оьянев после бутылки шнапса. Поразительна его способность спать. Он просыпается лишь для того, чтобы поесть и откупорить новую бутылку. Третий день мы в пути. За окном — тягучие, однообразные поля Польши. После Варшавы мы ночь простояли в степи, потому что путь впереди был разобран партизанами. Мне знакомы эти истории! Наш командир, подполковник фон Хаке сказал, что из Львова мы пойдем своим ходом. Наш маршрут Днепрпетровск — Юзовка. Это, кажется, южное направление.

27 июля.

Мы пересели на машины. Вчера миновали Львов. Меня изумляет предприимчивость Вилли. Через полчаса после того, как мы останавливаемся в какой-нибудь деревне на ночлег, он приносит котелок яиц и неизменно пару гусей. Сегодня вечером он ушел и пропал целых два часа. Я забеспокоился, услышав на окраине села выстрелы. Однако вскоре после этого Вилли вернулся с чудесным розовым поросенком. Он объяснил, что ему пришлось несколько повозиться с одной чересчур строптивой старухой. Я обратил внимание, что кабур пистолета у Вилли был растегнут.

29 июля.

Мы идем быстрым маршем, но события нас опережают. Наши grenадеры повсюду форсировали Дон и приближаются к Волге. Вилли говорит, что песенка русских спета. Он рассказал мне о планах, в которые посвятил его в Берлине близкий товарищ по партии, полковник генерального штаба. «Первого августа мы будем в Сталинграде, пятого в Саратове, а двадцатого сентября в Баку. На этот раз Москва будет взята с востока», — с уверенностью сказал Вилли.

30 июля.

Мы прибыли в Ростов. Фон Хаке сказал нам, что здесь полк сделает остановку. Дальнейшее направление неизвестно. Возможно, на Волгу, возможно, на Кавказ. Всего неделю назад город штурмом занят нашими доблестными grenадерами. Он еще окутан дымом пожаров. Под ногами хрустит стекло, всюду черные короби сгоревших зданий. Это не город, а скелет города. Вот цена непостижимого упрямства русских!

Квартирьер нашел мне квартиру у самого берега Дона. Из окна открывается чудесный вид — широкая, пожалуй, шире, чем Шпрее, река, заросший пышной растительностью остров и зеленый, как бархат, луг на том берегу. Я обратил внимание, что вдоль берегов из воды торчат какие-то черные палки. Заглянувший ко мне на новоселье Вилли объяснил, что это мачты судов, которые русские затопили перед своим уходом.

Моих хозяев пришлось потеснить. Отец и дочь выкатили из моей комнаты кровать с большой матерью. Меня поразило лицо дочери — бледное, чуть продолговатое с карими, миндалевидными глазами, каких мало встречаешь у нас на родине. Ей не больше двадцати лет. Вилли в ее присутствии назвал ее лакомым кусочком, но она вдруг на чистом немецком языке строго указала ему на неумест-

ность подобных шуток. Приятная неожиданность, Анна — так ее зовут, — оказывается, закончила институт и говорит по-немецки почти без всякого акцента.

Они живут втроем, но я увидел на столе фотографию молодого офицера и сразу догадался, что это брат Анны. Они удивительно похожи — те же высокие брови, выразительные глаза, круглый, с ямочкой, подбородок. Я подумал, что брат Анны, должно быть, коммунист. Когда я спросил об этом старика, он внимательно посмотрел на меня и ничего не ответил. Вилли посоветовал мне поменьше церемониться с моими хозяевами.

1 августа.

Я никак не могу установить взаимопонимания с Анной, хотя она отлично владеет языком моей родины. Она односложно отвечает на все мои вопросы, как будто избегает оставаться со мной наедине. Очень вероятно, что это обычная женская стыдливость. Старик тоже больше молчит. Он в состоянии целый день просидеть возле стола, опустив длинные усы. Мать неподвижно лежит на кровати. Оригинальная семья.

3 августа.

Варвары! Сегодня на Гроссерштрассе пала от истощения лошадь. Пока приехала машина, женщины и дети разрезали труп павшего животного на куски и утащили с собой.

5 августа.

Хайль! Из главной квартиры фюрера сообщили, что вчера нашими гренадерами в упорных уличных боях взят Ставрополь. Я принес это радостное известие к себе домой. Анна молча ушла в свою комнату и через час вышла оттуда с сухими, покрасневшими глазами. У старика задрожали усы. Возможно, где-нибудь под Ставрополем сражается брат Анны.

7 августа.

Сегодня к Анне пришла ее подруга Софья. Черные, вьющиеся волосы, характерный нос, подернутые влажным блестящим глазом — настоящий семитский тип. Особенно привлекают ее глаза с большими жгучими зрачками, окруженные синей тенью. Мне кажется, что для женщин этой национальности можно было бы сделать исключение, разумеется, запретив им иметь детей. Они могли бы с успехом удовлетворять естественные потребности германского солдата. Это внесло бы некоторое разнообразие в круг тех женщин, которые нас окружают.

Пока была Софья, я все время испытывал сильное волнение, опасаясь прихода Вилли и зная его нетерпимость в этом во-

просе. Предчувствие меня не обмануло. Он пришел, чтобы пригласить меня в казино. «Что вы делаете в квартире германского солдата?» — резко спросил Вилли, глядя на Софью. У девушки выступили на глазах слезы. С этими слезами она мне показалась еще красивее. Но в этот момент между Вилли и Софьей встала Анна. «Пока я здесь хозяйка, никто не имеет права спрашивать, кто и зачем ко мне приходит», — строго сказала она Вилли. Я впервые видел Анну такой, клянусь, что в это мгновение она была похожа на пресвятую деву Марию.

8 августа.

Вилли говорит, что я напрасно жантильничая с Анной. По его словам, достаточно ее пригнать братом, и она сразу станет уступчивой.

9 августа.

Отец Анны Луговой машинист. Я спросил его, почему он не идет работать? Он посмотрел на свои руки и ничего мне не ответил. Часами он сидит возле стола и упорно смотрит на улицу. О чем он думает? Вилли говорит, что это саботаж. Я порекомендовал Анне устроиться переводчицей, но она сказала, что эта работа ей не по вкусу. Между тем, они едят один хлеб с луком. Я предложил Анне свою помощь, но она наотрез отказалась. Я сказал, что она должна согласиться ради больной матери, которая может умереть от истощения. «Пусть лучше она умрет», — ответила Анна. У этой девушки совсем нет сердца.

10 августа.

В связи с предстоящей экзекуцией эзреев, в нашем полку отбирали офицеров для помощи зондеркоманде. Я был болен. Вилли, разумеется, согласился. Уходя, он бросил фразу, что я, возможно, еще расскажу в своем необдуманном решении. Что он имел в виду?

11 августа.

Анну трудно понять. Третьего дня она категорически отклонила мое предложение поддержать ее семью, а сегодня сама обратилась ко мне за помощью. Правда, на этот раз речь шла о другом. Она умоляла спасти ее подругу Софью. Я и раньше догадывался о судьбе, которая уготована еврейской девушке. Но что я мог ответить Анне? Я сослался на существующий в Германии закон о защите чистоты немецкой расы. «Разве этот закон предполагает организованные убийства женщин и детей?» — спросила меня Анна. Я мягко разъяснил ей, что слово убийство здесь, пожалуй, неприемлемо. Речь идет скорее о национальной гигиене для того, чтобы предохранить кровь высших рас

от загрязнения. «Вы навязываете ваши чудовищные законы нашему народу», — сказала Анна. Никогда так не хотелось мне овладеть ею, как в эту минуту. Я ответил, что во все времена победители диктовали свою волю побежденным. Помолчав, она сказала: «К тому же вы не возьмете на себя смелость утверждать, что вам уже удалось окончательно победить наш народ». Я промолчал, но внутренне должен был признаться себе, что в ее словах есть доля правды.

12 августа.

Анна, оказывается, обращалась к Вилли по тому же вопросу. Он ответил ей, что это возможно только при одном условии. Она, разумеется, с негодованием отказалась. В этот же вечер я сказал Вилли, что это не по-товарищески.

15 августа.

Два дня Вилли не показывался домой. Я догадывался о причинах его отсутствия. Он пришел на третий день утром с черным, словно обугленным лицом. На него нельзя было смотреть без жалости. Он мне сказал, что эта работа тоже требует определенных навыков. «У меня в голове шумит от их визга», — сказал он с раздражением. Он выбросил из кармана на стол большую связку колец и часов. Я ослеп от их блеска. Золото, лежащее на столе, до войны могло бы составить целое богатство. Должно быть, заметив вопрос в моих глазах, Вилли сказал с пафосом, ткнув пальцем в землю: «Зачем им там часы, когда в их распоряжении целая вечность». Он всегда был склонен к юмору и философии.

— Кстати, — сказал Вилли, — мы предвременно позабавились с этой хорошей еврейской. — Он имел в виду подругу Анны.

16 августа.

Вилли не ест мяса, он говорит, что фюрер тоже вегетарианец. С недавних пор я обратил внимание, что он во всем старается быть похожим на фюрера. Завел себе такую же прическу, подстриг усы и даже говорить стал преувеличенно экзальтированно, опуская окончания слов.

21 августа.

Я немного повздорил с Вилли. Я попросил его уступить мне одни часы из тех, чтобы послать Луизе в Берлин. Он сказал, что я не стою того, чтобы мне дарили часы. Вилли намекал на мой отказ принять участие в экзекуции. Однако, узнав, что это для Луизы, он быстро согласился.

22 августа.

Оказывается, томми попытались пересечь канал. Вчера на рассвете они сдела-

ли вылазку у Дьенпа. Главная квартира передает, что неприятельские войска передовой волны в 6 часов 05 минут высадились на берег и попытались создать предместное укрепление вокруг гавани. Однако в ближайшем бою они были разбиты и сброшены в море. Вилли со свойственным ему остроумием говорит, что томми нынче блестяще завершили летний купальный сезон.

27 августа.

Они уже не в состоянии скрывать свою бедность. Мать больше не встает с постели. Анна продает свои платья на рынке. Но она все так же непреклонна. Это гордость плебеев.

3 сентября.

Луиза благодарит меня за часы. Я передал ее благодарность Вилли. Он вежливо ответил, что ему это ровным счетом ничего не стоило. Бедная сестренка пишет, что над Берлином зачастили дожди. Перед моим отъездом сюда мы условились о шифре. Опять проклятые томми! Когда только у нас развяжутся руки на Востоке?

4 сентября.

Ночью умерла мать Анны. От этого ничего не изменится в доме. Последнее время больная совсем не вставала с постели. Анна и отец отвезли труп матери на ручной тележке на кладбище. Теперь по ночам меня не будет беспокоить ее кашель.

19 сентября.

Я был уверен, что падение Сталинграда—вопрос ближайших двух-трех дней, но сегодня в «Ангрифф» прочел статью военного обозревателя, которая меня настолько удивила, что я решил полностью переписать ее в свой дневник:

«Берлин, 15 сентября. Говоря о борьбе за Сталинград, в Берлине подчеркивают, что с самого начала это сражение носит ожесточенный характер. Упорная оборона города и превращение его и окрестностей в гигантский, укрепленный район и крепость также для Берлина не являются неожиданными. Уже во время германских операций в большой излучине Дона советскому вышему командованию стало ясно, что целью немцев является Сталинград. Поэтому времени на укрепление города и близлежащих районов у большевиков было достаточно. Лихорадочно, днем и ночью, руками десятков тысяч согнанных с ближайших селений и городов людей, советам, действительно, в короткий срок удалось создать солидные укрепления и занять их своевременно подтянутыми огромными ре-

зернами. Неоднократно установлено, что в оборонительных боях принимает участие и гражданское население. Советские орудия поставлены прямо на улицах города, в балках и на том берегу Волги. Противотанковые пушки лагут из каждой складки местности, танки ведут огонь с флангов, вражеские самолеты высыплют свой бомбовый груз, «Катюши» забрасывают гранатеров своими гостинцами и среди их залпов сухо бьют разрывы многочисленных гранатометов. И через этот шабаш наши пехотинцы должны пробираться вперед. Борьба приняла затяжной характер, и трудно предвидеть ее конечный результат. Остается уповать на провидение и на доблесть наших храбрых солдат».

23 сентября.

Луиза пишет, что над Берлином снова прошел сильный ливень. Томми обнаглели. Давешняя статья в «Ангрифф» не идет из моей головы. Мы, кажется, застряли на Востоке. Неужели нам предстоит пережить вторую русскую зиму?

24 сентября.

Ночью взяли отца Анны. Я догадываюсь, что это проделки Вилли. Я поразился спокойствию, с каким они встретили полицейских. Анна сказала, что этого нужно было ожидать с того дня, когда в их квартире поселился немец.

Анна и отец долго стояли, обнявшись, возле окна.

Теперь Анна останется одна. Я чувствую, что у меня сильнее бьется сердце.

27 сентября.

Анна носила передачу отцу. Передачу взяли, но сказали, что она может больше не приходиться, потому что отца отправляют куда-то в тыл на работы. Я спросил у Вилли, что это может означать. Он мне ответил со свойственной ему небрежной манерой, что старик, должно быть, «сыграл в ящик». Отец Вилли был содержателем пивной в Мюнхене. Вилли неоднократно мне говорил, что он гордится этим фактом. В их пивной фюрер и его единомышленники собирались на свои первые собрания.

2 октября.

Сегодня Анна вдруг заявила мне, что ее отправляют в Германию. Третьего дня она получила повестку с биржи, а завтра уже уходит эшелон. Я возмущился тем, что она до сих пор молчала, но все же сказал ей, что еще не все потеряно. Я стал собираться к шефу биржи, но она со странной улыбкой сказала мне: «Пусть я поеду в Германию и разделю там участь своих подруг».

Оригинальное суждение! Я вспоминаю, как Луиза заплатила небольшой услугой оберштурмфюреру за то, что он избавил ее от трудовой повинности. Стала ли она от этого хуже? Нисколько. У нас все женщины так делают, оставаясь любящими сестрами, женами и матерями.

4 октября.

Утром Анна ушла на вокзал. До этого она долго ходила по комнатам, перетирала тряпкой мебель, рассматривала фотографии на стене. Мне показалось, что я прочел у нее в глазах ненависть. Я сказал, что ей нужно быть более уступчивой, но она сделала вид, что не слышит моих слов.

«До свидания, Анна, в Германии», — сказал я ей на прощанье. «Нет, вы не вернетесь в Германию, вы останетесь здесь», — ответила она серьезно. Только после ее ухода я с ужасом догадался о значении ее слов. Мне кажется, что еще сейчас в моих ушах звучит ее голос. Война сделала меня суеверным.

Вилли говорит, что завтра нас отправляют на Терек. Что-то ждет меня впереди?

... В ночь после атаки Дмитрий принес поднятую им с пола в блиндаже книжечку Луговому. Тот машинально положил ее в карман. Он в этот момент был занят допросом пленного. Перед Луговым стоял личный денщик командира 13-й германской танковой дивизии генерал-майора фон де Шевелери. Сам генерал с адъютантом в последнюю минуту успел уйти от казаков на машине. Денщика никто не разбудил. Теперь рослый немец стоял перед Луговым, дрожа, как осенний лист. Он все время косился белесыми глазами на лежавшую на столе фуражку Лугового. Красный ожолош фуражки кровавым кошмаром отразился в глазах немца. В тишине комнаты — той самой комнаты, где еще утром генерал Шевелери собирал своих офицеров, — было отчетливо слышно, как выбивают дробь зубы пленного немца. Луговой рассчитывал многое услышать от денщика генерала Шевелери, но этот здоровенный немец был просто-напросто болваном. Сначала Луговой думал, что пленный искусно хитрит, но потом пришлось убедиться, что он действительно не может связать двух слов. Он даже толком не знал фамилии командиров полков 13-й дивизии.

— Кто командир 4-го танкового полка? — спрашивал по-немецки Луговой.

— Фон.. фон.. — косноязычила денщик, косясь на яркий, как огонь, лампас командира.

— Фон Хаке? — заглядывая в лежащую на столе разведсводку, нетерпеливо подсказывал Луговой.

— Иа, иа, — обрадованно кивал головой пленный. Луговой с безразличием смотрел на обтянутые коричневым сукном рейтузов могучие ляжки денщика. У этого откормленного животного не было ни капли мужества. Попав в окружение казаков, денщик окончательно пал духом. Еще в детстве он много слышался о казаках от своего отца, солдата армии Вильгельма, и теперь не сомневался в том, какая участь его ждет. С ужасом он ждал своего смертного часа.

Дмитрий, стоявший за спиной Лугового, медленно закипал гневом. Командир полка слишком уж вежливо разговаривает с немцем! Он, Дмитрий, давно заставил бы его развязать свой дурацкий язык. Дмитрий с уважением относился к солдатам, которые, попав в плен, держали себя с достоинством, выказывая презрение к смерти. С тем большим негодованием он смотрел сейчас на этого тупоумного верзилу, у которого страх отшиб последний разум. Поддавшись этому чувству и отчасти вымещая свою досаду на неудачу в блиндаже, Дмитрий затеял с пленным немцем жестокую игру. За спиной Лугового он стал делать солдату красноязычные знаки. Лицо немца волевой омывала бледность. Пленный ясно видел, — этот молодой казак с жестоким, недобрим лицом, судя по одежде — офицер, складывает из пальцев петлю.

— Сколько в дивизии танков? — резко спрашивал Луговой. Его начинала утомлять этот бесцельный разговор. Если в начале допроса пленный еще кое-как ворочал языком, то теперь положительно стал невменяем. Дмитрий за спиной Лугового выразительно проводил ребром ладони по горлу. По лицу денщика струилась пот. Конвойный с трудом удерживал улыбку.

— Вы г., а не солдат, — сказал по-немецки Луговой. Денщик задрожал от жесткой интонации его голоса. Дмитрий в свирепой улыбке скалил слепительно белые зубы.

— Капут, — забывшись, явственно сказал Дмитрий, дотрагиваясь рукой до эфеса пистолета.

— Перестаньте, — поворачиваясь к Дмитрию, нахмурился Луговой. Дмитрий на цыпочках отошел к двери.

— Увести, — приказал Луговой конвойному. С жестом глубокого презре-

ния он добавил: — Скажите, чтобы его.. накормили.

Разговор с пленным усилил недовольство собой, душившее Лугового с той минуты, когда закончился бой за хутор Лепилин. Он мучительно корил себя за то, что его полк упустил командира 13-й танковой дивизии, генерала-майора фон де Швеллери. Правда, присутствие его на хуторе оказалось полной неожиданностью, и пленение генерала не стояло в задаче, поставленной перед полком Лугового. Но это могло стать блестящим завершением так удачно проведенной ночной атаки.

О книжечке в шагреновом переплете, переданной ему Дмитрием Чаканом, он совсем забыл. Несколько дней он носил книжечку в кармане. И только на пятый день, случайно нащупав ее, с холодным любопытством скользнул глазами по первой странице. Сколько таких дневников прочел Луговой за полтора года войны! Враги его родины, спокойно обгагрившие свои руки в крови малолетних детей, были одержимы сентиментальной манией пофилософствовать наедине с самим собой. Но вот с возрастающим интересом Луговой стал перелистывать странички, исписанные мелким, торопливым почерком. Смутное, безотчетное волнение овладевало его сердцем. Сгорбившись, Луговой просидел над дневником до утра. В комнате толкались люди, поминутно хлопала дверь, кто-то разряжал под окном автомат, Синцов громко ругал кого-то по телефону, потом обращался в Луговому с вопросами. Остатчук, гремя сапогами, приносил чай, и Луговой отхлебывал из кружки крупными, лихорадочными глотками, и все это бездумно, углубившись в себя. Из этого состояния его вывел Остатчук.

— Тутечко трех хвакельщиков привели. Куды их? — сказал он над ухом Лугового гулким голосом.

Нечеловеческую муку прочел Остатчук в глазах Лугового. Командир что-то промывал, сделав неопределенный жест рукой.

— У штаб дивизии? — переспросил Остатчук, догадываясь, что начальник приказывает ему лично конвоировать пленных немцев. Луговой молча кивнул головой. Остатчук пошел к двери.

Он вернулся через полчаса. Луговой все так же сгорбившись, сидел на табурете. Словно не узнавая, он посмотрел на ординарца долгим, тягучим взглядом

(Окончание следует.)

СТИХОТВОРЕНИЯ

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

(1943)

★

1

Мы молчали. Путь на запад шел
Мимо мертвых догоревших сел.
И лежала голая земля,
Головнями тихо шевеля.
Я запомню, как последний дар,
Этот сердце леденящий жар,
Эту ночь, похожую на день,
И средь пепла горестную тень.
Запах гари едок, как беда,
Не отвяжется он никогда,
Он со мной, как пепел деревень,
Как белесая больная тень,
Как тифозной бредовой беды
Красные и черные скирды,
Как огрызок вымершей луны.
Средь чужой и новой тишины.

2

Над пепелищем показались звезды,
Исеякли слезы. В тишине морозной
Детей окоченевших синеза,
И если были у тебя слова,
Молчи. Тебе изменит даже голос.
Дошел до сердца тот последний холод,
Что выше жалости и вне обид.
Его и смерть сама не размягчит.

3

Запомни этот ров. Ты все узнал:
И города сожженного оскал,

И черный рот убитого младенца,
И ржавое от крови полотенце.
Молчи: словами не смягчить беды.
Ты хочешь пить, но не ищи воды.
Тебе даны не воск, не мрамор. Помни:
Ты в этом мире всех бродяг бездомней.
Не обольстись цветом: и он в крови.
Ты видел все. Запомни и живи.

4

Были липы, люди, купола.
Мусор. Битое стекло. Зола.
Но смотри — среди разбитых плит
Уж младенец выполз и сидит,
И сжимает слабая рука
Горсть сырого теплого песка.
Что он вылепит? Какие сны?
А года чернеют сожжены.
Вот и вечер. Нам итти пора.
Грустная и страстная игра.

5

Белеют мазанки. Хотели сжечь их,
Но не успели. Вечер, дети, смех.
Был бой за хутор. И один разведчик
Остался на снегу. Вдали от всех
Он как бы спит. Но бьется больше
сердце.
Он долго шел, он к тем огням спешил.
И если не дано уйти от смерти,
Он, умирая, смерть опередил.

ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ

ВАС. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ

★

ВСТРЕЧА

Шли на фронт большие танки,
Задержались у села,
И к танкисту молодому
Трактористка подошла.

Ясным взглядом поглядела
Прямо в душу паренька,
Улыбнулась, покраснела,
Предложила молока.

Всех танкистов напоила,
Оглядела грозный танк,
Посмеялась, пошутила,
А потом сказала так:

— Ой, товарищи, как жалко
Расставаться мне сейчас!
Вы такие мне родные,
Будто век я знала вас!

Даже ваш бензиновый запах
Мне и сладок и душист —
Ведь сама я трактористка
И братишка мой танкист.
До свиданья, дорогие!
Передайте всем бойцам,
Чтоб сильнее громили немца
И скорей вернулись к нам!

Трактористку обнимают
И целуют, как сестру.
Загудели вновь моторы,
Пыль клубится на ветру.
От села уходят танки
Грозной целью боевой...
Тихо шепчет трактористка
Номер почты полевой.

★

У КОСТРА

Когда из разведки товарищ приходит,
Сейчас же его окружают друзья,
И каждый хорошее слово находит,
И крепче смыкается наша семья.
Сидим у костра мы и другу-герою
Стараясь все, как один, услужить, —
Согреть, накормить, поудобней

устроить,
И чарку налить, и белье просушить.
Кто побывал в разведке — тот помнит и
знает,
Что значит не спать и молчать по два
дня;
Уж он, брат, оценит, уж он понимает,

Какой это рай — поболтать у огня.
Расспросов, рассказов — на целую
книгу!

Он должен подробно нам все
рассказать, —
Как он из кустов на ефрейтора прыгал
И как удалось ему немца связать.
Рассказчик сияет, как новый
полтинник, —
И чарка крепка, и махорка сладка...
Сегодня — мы гости, а он именинник!
И жив и здоров и привел языка...
В костре горьковато дымится осинник
И пар подымается от котелка.

★

В ГОСПИТАЛЕ

— Видать, вы некурящая, сестрица, —
 Цыгарку непривычно вам крутить!
 Прошу меня простить... Как говорится —
 Нутро сосет и просит закурить.
 А самому свернуть мне несподручно
 Одной рукой я вроде не привык.
 Солдату без цыгарки очень скучно,
 Особенно, который фронтовик.
 Сидишь в окопе, скажем... Дождик сеет,
 Внизу вода и наверху вода..
 Закуришь — и душа повеселеет.
 А без цыгарки — чистая беда.

Такая разберет тебя досада,
 Ругнешься неизвестно почему,
 И мысли вдруг пойдут не те, что надо,
 И аппетиту нету ни к чему.
 А закури — и сразу легче будет, —
 Душе — отрада и мозгам толчок.
 Нет! Хорошо, что выдумали люди
 Махорочку и крепкий табачок.
 Солдату курево — я так соображаю —
 Как соль ко щам и как в бою «ура!»...
 А вас, скажу — я прямо уважаю
 За то, что вы не курите, сестра.

★

ТРИ ГОДА

Сын ушел со школьной парты
 За отчизну воевать,
 И три долгих-долгих года
 Не видала сына мать.
 Он казался ей таким же,
 Как он был в последний раз, —
 Бойким школьником, мальчишкой,
 Что ходил в десятый класс.
 Мать писала: — Днем и ночью
 Сердцем я с тобой, мой сын.
 Береги себя, мой мальчик, —
 У меня ведь ты один.
 Приходили письма с фронта:
 — Награжден... Громим врагов..
 Не грусти, моя родная...
 Все в порядке. Жив, здоров.
 Выли зимние метели,
 Весны радугой цвели,
 Самолетом дни летели,
 Быстрым шагом годы шли.
 Мать недаром целый месяц
 Сына видала во сне, —

На побывку в дом родимый
 Сын приехал по весне.
 Вот стоит он возмужалый:
 Летчик, офицер, герой.
 Мать и плачет, и смеется:
 — Ты ли это, мальчик мой?
 Ты теперь похож на папу,
 Только выше и сильнее...
 И, как прежде, сын с любовью
 На плечо склонился к ней.
 — Не один я, мама, вырос, —
 Повзрослела вся страна.
 Ты смотри, как за три года
 Закалала нас война.
 Побеждать мы научились,
 Научились немца бить,
 И еще сильнее, чем прежде,
 Матерей своих любить.
 Мать на сына поглядела:
 — Да, с таким не пропадешь!
 Вот она — надежда наша,
 Наша гордость — молодежь!

ПЕТР I

Книга третья*

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

★

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Гаврила Бровкин без отдыха скакал в Москву, — с царской подорожной, на перекладной тройке, в короткой телеге на железном ходу. Он вез государеву почту и поручение князю кесарю — торопить доставку в Петербург всякого железного изделия. С ним ехал Андрей Голяков. Велено было в дороге не мешкать. Какое там мешкать! — На сто сажень впереди тройки летело гаврилино нетерпеливое сердце. Доскакивая до очередного яма, — или, как нынче стали говорить, почтового двора, — Гаврила, весь в пылице, взбегал на крыльцо и колотил в дверь рукоятку плетки: «Комиссар! — кричал, вращая глазами, — сей час — тройку!» — и надвигался на заспанного земского целовальника, у которого одна лишь шляпа с галунами была признаком комиссарства, — за жарким временем бывал он бос, в одних исподних и в длинной рубаше распояской, — «Ковш квасу, и, покуда долью, чтоб заложена была...»

Андрей Голяков так же находился в восторженном воспарении. Стиснув зубы, вцепясь в обод телеги, чтобы не свалиться, не убиться, с волосами, отдутыми за спину, с носом, выставленным, как у кулика, он будто в первый раз раскрыл глаза и глядел на плывущие навстречу леса, дышащие смолистым теплом, на скаймленные ядовито яркой зеленью круглые болотные озера, отражающие небо и лесные тучки, на извилистые речонки, откуда — с черной воды — поднимались стаи всякой дичи, когда колеса громыхали по мосту. О дальнем, нескончаемом пути тоскливо заливался колокольчик под качающейся дугой. Ямщик гнал и гнал тройку, чувствуя сугубой спяной бешеного седока с плеткой.

Редко попадались деревни, ветхие, малолюдные, с убогими избами, где вместо окошек — дыра в две ладони, затаенная пузырем, да закопченная дымом щель над низенькой дверью. Да под расщепленной ивой — голубок с иконкой, чтобы было, все-таки, перед чем хоть бога-то помя-

нуть в такой глуши. В иной деревеньке осталось два, три двора жилых, — востальных проседи худые крыши, завалились ворота, кругом заросло крапивой. А людей — поди ищи в непролазных лесах, на чортовых кулижках на севере по Двине, или Выгу, или — убежали за Урал, или на нижний Дон.

— Ах, деревни-то какие бедные, ах, живут как бедно, — шептал Голяков и от сострадания прикладывал узкую ладонь к щеке. Гаврила отвечал рассудительно:

— Людей мало, а царство — просрать по краю — десяти лет нехватит, оного и беднота: с каждого спрашивают много... Вот, был я во Франции... Батюшки! — мужиков ветром шатает, едят траву с кислым вином и то не все... А выезжает на охоту маркиз, или сам дельфин французский, дичь бьют возами... Вот там — беднота. Но там причина другая..

Голяков не спросил — какая причина тому, что французских мужиков шатает ветром... Ум его не был просвещен, в причинах не разбирался: через глаза свои, через уши, через ноздри он пил сладкое и горькое вино жизни, и радовался и мучился чрезмерно...

На вадайских горах стало веселее, — пошли поляны с прошлогодними стогами, с сидящим коршуном наверху, лесные дорожки, пропадающие в лиственной чаще, куда бы так и уйти, беря ягоду, и шум лесов стал другой, — мягкий, в полную грудь. И деревни — богаче, с крепкими воротами, с изукрашенными резьбой крыльцами. Остановились у колодца поить, — увидели деву лет шестнадцати с толстой косой, в берестяном кокошнике, убранном голубой бусинкой на каждом зубчике, до того милостивую — только вылезти из телеги и поцеловать в губы. Голяков начал сдержанно вздыхать, Гаврила же, не обращая внимания на такую чепуху, как деревенская девка, сказал ей:

— Ну, чего стоишь, вытаращилась? Видишь, у нас обод лопнул, сбегай, позови кузнеца.

— Да, ой, — тихо вскрикнула она, бросила ведра и коромысло и побежала по мураве, мелькая розовыми пятками из-под вышитого подола хсащевой рубахи. Впрочем, она кому-то чего-то сказала, и скоро пришел кузнец. Глядя на такого мужика — всякий бы удовольствие крикнул: ну и дюж человек! Ли-

* Продолжение. См. «Новый мир» №№ 3, 6-7 1944 г.

до с кудрявой бородкой крепко слажено, на губах усмешка, будто он из одного снисхождения подошел к проезжим дурачкам, в грудь можно было без вреда бить двухпудовой гирей, могучие руки заложены за кожаный нагрудник.

— Обод, что ли, лопнул? — насмешливо спросил он певучим басом. — Оно видно — работа московская. — Покачивая головой, он обошел кругом телеги, заглянул под нее, взялся за задок и легко трянул ее вместе с седоками. — Она вся развалилась. На этой телеге только чертям дрова возить.

Гаврила, сердясь, заспорил. Голиков восторженно глядел на кузнеца, — изо всех чудес это было, пожалуй, самое удивительное. Ну как же было ему не тосковать по кистям и краскам, по дубовым пахучим доскам! Все, все летит мимо глаз, уходит без возврата в туманное забвение. Лишь один живописец искусством своим на белом левкасе доски останавливает безумное уничтожение.

— Ну, а долго ты будешь с ней возиться? — спросил Гаврила. — У меня час дорог, скачу по царскому наказу.

— Можно и долго возиться, а можно и коротко, — ответил кузнец. Гаврила строго посмотрел на свою плетку, потом покосился на него:

— Ладно... Сколько спросишь?

— Сколько спрошу? — кузнец засмеялся. — Моя работа дорогая. Спросить с тебя как следует — у тебя и деньжонек нехватит. А ведь я тебя знаю. Гаврила Иванович, ты с братом весной здесь проезжал, у меня же и ночевал. Забыл? А вот брат у тебя толковый мужик. Я и царя Петру хорошо знаю, и он меня знает, — каждый раз в кузню заворачивает. И он тоже — толков. Ну, что ж, поворачивайте к кузнице, чего-нибудь сделаем.

Кузница стояла на косогоре у большой дороги, низенькая, из огромных бревен, с земляной крышей, с тремя станами дляковки лошадей; кругом валялись колеса, сохи, бороны. У дверей стояли, в кожаных фартуках, с перевязанными ремешком кудрями, два его младших брата, и — старший — угрюмый, бородатый верзила, молотобоец. Не спеша, но спорноиграючи, кузнец принялся за дело. Сам отпруг лошадей, перевернул телегу, снял колеса, вытащил железные оси. «Гляди — обе с трещиной. — этой бы осью этого бы московского кузнеца по темячку...» Оси он сунул в горн, высыпал туда кулю углю, крикнул младшему брату: «Ванюша, дуй бодрей. Эх, дес сечь — не жалеет плеч!» И пошла у братьев работа. Гаврила, сопя трубочкой, прислонился в дверях. Голиков сел на высоком пороге. Они, было, спросили, — не помочь ли им для скорости? — кузнец махнул рукой: «Сидите покой-

но, хоть раз поглядите, какие есть валдайские кузнецы...»

Ванюша раздувал мехи, — искры, треща бураном, неслись под крышу. Озаренный ими, бородатый старший брат стоял, как идола, положив руки на длинную рукоять пудового молота. Кузнец пошевеливал ось в жарко дышащем горне:

— А зовут нас, чтоб вы знали, кличут нас Воробьевы, — говорил он, все так же посмеиваясь в кудреватые усы. — Мы — кузнецы, оружейники, колокольщики... Под дугой-то у вас — нашего литья малиновый звон... В прошлом году царь Петра так же вот здесь сидел на пороге и все спрашивал: «Погоди, говорит, Кондратий Воробьев, стучать, ответь мне сначала, — почему у твоих колокольчиков малиновый звон? Почему работы твоей шпажный клинок гнется, не ломается? Почему воробьевский пистолет бьет на двадцать шагов дальше и бьет без осечки?» Я ему отвечаю, — ваше царское величество, Петр Алексеевич, потому у наших колокольчиков такой звон, что медь и олово мы взвешиваем на весах, как нас учили знающие люди, и льем без пузырей. А шпага наша потому гнется, не ломается, что калим ее до малинового цвета и закачиваем в конопляном масле. А пистолеты потому далеко бьют и без осечки, что родитель наш, Степан Степанович, царствие ему небесное, бивал нас, маленьких, лозой больно за каждую оплошку и приговаривал: худая работа хуже воровства... Так-то...

Клещами Кондратий выхватил ось из горна — на наковальню, обмел вспыхнувшим венчиком окалину с нее и кивнул бородкой старшему брату. Тот отступил на шаг и, откидываясь и падая вперед, опинаясь молотом круг, стал бить, — каленные брызги летели в стены. Кондратий кивнул среднему брату: «А ну, Степа...» Тот с молотом поменьше встал с другой стороны; и пошел у них стук, как в пасхальный перезвон. — старший бухал молотом один раз, Степа угождал два раза, Кондратий, поворачивая железо и так и сяк, наигрывал молотком. «Стой!» — прикрикнул он и бросил скованную ось на земляной пол. «Ванюша, поддай жару...»

— Вот он мне, значит, и говорит, — вытерев пот тылом ладони, продолжал кузнец: — «Слышал ли ты, Кондратий Воробьев, про тульского кузнеца Никиту Демидова? У него сегодня на Урале и заводы свои, и рудники свои, и мужики к нему приписаны, и хоромы у него богаче моих, а ведь начал вроде тебя с пустяков... Пора бы и тебе подумать о большом деле, не век у проезжей дорожки лошадей ковать... Денег нет на устройство, — хоть и у меня туго с деньжонками, — дам. Ставь оружейный завод в Москве, а лучше — ставь в Пи-

тербурге... Там — рай»... И так он мне все хорошо рассказал, — смотрю — смущает меня, смущает... Ох, отвечает ему, ваше величество, Петр Алексеевич, живем мы у проезжей дороги знатно как, весело... Родитель наш говаривал: «Блин — не клин, брюха не расколет, — ешь сытно, спи крепко, работай дружно...» По его завету мы и поступаем... Всего у нас вдоволь. Осенью наварим браги, такой крепкой — обруча на бочках трещат, да и выпьем твое, государь, здоровье. Нарядные рукавицы наденем, выдем на улицу — на кулачки и позабавимся... Не хочется отсюда уходить... Так я ему ответил. А он, как осерчает. «Хуже, говорит, не мог ты мне ответить, Кондратий Воробьев. Кто всем доволен, да не хочет хорошее на лучшее менять, тому — все потерять. Ах, говорит, когда же вы, дьяволы ленивые, это поймете?» Загадал мне загадку...

Кузнец замолчал, нахмурился, потупился. Младшие братья глядели на него, им тоже, конечно, хотелось кое-что сказать по этому случаю, но — не смели. Он покачал головой, усмехнулся про себя:

— Так-то он всех и мутит... Ишь ты, это мы-то ленивые? А выходит, что — ленивые. — Он быстро обернулся к горну, где кадилась вторая ось, схватил клещи и — братьям: — Становись!

Часа через полтора телега была готова, собрана, крепка, легка. Дева в лубяном кокошнике все время вертелась около кузницы. Кондратий, наконец, заметил ее: — Машутка! — Она мотнула косой и стала, как вкопанная, — Сбегай, принеси боярам молока холодного — испить в дорогу.

Гаврила, прищурясь на то, как она мелькает пятками, спросил:

— Сестра? Девка завидная...

— А — ну ее, — сказал кузнец. — Замуж ее отдать — как будто еще жалко. Дома она — ни к чему, ни ткать, ни коров доить, ни гусей пасти. Одно — ей, — память синей глины и — баловать-ся, — сделает кошку верхом на собаке, или старуху с клюкой, как живую, это истинно... Налепит птиц, зверей, каких не бывает. Пола на светляка этой чепухи. Пробовали выкидывать — крик, вопли. Ружью махнули...

— Боже мой, боже мой, — тихо проговорил Голиков. — надо же поскорее посмотреть это! — И, будто в священном ужасе, раскрыв глаза на кузнеца. Тот хлопнул себя по бокам, засмеялся. Ванюша и Степа сдержанно улыбнулись, хотя оба не прочь были также прыснуть со смеху. Дева в лубяном кокошнике принесла горшок топленого молока. Кондратий сказал ей:

— Машка, этот человек хочет посмотреть твоих болванчиков, для чего — не ведомо. Покажи...

Дева помертвела, горшок с молоком задрожал у нее в руках.

— Ой, не надо, не покажу! — поставила горшок на траву, повернулась и пошла, как сонная, — скрылась за кузницей. Тут уже все братья начали хвататься за бока, трясти волосами... Не смеялся один Голиков, — выставив нос, он глядел туда, где за углом кузницы скрылась дева. Гаврила сказал:

— Ну, как же, Кондратий Степанович, все-таки будем расплачиваться?

— Как расплачиваться? — Кузнец вытер мокрые глаза, расправил усы и уже задумчиво погладил бородку: — Увидишь царя Пётру — передай ему поклон... Прибавь там от себя — чего полагается. И скажи, — Кондратий Воробьев просит де на него не гневаться, глупее людей Кондратию Воробьеву не бывать... Государь ответ мой поймет...

2

За волнистыми полями, за березовыми рощами, за ржаными полосами, далеко за синим лесом стояла радуга, одна ее нога пропадала в уходящей дождевой туче, а там, где она упиралась в землю другой ногой, сверкали и мигали золотые искры.

— Видишь, Андрюшка?

— Вижу...

— Москва...

— Гаврила Иванович, это вроде — как знаменье... Радуга-то нам ее осветила...

— Сам не понимаю — с чего Москва так играет... А ты, чай, рад, что — в Москву-то?

— А то как же... И рад, и страшно...

— Приедем, — прямо в баню... Утречком сбегаю к князю кесарю... Потом сведу тебя к царевне Наташе Алексеевне...

— Вот то-то и страшно...

— Слушай, ямщик, — сказал Гаврила на этот раз даже вкрадчиво, — погоняй, соколик, человека прошу тебя, погоняй...

После дождя дорога была угонистая. Летели комья с копыт. Блестела листва на берегах. Ветерок стал пахучий. Навстречу тянулись пустые телеги с мужиками, с непроданной коровенкой, или хромой лошадей, привязанной к задку. Проплывал верстовой столб с орлом и цифирью: — до Москвы 34 версты... Опять у дороги — плохонькие избенки, стоявшие, которая — бочком, которая — задом, и за седыми ветлами на кладбище — облупленный шатер церквёнки. И опять поперек улицы перед самой тройкой бежит голопузый мальчишка, закидывая волосы, будто он конь. Ямщик перегнулся, обжигая его кнутом по изъеденному комарами месту, откуда растут ноги, но тот — хоть бы что — только шмыгнул, провоявая круглыми глазами тройку.

И опять — с горки на горку. Взглянешь направо, где сквозь кусты блестит

речка, — бородатые мужики в длинных рубахах, один впереди другого, широко расставляя ноги, идут по лугу, враз взблескивают косами. Взглянешь налево — на лесной опушке, на краю тени лежит стадо и пастушонок бегаёт с кнутом за пергим бычком, а за ним, взмахивая из травы ушами, скачет умная собачка... Опять полосатый верстовой столб, — 31 верста... Гаврила застонал:

— Ямщик, ведь только три версты проехали...

Ямщик обернул к нему веселое лицо с бесечно вздернутым носом, который, казалось, только для того и пристроился между румяных щек, чтобы смотреться в рюмку:

— Ты, боярин, версты не по столбам считай, по кабакам их считай, в столбах верности нет... Гляди, — сейчас припустим...

Он вдруг вскрикнул протяжно: — Ой — ой — ой, лошадушки! — откинулся, бросил вожжи, большеголовые разномастные лошадишки помчались вскачь, круто свернули и стали у кабака, у старой длинной избы с высокой вехой, торчавшей над воротами, и с вывеской, — для грамотных, — выведенной кинсварью по лозоревому полю над дверью: «Къбакъ»...

— Боярин, что хочешь делай, кони зарезались, — весело сказал ямщик и снял с головы высокую войлочную шапку, — хочешь до смерти бей, а лучше прикажи поднести зелененького...

Целовальник, одетый по-старинному, в клюквенном кафтане с воротником — выше лысины, уже вышел на гнилое крылечко, улымый, свежий и держал на подносе три рюмки зеленого вина и три кренделя с маком для закуски... Делать нечего, пришлось вылезти из телеги, размяться...

К Москве стали подвезжать в сырые сумерки. Конца не было усадьбам, деревенькам, родам, церковкам, заборам. Иногда дуга задевала за ветвь липы, и на седоков сыпались дождевые капли... Повсюду теплился свет сквозь пузырчатые стекла или слюдяные окошечки; на папертях еще сидели нищие; кричали галки в пролетах колоколен. Колеса загромыхали по деревянной мостовой... Гаврила, схватив ямщика за плечо, указывал — в какие сворачивать кривые переулки... «Вон, где человек у забора лежит, так напротив — в тупик... Стой, стой, приехали!» Он выскочил из телеги и застучал в ворота, окованные, как сундук, полосами луженого железа. В ответ грохнули бешеным лаем, загрели цепями знаменитые бровкинские волкодавы.

Хорошо после долгого небытия приехать в родительский дом. Войдешь — все привычно, все по-новому знакомо. В холодных сенях на подоконнике горит свеча, здесь у стен — резные скамьи

для просителей, чтобы сидели и ждали спокойно, когда позовут к хозяину; далее — пустые зимние сени с двумя печами, здесь свеча, отдуваемая сквозняком, стоит на полу, отсюда — налево — обитая сукном дверь в нежилые голландские горницы — для именитых гостей, дверь направо — в теплые, низенькие покои, а — пойти прямо — начнешь блуждать по переходам, крутым лестницам вверх и вниз, где — клетки, подклетки, светлицы, чуланы, кладовые... И пахнет в родительском доме по-особенному, приятно, уютно... Люди — рацы приезде, говорят и смотрят любовно, ждут исполнить желания...

Родителя, Ивана Артемьича, дома не случилось, был в отъезде по своим мануфактурам. Гаврилу встретили ключница, дорожная (как и полагалось ей быть) — степенная женщина с тяжелой рукой и певучим голосом, старший приказчик, про которого Иван Артемьич сам говорил, что это сатана, и, недавно нанятый за границей, мажордом Карла, фамилии его никто не мог выговорить, длинный и утрюмый мужчина со щекастым лицом, опухшим от безделья и русской пицци, с могучим подбородком, с нависшим лбом, оказывающим великий ум в этом человеке, лишь был у него изъян, — из-за него он и попал в Москву за сходное жалование, — вместо носа носил он бархатный черный колпачок и был несколько гнусав.

— Ничего не хочу, только в баню, — сказал им Гаврила. — К ужину чтоб студень был, да пирог с говядиной, да тусь, да еще чего-нибудь посытнее... В Питербурге на одной возничей солонице да сухарях совсем отошались...

Ключница развела пухлые кисти рук, сложила их: «Исусе Христе, да как же ты сухари-то кушал!» — Сатана-приказчик, — ай, ай, ай — сокрушено заматал козлячьей бородежкой. Мажордом, ни слова не понимавший по-русски, стоял, как идол, с презрительной важностью отставя огромную плоскую ступню, заложив руки за спину. Ключница стала собирать чистое белье для бани и певуче рассказывала:

— В баньке попарим, напоим, накормим и на лебяжью перынку уложим, батюшка, в родительском доме сон сладок... У нас все слава богу, лихо-беда идут мимо двора... Голландские коровы все до одной отелились телушками, аглицкая свиньи по шестнадцати поросят каждая пометала, — сам князь кесарь приезжал дивиться... Ягоды, вишни в огороде невиданные... Рай, рай — родительский дом... Только что пусто, — ах, ах... Родитель твой, Иван Артемьич, походит, походит, бедный, по горницам: «Скушно мне, говорит, Агаповна, не съездить ли опять на мануфактуры...» Денег у родите-

ля столько стало, со счету сбился, кабы не Сенька, — она мигнула на сатану-приказчика, — сроду ему не сосчитать... Одна у нас досада с этим вот черноносим... Конечно, нашему дому без такой персоны нельзя теперича, по Москве говорят — как бы Ивану Артемичу титла не дали... Ну, этот шляпу с красными перьями на башку взденет, булавой в пол стукнет, жожжищей притопнет, — ничего не скажешь — знатно.. У прусского короля был мажордомом, покуда нос ему, что ли, не откусили... Сначала мы его робели, ведь — иностранный, шутка ли! Игнашка, конюх, его на балаалайке научил... С тех пор целый день тренькает, так-то всем надоел.. И жрать здоров.. Ходит за мной: «Матка, кушать!» Дурак, какого еще не видывали. Хотя, может это и надо в его звании. Был у нас на Иванов день большой стол, пожаловала царица Прасковья Федоровна, и без Карлы, конечно, было бы нам трудно. Надел он кафтан, голубчик, тесьмы, бахромы на нем фунтов с десять наверхечко, надел досиные рукавицы с пальцами; берет он золотое блюдо, ставит чашу в тысячу рублей и — колено преклоня — подает царице. Берет он другое блюдо, другую чашу лучше той и подает царевне Наталье Алексеевне...

Покуда ключница рассказывала, комнатный холоп, который с посявлением в доме мажордома стал называться теперь камер-динер, снял с Гаврилы пыльный кафтан, камзол, распутал галстух и кряхтя начал стаскивать ботфорты. Гаврила вдруг дернул ногами, вскочил, вскрикнул:

— У нас в дому была царевна? Что ты мелешь?

— Была, была красавица, по левую руку от Ивана Артемича сидела ненаглядная... Все-то на нее засмотрелся, пить-есть забыли... Ручки в перстнях, в запястьях, плечи — лебединые, над самой грудью родимое пятнышко в гречишное зернышко, — все заметили.. Платье на ней, как лен цветет, легче воздуха, на боках взбито пышно, по подолу — все в шелковых розах, а на головке — жар-птицы хвост..

Гаврила далее не слушал.. Наклонив на плечи бараний полушубок и шлепая татарскими туфлями, понесся по переходам и лестницам в мыльню. В сыром предбаннике он вдруг вспомнил:

— Агаповна, а где же человек, что со мной приехал?

Оказалось, — Андрюшку Голикова не пустил мажордом, и тот все еще сидел на дворе в отпряженной телеге. Впрочем, ему и там было хорошо со своими думами. Над черными крышами светили звезды, пахло поварней, сеновалом, хлевами, — весьма уютно, и — нет-нет — откуда-то тянуло сладчайшим духом цве-

тушей липы. От этого особенно билось сердце. Андрюшка, облокотясь, глядел на звезды. Что это были за огоньки, расщепанные густо по темнолиловой тверди, очень ли они далеко и зачем они там горят — он не знал и не думал об этом. Но оттуда лился в душу ему покой. И до чего же он, Андрей, был маленьким в этой телеге! Но — между прочим — маленьким, но не таким, как его когда-то учил старец Нектарий, — не смиренным червем, жалкой плотью чувствовал он себя... Казалось бы — животному не вынести того, что за короткую жизнь вытерпел Андрюшка, — уничижали, били, мучили, казнили его голодной и студеной смертью, а он, вот, как царь царей, обратя глаза к вселенским огням, слушает в себе тайный голос: — Иди, Андрей, не падай духом, не сворачивай, скоро, скоро возвеселится, взиграет твоя чудная сила, будет ей все возможно: из безобразного сотворишь мир прекрасный в твоём преображении..

Ох, ох! За такой бы голос бесовский ему бы — в его бытность у старца — сидеть на цепи сорок дней на одном ковшике воды, тайно мазать лампадным маслом кровавые рубцы. Подумав про это, Андрей беззабно усмехнулся. В памяти скользнуло — вспомнилось, как его один раз — царя-то царей — на Варварке в чадном кабаке били с особенной яростью какие-то посадские люди, выволокли за ноги на крыльцо и бросили в навозный снег. За что били? — не вспомнить. Было это в ту страшную зиму, когда на китайгородских, на кремлевских стенах качались повешенные стрельцы. Андрей тогда, голодный, в изодранном армячишке на голое тело, босой, в отчаянии, в тоске ходил по кабакам, выпрашивая у гуляющих такачик зеленого вина и тайно надеясь, что его в конце концов убьют, — этого он хотел тогда мучительно, до слез жала себя... Там же в кабаке встретил пьяненького пономара от Варвары великомученицы, с прищуренными глазками, раздвоенным носом, торчащей косицей. Он и уговорил тогда Андрея искать райской тишины, идти на львиное терзание плоти к старцу Нектарию.. «Чудаки! — прошептал Андрей, — плоть терзать! А плоть — бывает хороша».. И еще скользнуло в памяти: тихий вечер на селе в Палехе, стоит золотая пыль, мычат коровы, заворачивая к своим дворам. Мать-тощара, с мужичьими плечами — идет к воротам, а их давно бы надо чинить, а двор — худой, заброшенный. Андрей и братья, — все погодки, — сидят на перевернутой телеге без колес. Ждут, терпят, — с эдакой мамкой потерпишь!.. Она приотворяет покосившиеся ворота, Шаркаш широкими боками о половинки ворот мыча коротко, добро, входит Буренки

кормилица. У матери лицо темное, злое, скорбное, у Буренки морда теплая, лоб кудрявый, нос влажный, глаза большие, лиловые, Буренка-то уж не обидит. Дыхнула в сторону мальчишек и пошла к колодцу пить. И тут же, у колодца, мать, присев на скамеечку, стала ее доить. Ширк-ширк, ширк-ширк льется буренкино молоко в подойник. Мальчишки сидят на телеге, терпят. Мать приносит крыжки и широкой струей разливает в них из подойника. «Ну, идите,» — не любезно говорит она... Первым пьет парное молоко Андрюшка, покуда можно только терпеть животом, братья смотрят, как он пьет, младший даже вздохнул коротко, потому что ему пить последнему...

— Дорожный человек, эй, вылезай из телеги! — Андрей очнулся. Перед ним стоял с сердитым лицом паренек, камердинер. — Гаврила Иванович зовет в баню — париться... Да ты тут разуйся, брось под телегу и кафтан, и шапку... У нас же как в боярских домах, — к нам в рубище не пускают...

Ублаговоренные после бани, с полотенцами на шее, Гаврила и Андрей сели ужинать. Агаповна отослала мажорлама в каморку, чтобы не стеснял. Пухлые белые руки ее так и летали по столу, накладывая на тарелки что повкуснее, наливая в венецианские рюмки, вынутые для такого дорогого случая, заветные наливки и настойки. Когда разгорелись свечи, Гаврила заметил в углу на стуле стоящую раму, занавешенную холстом. Агаповна сокрушенно подперла щеку:

— Уж не знаю, как при чужом-то человеке и показать тебе это... Из Голландии Санюшка, сестрица твоя, прислала как раз к Иванову дню... Иван Артемич, голубчик, то на стену это повесит, то закручинится, снимет, прикроет полотном... При посылке она отписала: «Папенька, не смущайтесь, ради бога, вешайте мою порсуну смело в столовой палате, в Европе и не то вешают, не будьте варваром»...

Гаврила вылез из-за стола, взял свечу и сдернул холст с того, что стояло в углу на стуле. Голик привстал, — у него даже дыхание перехватило... Это был портрет боярыни Перковой, несказанной красоты и несказанного соблазна...

— Ну, ну, — только и сказал Гаврила, озаряя его свечой. Живописец изобразил Александру Ивановну посреди утреннего моря, на волне, на спине дельфина, лежала она в чем мать родила, только прикрывалась ручкой с жемчужными ноготками, в другой руке держала чашу, полную винограда, на краю ее два голубя клевали этот виноград. Над ее головой — справа и слева — в воздухе два перепрокинутых ногами вверх толстых младенца, надув щеки, трубили в рако-

вины. Юное лицо Александры Ивановны, с водянистыми глазами, усмехалось приподнятыми уrolками рта весьма лукаво...

— Ай да Санька! — сказал Гаврила, тоже не мало удивленный. — Это ведь к ней, Андрюшка, тебя пошлем в Голландию... Ну, смотри; как бы тебя там бес не попутал... Венус, чистая Венус!.. Вот и знатно, что из-за нее кавалеры на шпагах дерутся и есть убитые...

3

Оберегатель Москвы, князь кесарь, жил у себя на просторном прадедовском дворе, что на Мясницкой, близ Лубянской площади. Здесь были у него: и церковь с причтом, и суконно-валяльные, полотняные, кожаные, кузнечные заведения, конюшни, коровники, овчарни, птичники и всякие, набитые добром, хранилища и погребы, — все — построенное из необжатых бревен, крепостью на сотни лет. И дом был такой же — без глупых затей, (какими стали чваниться в Москве со времен царя Алексея Михайловича) — неказист, но рублен крепко, с гонтовой крышей, поросшей от старости мхом, с маленькими окошечками — высоко от земли. Порядки и обычаи в доме были старинные же. Но, если кто-нибудь, соблазнившись этим от простого ума, являлся — по старинке — в шубе до пят, с длинными рукавами, да еще с бородой, — будь он хоть рюрикова рода, такой человек скоро уходил со двора под хохот ромодановской дворни: шуба у него отрезана по колени, на щеках остриженные клочья, а сама борода торчала из кармана, чтобы ее в гроб положить, если перед богом стыдно... Когда у князя кесаря бывал большой стол — многие из званных приуговаривались к этому с великим воздыханием, — такое у него на пирах было принуждение, и неприличное озорство, и всякие тяжелые шутки. Один ученый медведь как досаждал: подходил к строптивому гостю, держа в лапах поднос с немалым стаканом перцовки, рыкал, требовал откушать, а если гость выбивался — не хотел пить, медведь бросал поднос и начинал гостя драть не на шутку. А князь кесарь только тряс животом стол, и княжий шут, умный, злой, кривой, с одним кльком в беззубом рту, кричал: «Медведь знает какую скотину драть...»

Встав рано поутру князь кесарь, в крапивоной темной рубахе, подпоясанной под грудями пояском с вытканной исусовой молитвой, в сафьяновых пестрых сапожках, стоял краткую заутреню; когда солнечный луч призывал клубящийся дым ладана, мертвели огоньки свечей и лампад и робкий попик возглашал с дребезжанием — «аминь», князь кесарь рухал на колени на коврик, тяж-

ко кряхтя достигал лбом свежесымытого пола, поднятый под руки, целовал холодный крест и шествовал в столовую избу. Там, сев удобнее на скамью, приоправив черные усы, принимал чарку перцовки, — такой здоровой, что иной не русский человек, отпив ее, долго бы оставался с открытым ртом, — закусывал кусочком черного посоленого хлеба и кушал: ботвинью, всякое заливное, моченое, квашеное, лапшу разную, жареное, — ел по-мужички — не спеша. Домочадцы и сама княгиня Анастасия Федоровна, — родная сестра царицы Прасковьи, — молчали за столом, тихо клали ложки, шепетно брали пальцами куски с блюд. В клетках, на окнах, начинали подавать голоса перешела и ученые скворцы, один даже выговаривал явственно: «Дядя, водочки...»

Князь кесарь, испив ковш кваса, помедлив несколько, поднимался, шел, скрипя половыми досками, в сени, ему подавали просторный суконный кафтан, посох, шапку. Когда его тень, видная сквозь мутноватые стекла крытого крыльца, медленно спускалась по лестнице, все люди, случившиеся по близости на дворе, кидались кто куда. Он один шел через двор по дорожке, вымощенной кирпичом. Шея у него была толстая, и головой поворачивать было ему трудно, все-таки углом выпученного глаза он все замечал: кто куда побежал, куда спрятался, где какие мелкие непорядки. Все запоминал. Но дел у него была чрезмерно много больших, государских, и до мелочей часто и руки не добирался. Через железную калитку в заборе он переходил на соседний двор Преображенского приказа. Там в полутемных, длинных переходах перед ним молча рвали с себя шапки дьяки и приказные, вытягивались — на караул — солдаты.

Дьяк Преображенского приказа Прохор Чичерин встречал его в дверях канцелярии и, когда князь кесарь садился у стола под залпесневелым сводом, под окошком, сразу начинал говорить о делах по порядку: — за вчерашний день привезено из Тулы изготовленных пушек медных четыре, да столько же чугуных доброго литья. Посылаю их тотчас и куда — под Нарву или под Юрьев? Да за вчерашний день окончательно одета первая рота новонабранного полка, только солдаты еще босые, башмаки без пражек будут на той неделе, в Бурмистерской палате купцы сапожного ряда Сопляков и Смуров готовы крест целовать, что не обманут. Как быть? Пороха, фитилей, пуль в мешочках, кремней рассыпанных в кулях послано под Нарву по указу. Гранат ручных не удалось послать; затем, что кладовщик Ерощка Максимов другой день пьян, ключи от кладовой никому не отдаст, хо-

тели взять силой, — он во иступлении ума замачивался на людей сечкой — чем капусту рубят... Как быть? Много таких дел было сказано дьяком Чичериным, подконец он, ближе придвинувшись под свод к окошку, взял столбцы тайных дел (записи подъячих с допросов без рукоприкладства и с допросов под пытками) и начал читать их. Князь кесарь, тяжело положив на стол руку, непонятно — внимал ли, дремал ли, хотя Чичерин хорошо знал, что самую суть он непременно услышит...

— «В брошенной банке, где скрывался распоп Гришка на дворе у царевен Екатерины Алексеевны и Марьи Алексеевны, под полом найдена тетрадь в четверть листа, толщиной в полпальца, — читал по столбцам дьяк Чичерин таким однообразным голосом, будто сыпал сухие горошины на темя. — На тетради на первом листе написано: «Досмотр ко всякой мудрости». Да на первом же листе ниже писано: «Во имя отца и сына и святого духа... Есть трава именем железка, растет на падах и палях, собой мала, по сторонам девять листочков, наверху три цветка — черваен, багров, синь, та трава вельми сильна, — рвать ее когда молодой месяц, столочь, сварить и пить трижды, — узришь при себе водных и воздушных демонов... Скажи им заклятое слово «непдтчндси» и желаемое исполнится...»

Князь кесарь глубоко вздохнул, приподнял полуопустившиеся веки:

— Слово-то это повторил-ка явственно.

Чичерин, почесав лоб, сморщась, со злобой едва выговорил: — непдтчндси... — Взглянул на князя кесаря, тот кивнул. Дьяк продолжал читать:

— «О, князья, вельможи, о, слезы и воздыхания! Что желаемое есть? Желдем укротить нынешнее время, ярость его, да настали бы опять будничные времена...»

— Вот, вот, вот! — Князь кесарь пошевелился на стуле, в выпученных глазах его появилась и пропала насмешка, догадка. — Понятна трава железка. А что-распоп Гришка признал тетрадь?

— Гришка сегодня в третьем часу после пытки признал тетрадь. Купил ее на Кисловке у незнамого человека за четыре копейки, а зачем прятал в банке под половицей? — сказал, что по скудоумию.

— А ты спрашивал у него — как понимать: «Опять бы настали будничные времена»?

— Спрашивал. Дадено ему пять кнотов, — ответил: тетрадь де купил для ради бумаги — просфоры на ней печь, а что в ней написано — не читал, не знает.

— Ах, вор, ах, вор! — Князь кесарь медленно муслил палец, переворачивал потрепанные листы тетради. Кое-что прочитывал вполголоса: «Трава «вахария», цвет рудожелт, если человека смертно окормят — дай пить, скоро пронесет вер-

хом и низом...» — Полезная травка, — сказал князь кесарь. И — далее — вел ногтем по строкам: « В Кириллиной книге сказано: придет льстец и соблазнит. Знамена пришествия его: трава ниоциана сиречь табак, повелят жечь ее и дым глотать, и тереть в порошок, и нюхать, и вместо пения псалмов будут непрестанно тот порошок нюхать и чихать. Знамение другое: брадобритие...» — Ну что ж, — князь кесарь закрыла тетрадь, — пойдем, дьяк, поспрошаем его — кто же это желает укротить нынешнее время? Распол человек прыткий и тертый, про эту тетрадь я давно знаю, он с ней пол-Москвы обегал.

Спускаясь по узкой, изъеденной сыростью, кирпичной лестнице в подполье, в застенки, Чичерин, как всегда, проговорил сокрушенно:

— Из-под земли эта моча простукает, кирпич сгнил, то и гляди убьешься, надо бы новую лесенку скласть...

— Да, надо бы, — отвечал князь кесарь. Впереди со свечой шел подъячий-писец, так же, как и дьяк, одетый в изюмное платье, но сильно затертое, на шее висела медная чернильница, из полуоторванного кармана торчал сверток бумаги. Он поставил свечу на дубовый стол в низком подполье, где, как тени, кинулось несколько крыс по норам в углах.

— И крыс же нынче у нас развелось, — сказал дьяк, — все хочю попросить в аптеке мышьяку.

— Да, надо бы...

Два зверовидных мужика, нагибаясь под сводами, приволокли распоба Гришку, с закаченными глазами, с бородашкой сбитой, как шерсть, — лицо у него было зеленоватое, с отвислой губой. Подлинно ли, что он уж и не мог владеть ногами? Поставленный под ярмо с висящей веревкой, он мягко повалился, уткнулся, как неживой. Дьяк сказал тихо: «Допрашивали без вредительства членов и ушел он на своих ногах...»

Князь кесарь некоторое время глядел Гришке на плешь меж всклокоченных волос.

— Узнано, — заговорил он сонным голосом, — в позапрошлом году ты в Звенигороде у Ильи пророка сорвал серебряные бармы с икон, да у Благовещенья взломал церковную кружку с деньгами, да там же из алтаря украл поповский гулуп и валенки. Вещи продал, деньги пропил, взят под стражу и от караула бежал в Москву, где по сей день скрывался по разным боярским дворам, а позже — у царевен на дворе в баньке... Признаешь? Отвечать будешь? Нет... Ну, ладно. Эти дела для тебя еще побуды...

Князь кесарь похлопал. Позади зверовидных мужиков неслышно появился кат — палач — благообразный, испитой,

бледно восковой, с большим ртом, краснеющим меж плоско прижатых усов и кудрявой бородки.

— Узнано, — опять заговорил князь кесарь, — хаживал ты в Немецкую слободу к бабе черноряске, Ульяне, передавал ей письма и деньги от некоторых особ... Которая баба Ульяна относилась к Нововедичье к известной персоне... От ней брала письма же и посылки, и ты их относил к вышеупомянутым особам... Было это? Признаешь?

Дьяк перегнулся через стол, шепнул князю кесарю, указывая глазами на Гришку:

— Насторожился, ей, ей, по ушам вижу...

— Не признаешь? Так... Упрямышься...

А — напрасно... И нам с тобой лишние хлопоты и тебе — лишние муки телесные... Ну, ладно... Теперь вот что мне расскажи... В чьи, именно, дома ты ходил? Кому, именно, ты читал из сей тетради про желание укротить нынешнее время, ярость его, и о желании вернуть буднишние времена.?

Князь кесарь, будто просыпаясь, приподнял брови, лицо его вздулось. Палач мягко подошел к лежащему ниц Гришке, потрогал его, покачал головой...

— Князь Федор Юрьевич, нет, сегодня он говорить не станет. Зря только будем его беспокоить. С дыбы да пяти кнутов он окостенел... Надо отложить до завтра.

Князь кесарь застучал ногтями по столу. Но Силантий, палач, был опытен, — если человек окостенел, его — хоть перешиби пополам — правды от него не добьешься. А дело было весьма важное: со взятием распоба Гришки князь кесарь нападал на след — если не прямого заговора — во всяком случае злобного ворчания и упрямства среди московских особ, все еще сожалеющих о боярских вольностях при царевне Софье, что по сей день томится в Нововедичьем под черным клобуком. Но — делать нечего — князь кесарь поднялся и пошел наверх по гнилой лестнице. Дьяк Чичерин остался хлопотать около Гришки.

4

Утро было сырое, теплое, мгlistое. В переуках пахло мокрыми заборами и дымками из печных труб. Лошадь шлепала по лужам. Гавриил слез с верха у ворот Преображенского приказа и долго не мог добиться караульного офицера.

— Куда же он, сатана, провалился? — крикнул он усатому солдату, стоявшему у ворот... «А кто его знает, все время тут был, куда-то ушел...» «Так — сбегай, найди его...» «Никак не могу отлучиться...» «Ну пусти меня за ворота...» «Никого не велено пускать...» «Так я сам присйду», — Гавриил толкнул его, чтобы шагнуть за калитку, солдат сказал: «А вот — отвори

калитку, я тебя, по артикулу, штыком буду пороть...»

Тогда на шум вышел, наконец, караульный офицер, скучавший до этого в будке по ту сторону ворот, — конопчатый, с маленьким лицом и никуда не смотревшими глазами. Гаврила кинулся к нему, объясняя, что привез из Питербурга почту и должен передать ее в собственные руки князю Федору Юрьевичу.

— Где я могу увидеть князя кесаря? Он в приказе сейчас?

— Ничего не известно, — ответил караульный офицер, глядя на полосатого большого кота, брезгливо переходившего мокрую улицу. — Кот — с княжеского двора, — сказал он солдату, — а сколько крику было, что пропал, а он — вон он, паскуда...

Ворота вдруг завизжали на петлях, расплавились и размашисто вылетела четверня — цугом — вороных в бирюзовой сбруе. Гаврила едва отскочил, сквозь окошко огромной облезлой, золоченой колымаги на низких колесах взглянул на него Ромодановский рачьими глазами. Гаврила поспешно влез на лошадь, чтобы догнать карету, караульный офицер схватился за узду, — чорт его знает — то ли от природы был такой вредный человек, то ли, действительно, по уставу нельзя было догонять выезд князя кесаря...

— Пустя! — бешено крикнул Гаврила, перехватил узду, ударил шпорами, вздернул коня, — офицер повис на узде и упал... «Караул! Лови вора!» — уже издаля услышал Гаврила, выскакивая на Лубянскую площадь.

Кареты он не догнал, плюнул с досады и через Неглинный мост повернул в Кремль, в Сибирский приказ. Низенький, длинный, со ржавой крышей, дом приказа, построенный еще при Борисе Годунове, стоял на обрыве, выше крепостной стены, задом к Москве-реке. В сенях и перелогах толпились люди, сидели и лежали у стен на полу, из скрипучих дверей выбегали подьячие, в долгополых кафтанях с запластанными локтями (от постоянного ерзанья ими по столу), с гусиными перьями за ухом, — размахивая бумагами — сердито кричали на угрюмых сибиряков, приехавших за тысячи верст добиться правды на воеводу ли озорника-взяточника, какого не бывало от сотворения мира, или по разным льготам насчет рудных, золотых, пушных, рыбных промыслов. Бывалый человек, претерпев такую брань, прищуривался ласково, говорил подьячему: «Кормилец, милостивец, ай бы нам сойтись, потолковать душа в душу в обжорном ряду, что ли, или где укажешь...» Неопытный так и уходил, повесив голову, чтобы завтра и еще много дней, проедаясь на подворье, приходиться сюда, ждать, надоедать...

Князь кесарь был в разряде оружейных дел. Гаврила не стал спрашивать — можно ли к нему, протолкался к двери, кто его потянул за кафтан: «Куда, куда, нельзя!» — он отмахнулся локтем, вошел. Князь кесарь сидел один в душной, низенькой палате с полуприкрытым ставнейю окошком, вытирал пестрым платком шею. Стопа грамот, прошений, жалоб лежала на столе около него. Увидев Гаврилу, он укоризненно покачал головой:

— А ты — смелый, Иван Артемича сын! Ишь ты! — черная кость нынче сама двери отворяет!.. Чего тебе?

Гаврила передал почту. Сказал — что ему велено было передать на словах насчет скорейшей доставки в Питербург всякого скобяного товара, — особенно гвоздей... Князь кесарь, сломав восковую печать, толстыми пальцами развернул письмо государя и, далеко отнеся его от глаз, стал шевелить губами... Петр писал:

«Сии! Извещаю ваше величество, что у нас под Нарвою учинилось удивительное дело, — как умных дураки обманули... У шведов перед очами гора гордости стояла, через которую не увидели нашего подлога... Об сем машкерадном бое, где было нами побито и взято в плен треть нарвского гарнизона, услышите вы от самовидца оного, от гвардии поручика Ягужинского, он скоро у вас будет... Что до посылки в Питербург лекарственных трав для аптеки — до сих пор сюда ни золотника не послано... О чем я многожды писал Андрею Винуусу, который каждый раз отподчивал меня московским тотчасом... О чем извольте его допросить: — почему делается такое главное дело с таким небрежением, которое тысячи его голов дороже... Петр...»

Прочтя, князь кесарь поднес к губам то место письма, где была подпись. Тяжко вздохнул:

— Душно, — сказал он, — Жара, мгла... Дел много. А за день и половины не переделаешь... Помощники, ах, помощнички мои!.. Трудиться мало кто хочет, все нарывают — скользь. Да ухватить побольше... А ты чего нарядился, парик надел?.. К царевне, что ли, едешь? Ее нет во дворце, в Измайловском она... Ты — увидишь ее — не забудь: на Петровке, в кружале, в кабаке, на окне стоит дорогой скворец, так хорошо говорит по-русски — все люди, которые мимо идут, останавливаются и слушают. Я сам давеча из кареты слушал. Его можно купить, ежели царевна пожелает... Ступай... По пути скажи дядю Нестерову, чтоб послал за Андреем Винусом, — привести его ко мне тотчас... На, целуй руку...

5

После полудня стало накрапывать. Анишь Толстая, страшась приуныния, придумала играть в мяч в пустой тронной палате, где уже много лет никто не бывал.

Анне и Марфе — девам Меншиковым — лишь бы играть во что-нибудь, — развешивая лентами, протянув голые по локоть пухлые руки, они с визгом носились за мячиком по скрипучим половицам. Наталье Алексеевне сегодня было почему-то слезливо, игра не веселила... Когда она была совсем маленькой, в этой палате во всех окошках, высоко от пола, всегда горело солнце сквозь красные, желтые, синие стеклышки и блестела золоченая кожа на стенах. Кожу ободрали, и стены стояли бревенчатые, с висевшей паклей. По крыше стучал дождь. Она сказала Катерине:

— Не люблю Измайловского дворца. Большой, пустой, чисто покойник... Пойдем куда-нибудь, сядем тихонечко.

Она положила руку на плечо Катерине и повела ее вниз в маленькую, тоже брошенную и забытую, спальню покойной матери, Натальи Кирилловны. Сколько прошло времени, а здесь — хотя слабо — пахло не то ладаном, не то мускусом. Наталья Кирилловна до последних дней любила восточные ароматы.

Наталья взглянула на голую кровать с витыми столбиками, без полога, на четырехугольное тусклое зеркальце на стене, отвернулась и толкнула ветхую раму. В комнату вошел запах дождя, шелестившего по листьям сирени под окошком, по лопухам, по крапиве...

— Сядем, Катя. — И они сели у раскрытого окошка. — Да! — вздохнула Наталья. — Вот уж и лето кончается, не успеешь оглянуться — осень... Тебе что! В девятнадцать лет на дни не оглядываются, пускай летят, как птицы... А мне, знаешь сколько? Я ведь на пять лет только моложе брата Петруши... Сочти-ка... Матушка вышла замуж семнадцати лет, отцу было под сорок... Он был толстый, от бороды всегда пахло мятой, и все хворал... Я его мало помню... Умер от водяной болезни... Анисья Толстая один раз выпила наливочки и давай мне рассказывать заветное... У матушки в молодости нрав был веселый, беспечный, пылкий... Понимаешь? (Наталья затуманенно взглянула в глаза Катерине). Про нее чего только не пела! софьины-то приспешники да блюдолизы... А разве можно ее винить? По-старозаветному — все грех, что ты женщина — и то грех, — сосуд дьявола, адовы врата... А по-нашему, поновому: — амур прелестный прилетел и пронзил стрелой... Что же — после этого в шруд осенней ночью кидаться с камнем на шею? Не женщина — амур виноват!.. Анисья рассказывает, — жил в те времена в Москве боярский сын Мусин-Пушкин, ангельской, а — лучше сказать — бесовской красоты человек, смелый, горячий, наездник, гуляка... На масляной неделе на льду, на Москва-реке, вызывал

любого биться на кулачках... Всех побивал... Матушка туда ездила тайно, в простом возке и глядела на его отвагу... Потом взяла его к себе ко двору кравчим... (Наталья Алексеевна повернула красивую голову к разоренной кровати, меж бровей у нее легла морщинка). Вдруг его послали воеводой в Пустозерск... И больше она его никогда не видела... А у меня, Катерина, и этого нет.

Ленивый дождь продолжал моросить. Было душно. За туманами неясно поднимались огромные деревья, не похожие на измайловские сосны. Птицы все попрятались под крышу, не чирикали, не пели. Только одна растрепанная ворона летела низко над седым лугом. Катерина беспечальным взором следила за ней, — ей очень хотелось сказать царевне, что ворона-воровка летит на птичник и опять, как вчера, наверно, унесет желтенького цыпленка. Наталья Алексеевна положила локти на подоконник, голова ее склонилась, тяжелая от окруженных кос. Тогда Катерина, глядя на ее шею и на волосы на затылке, подумала: — Неужели никто этого не целовал? Вот горько-то! — и едва слышно вздохнула.

Наталья все же услышала этот вздох, строптиво повела плечом, сказала, подпирая рукой подбородок:

— А теперь ты расскажи про себя... Только правду говори... Сколько у тебя было амантов, Катерина?

Катерина отвернула голову, и — шопотом:

— Три аманта...

— Про Александра Даниловича нам известно. А до него? Шереметев был?

— Нет, нет! — живо ответила Катерина. — Господину фельдмаршалу у успеха только сварить суп, сладкий, эстонский, с молоком, и выстирала белье... Ах, он мне не понравился! Плакать я боялась, но я твердо сказала себе: истоплю печку и угорю, а жить с ним не буду... Александра Данилович отнял меня в тот же день... Его я очень полюбила... Он очень веселый и много со мной шутил, мы очень много смеялись... Его несколько не боялась...

— А брата моего боишься?

Катерина поджала губы, свинула бархатные брови, чтобы ответить честно:

— Да... Но мне кажется — я скоро перестану бояться...

— А второй кто был амант?

— О, Наташа, второй был не амант, он был русский солдат, добрый человек, я любила его только одну ночь... Как можно было в чем-нибудь ему отказать, он отбил меня от страшных людей в лисьих шапках, с кривыми саблями... Они тащили меня из горящего дома, рвали платье, били плеткой, чтобы я не царапалась, хотели посадить на седло... Он кинулся, толкнул одного, толкнул другого, да так сильно! «Ах вы, — говорит, — кумысни-

ки! — разве можно девчонку обижать? Взят меня в охачку и понес в обоз... Ничем другим я не могла его поблагодарить. Было уже темно, мы лежали на соломе...

Натаалья, трепеща ноздрями, спросила жестко:

— Под телегой?

— Да... Он мне сказал: «Как сама хочешь, девка... Ведь это тогда сладко, когда девка сама обнимет...» Поэтому я его считаю амантом...

— Третий кто был?

Катерина ответила степенно:

— Третий был муж, Иоганн Рабе, кирасир его величества короля Карла из Мариенбургского гарнизона... Мне было шестнадцать лет, пастор Глюк сказал: «Я тебя воспитал, Элен Катерин, я хочу выполнить обещание, которое дал твоей покойной матери, я нашел тебе хорошего мужа...»

— Мать, отца хорошо помнишь? — спросила Натаалья.

— Плохо... Отца звали Иван Скаврошук. Он еще молодой убежал из Литвы, из Минска, от пана Сапеги в Эстляндию и около Мариенбурга арендовал маленькую мызу. Там мы все родились, — четыре брата, две сестры и — я, младшая... Пришла чума, родители и старший брат умерли. Меня взял пастор Глюк, — мне он второй отец. У него я выросла... Одна сестра живет в Ревеле, другая — в Риге, а где братья сейчас — не знаю. Всех разметала война...

— Ты любила мужа?

— Я не успела... Наша свадьба была на Иванов день... О, как мы веселились! Мы поехали на озеро, зажгли иванов огонь и в венках танцевали, пастор Глюк играл на скрипке. Мы пили пиво и поджаривали маленькие колбаски с кардамоном... Через неделю фельдмаршал Шереметев осадил Мариенбург... Когда русские взорвали стену, я сказала Иоганну: — беги!.. Он бросился в озеро и поплыл, больше я его не видела...

— Забыть тебе надо про него...

— Мне многое нужно забыть, но я легко забываю, — сказала Катерина и робко улыбнулась, вишневые глаза ее были полны слез.

— Катерина, ты ничего не скрываешь от меня?

— Разве посмею утаить от тебя чего-нибудь? — горячо проговорила Катерина и слезы потекли по ее персиковым щекам. — Вспомнила бы, ночь бы не спала, чуть свет прибежала бы, рассказала.

— А, все же, ты — счастливая. — Натаалья подперла щеку и опять стала глядеть в окошко, как птица из клетки. По нежному горлу покатились клубочек. — Нам, царевнам-девкам, сколько ни веселись — одна дорожка — в монастырь... Нас замуж не выдадут, в жены не берут. Либо уж беситься без стыда, как Машка

с Катькой... Не даром сестра Софья за власть боролась лютый тигрицей...

Катерина только было нагнулась, — поцеловать ее руку с голубыми жилками, сложенную от огорчения в кулачок, — на лугу показался высокий всадник на поджаром коне с мокрой гривой, у него плащ был мокрый и со шляпы висели мокрые перья. Увидев Натаалю Алексеевну, он соскочил с коня, бросив его — шагнул к окошку, снял шляпу, преклонил колени в траву и шляпу приложил к груди...

Натаалья Алексеевна стремительно поднялась, толстая коса ее упала на шею, лицо вспыхнуло, все задрожало, засияли глаза, раскрылись губы...

— Гаврила! — сказала тихо. — Это ты? Здравствуй, батюшка мой... Так иди же в дом, чего на дожде-то стоишь...

Вслед за Гаврилой подъехала одноколка, рядом с кучером сидел востроносый испуганный человек, накрывшись от дождя мешком. Он тотчас снял шляпу, но не вылезал. Гаврила, не отрывая темных глаз от Натаалю Алексеевны, приблизился к самой сирени:

— Здравствуй на множество лет, — сказал, будто задыхаясь. — Прибыл с поручением от государя... Привез тебе искусного живописца с наказом написать порсуну с некоторой любезной особы... Которого, опосля, надобно отослать за границу — учиться... Вон сидит в тележке... Дозволь с ним зайти...

6

Одного челядинца — верхом — Анисья Толстая послала в Кремль на сытный двор за всякими припасами к ужину и сладостями, — «да — свечей, свечей побольше!..» Другой поспекал в Неменскую слободу за музыкантами. Из трубы повара повалил густой дым, — стриженные поварята застучали ножами. Подоткнутые девчонки бегали за цыпятами в мокром бурьяне. Дворцовые рыбаки, разленившись от безделья, пошли с вершами и сетями на пруды — ловить не менее ленивых карпов, полеживавших на боку в тине.

С заросших прудов после дождя закурился туман, заволок большой сгнивший мост, по которому никто уже больше не ходил, пополз между деревьями на луг перед дворцом, и старый дворец понемногу стал погружаться в него по самые кровли.

Старые люди, дворовые еще царя Алексея Михайловича, сидя у дверей повара, у людской избы, глядели, как в затуманенном дворце в окошечках — то там, то там — появится и пропадет расплывающееся сияние свечи, слышится топот ног и хохот... Не дают старому дому покойно ветшать и догнивать, подставляя бревенчатые стены непогоде, худые крыши проливным дождям... И сюда ворвалась шальная молодость с новыми порядками

ми... Бегают по лестницам от чердаков до поджелей... Ничего там не найдешь, — одни пауки в углах да мыши носы из нор повысунули...

В Наталью Алексеевну точно вселился бес, — с утра печалилась, — с приездом Гаврилы — раскраснелась, развеселилась, начала придумывать всякие забавы, чтобы никому ни минуты не посидеть покойно. Анисья Толстая не знала, как и поворачиваться. Царевна сказала ей:

«Сегодня быть валтасарову пиру, ужинать будем ряженые».

«Свет мой, да ведь до святок еще далеко... Да и не знаю я, не видела, как царь Валтасар пирует...»

«Обыщем дворец, что найдем почуднее — все несите в столовую палату... Сегодня не серди меня, не упрямься...»

Заскрипели старые лестницы, застонали ржавые петли давно не отворявшихся дверей... Началась беготня по всему дворцу, — впереди — Наталья Алексеевна, подбирая подол, за ней со свечой — Гаврила, — от испуга у него остановились глаза. Испуг начался еще давеча, когда он с верхъ увидел в окошке Наталью Алексеевну, подперевшую, пригорюнясь, щечку. Было это, как из сказки, что в детстве рассказывала на печи Санька — про царевну Несравненную Красоту... Илан-то царевич скакнул тогда на коне выше дерева стоячего, ниже облака ходячего, под самое косящее окошко и сорвал у Несравненной Красоты перстень с белой руки...

Верчение головы было и у Андрея Голикова — (ему велели также ити со всеми). Со вчерашнего вечера, когда он увидел портрет гаврилиной сестры, на дельфине, все казалось ему и не явь и не сон... До задыхания смущали его светлорусые, круглощечные девы Меншиковы, столь прекрасные и пышные, что никакими складками платья невозможно было прикрыть соблазна их телосложения. И пахло от них яблоками, и не глядеть на них было невозможно.

В кладовых нашли немало всякой мягкой похляди, платьев и уборов, какие и не помнели теперь, широченных шуб византийской парчи, епанчей, терликов, кафтанов, жемчужных венцов по пуду весом, — все это охапками дворовые девки тащили в столовую палату. Высоко под самым потолком в одной поджелей увидели небольшую дверцу. Наталья взяла свечу, приподнялась на цыпочки, закинула голову:

— А что, если он там?

Анна и Марфа — враз — с ужасом:

— Кто?

— Домовой, — проговорила Наталья. Девы схватились за щеки, но не побледнели, только раскрыли глаза — шире чего нельзя. Всем стало страшно. Старик истопник принес лестницу, приставил к стене. Тотчас Гаврила кинулся на лест-

ницу, — он бы и не туда сейчас кинулся... Открыл дверцу и скрылся там в темноте. Ждали, кажется, очень долго, — он не отвечал оттуда и не шевелился. Наталья страшным шопотом приказала: «Гаврила! Слезай!» Тогда показались подошвы его ботфуртов, растопыренные полы кафтана, он слез, весь был в паутине.

— Чего ты там видел?

— Да так, — сереется там чего-то, будто мохнатое, будто мягким меня чем-то по лицу погладило...

Все ахнули... На цыпочках заторопились из-под касти и — уже бегом — по лестнице, и только наверху Марфа и Анна начали визжать. Наталья Алексеевна придумала играть в домового. Искали потайных дверей, осторожно открывали чуланы под лестницами, заглядывали во все подпечья, — от страха не дышали... И добились, — в одном темном месте, затутом паутиной, увидели два зеленых глаза, горевших адским огнем... Без памяти кинулись бежать... Наталья споткнулась и попала на руки Гавриле, — тот ее подхватил крепко, и она даже услышала, как у него стучит сердце, — редко, глухо, по-мужски... Она двинула плечом, сказала тихо: «Пусти».

Тогда пошла устраивать валтасаров пир. Старик истопник, — с желтой бородой, как у домового, с медным крестом поверх рубахи, в новых валенках, — опять принес лестницу. На бревенчатые, давно ободранные, стены в столовой палате повесили, траченные молюю, ковры. Стол унесли, ужин накрыли прямо на полу, на ковре, — всем велено ужинать сидя по-вавилонски, царем Валтасаром быть Гавриле. На него надели парчевый кафтан, хоть ветхий да красивый, алый с золотыми грифонами, на плечи — шубу, какие носили сто лет назад, на голову — жемчужный венец, кажется, — еще царицы бабушки. Наталью Алексеевну стали одевать Семирамидой в золотые ризы, поверх тяжелых кос наверхтели пестрых платков, послали дворовых девчонок — надергать у пелухов из хвоста перьев покрасивее и эти перья воткнули ей в тюрбан...

Думали — кем быть Марфе и Анне? Наталья велела им пойти за дверь, распустить косы, снять платья, юбки, остаться в сорочках, — благо сорочки тонкого полотна, длинные и свежие. Опять дворовые девчонки слетали на пруд, принесли водяных кувшинков, ими обмотали девам Меншиковым шею, руки, волосы, длинными стеблями они подпоясались, — стали русалками с Тигра и Ефрата. Катерину одеть было легко, — богиней овощей и фруктов, имя ей — по-вавилонски — Астарта, по-гречески — Флора. Девчонки сбегали — надергали моркови, петрушки, нарвали зеленого лука, гороху, принесли незрелых тыкв, яблок. Катерина, разгоревшаяся, с влажным ртом, круглыми от счастья глазами и более не робевшая, — как всегда,

смеялась звонко всякому пустяку, — стала истинной Флорой, обмотанная горохом, укропом, в венке из овощей, держала в руке корзину с крыжовником и красной смородиной...

— А живописцу кем быть? — спохватилась Наталья. — У нас эфиопа нет, быть ему эфиопским царем.

Новое чудо началось для Андрюшки Голикова, женские руки, не то в яви, не то во сне, начали его тормошить, поворачивать, напутывать на него шелк и парчу, лицо ему измазали сажей, ущемили ноздрю медным кольцом, чтобы непременно сидел с кольцом в носу... Кажется — дай ему господь ангельские крылья — не был бы он столь блажен... Вошли, низко кланяясь, три музыканта из Немецкой слободы, — скрипач, губной гармонист и флейтист. Их тоже кое-как одели.

— Теперь — ужинать! — сидеть на подушках, поджав ноги, пить мед и вино из раковин...

Как надо было играть в вальсаров пир — точно никто не знал. Сели перед блюдами, перед свечами, переглядывались, улыбались, есть никому не хотелось... Тогда Наталья Алексеевна трянула петушиными перьями, и, выпячивая губы, начала наизусть читать те самые вирши, которые Гаврила уже слышал от нее в зимнюю ночь, в жарко натопленном тереме, под золотым сводом...

— На горé превеликой живут боги блаженны,
Стрелами Купидо паки они сраженны...
Сам Юпитер стонет, — увь мне, страдаю,
Спокоя лишился, ниже лекарства не знаю,
Огонь чрево гложет, жажду, ничем не

напьюся,
Ах, напрасно я, бедный, с любовью борюся...
Увь, даже боги бывают злым Купидо побиты,
У кого же людям искать от сего защиты?
Не лучше ли веселиться! печаль оставим,
Стрелы отравлённы сладким вином
восславим...

Когда Наталья читала, лицо ее побледнело под огромным тюрбаном. Она отпила глоток вина и пошла плясать полку с Анисьей Толстой. Музыканты играли не громко, но так, что дрожала и пела каждая жилочка в теле.

— Иди с Катериной! — крикнула Наталья, сверкнула глазами на Гаврилу. Он вскопчил, сбросил с плеч вальсарову шубу, — плясать мог хоть круглые сутки. Спина у Катерины была горячая, податливая под рукой, ноги легкие, от кружения с ее головы и плеч летели стручки гороха, вишневые ягоды. Гаврила надавал и музыканты надавали. Анна и Марфа также завертелись взявшись за руки. На ковре перед свечами остался сидеть один Голиков, пить и есть он не мог из-за кольца в носу, но и это обстоятельство

не мешало его блаженству, в ушах, под свист флейты, все еще звучали царственные вирши про олимпийских богов... И пляла, пляла перед глазами нагая богиня на дельфине с чашей, полной соблазна...

Гаврила был прост, сказано — танцовать полку с Катериной, он и плясал, не жалея каблучков. И хотя несколько раз показалось ему, будто у Натальи Алексеевны лицо улыбается по-иному, невесело, без прежнего сияния в глазах, он не понял, что давно ему пора посадить Катерину на место около тыкв и моркови... Еще раз мелькнуло царевнино лицо со сжатыми, как от боли, зубами... Вдруг она покачнулась, остановилась, схватилась за Анисью Толстую, с головы ее повалился тюрбан с петушиными перьями... Анисья испуганно вскрикнула:

— У государыни головка закружилась! — и замахала на музыкантов, чтоб перестали играть...

Наталья Алексеевна вырвалась от нее, волоча мантию, вышла из палаты. На этом и окончился вальсаров пир. Анне и Марфе сразу стало стыдно в одних рубашках, — перешепнулись и убежали за дверь. Катерина испуганно села на место, начала обирать с себя овощи. Гаврила помрачнел, раздвинув ноги стоял над ковром с блюдами, насупясь — моргал на огоньки свечей. Анисья выдетела вслед за царевной и скоро вернулась, схватила ногтями Гаврилу за руку:

— Иди к ней, — шепнула, — бейся лбом в пол, дурень...

Наталья Алексеевна стояла тут же, только выйти из палаты, — в переходе, глядела в раскрытое окошко на туман, светившийся от невидимой луны. Гаврила приблизился. Было слышно, как с крыши на листья падают капли.

— Ты на долго приехал в Москву? — спросила она не поворачиваясь. Он не собрался ответить, только задохнулся. — В Москве тебе делать нечего. Завтра уезжай, откуда приехал...

Выговорила и плечи у нее поднялись. Гаврила ответил:

— Чем я тебя прогневал? Да господи, знала бы ты... Знала бы ты!

Тогда она повернулась и лицо с начерченными сажей бровями придвинула вплоть:

— Не надо мне тебя, слышишь, иди, иди!..

Повторяя: иди, иди, — подняла руки, оттолкнула его, но то ли поняла, что эдакого верзилу не оттолкнешь, положила руки, звякнувшие семирамидными запястьями, ему на плечи и низко-все ниже стала клонить голову. Гаврила, также не понимая, что делает, принялся, чуть прикасаясь, целовать ее в теплый подбор. Она повторяла:

— Нет, нет, иди, иди...

(Продолжение следует.)

НОВЫЕ СКАЗЫ

П. БАЖОВ

★

ЧУГУННАЯ БАБУШКА

Против наших каслинских мастеров по фигурному литью никто выстоять не мог. Сколько заводов кругом, а ни один вровень не поставишь.

Другим заводчикам это не вовсе по нраву приходилось. Многие охотились своим литьем каслинцев обогнать, да не вышло.

Демидовы тагильские сильно косились. Ну, как, — первый, можно сказать, по здешним местам завод считался, а тут на-ко — по литью оплошка. Связываться все-таки не стали, отговорку придумали:

— Мы бы легонько каслинцев перешагнули, да заниматься не стоит: выгоды мало.

С Шуваловыми лысьвенскими смешнее вышло. Те, понимаешь, врезались в это дело. У себя, на Кусье-Александровском заводе, рассказывают, придумали тоже фигурным литьем заняться. Мастеров с разных мест понавели, художников наняли. Не один год етак-то пыжились, и денег, говорят, не жалеи, а только видят — в ряд с каслинским это литье не поставишь. Махнули рукой да и говорят, как Демидовы:

— Пускай они своими игрушками тешатся, у нас дело посурьезнее найдет-ся.

Наши мастера меж собой пересмеиваются.

— То-то! Займитесь-ко чем посподручнее, а с нами не спорьте. Наше литье, поди-ко, по всему свету на отличку идет. Одним словом, каслинское.

В чем тут главная точка была, сказать не умею. Кто говорил — чугу́н здешний особенный, только, на мой глаз, чугу́н — чугу́ном, а руки — руками. Про это ни в каком деле забывать не след.

В Каслях, видишь, это фигурное литье с давних годов укоренилось. Еще при бытности Золых, когда они тут

над народом изгальничали, художники в Каслях жилали. Народ, значит, и приобык.

Тоже ведь фигурка, сколь хорошо ее ни слепит художник, сама в чугу́н не заскочит. Умелыми да ловкими руками ее переводить доводится.

Формовщик хоть и по готовому ведет, а его рука много значит. Чуть оплошал — уродец родится.

Дальше чеканка пойдет. Тоже не всякому глазу да руке впору. При отлажке, известно, всегда какой ни на есть изъян случится. Ну, напальвчик выбежит, шадринки высыпают, вмятины тоже бываю́т, а чаще всего путцы под рукой путаю́тся. Это пленочки так по-нашему зову́тся. Чеканщику и приходится все эти изъяны подправить: напальвчики выгладить, шадринки сбить, путцы срубить. Со стороны глядя, и то видишь — вовсе тонкое это дело, не всякой руке доступно.

Бронзировка да покраска проще кажу́тся, а изведай — узнаешь, что и тут всяких хитростей-тонкостей много́нько.

А ведь все это к одному шло. Оно и выходит, что около каслинского фигурного литья, кроме художников, немало народу ходило. И набирался этот народ из того десятка, какой не от всякой сотни поставишь.

Многие, конечно, по тем временам во все неграмотные были, а дарованье к этому делу имели.

Фигурки, по коим литье велось, не все заводские художники гостовили. Больше того их со стороны привозили. Которое, как говорится, из столицы, которое — из-за границы, а то и просто с толчка. Ну, мало ли, приглянется заводским бабрам какая вещичка, они и посылают ее в Касля с наказом:

— Отлейте по этому образцу, к такому-то сроку.

Заводские мастера отольют, а сами про всякую отливку посуда́чат.

— Это, не иначе, француз придумал. У них, знаешь, всегда так: либо веселенький узорчик пустит, либо выдумку почудней. Вроде вон парня с крылышками на пятках. Кузьмич из красильной еще его торгованом Меркушкой зовет.

— Немецкую работу, друг, тоже без ошибки узнать можно. Как лошадка поглаже да посытее, либо бык пудов этак на сорок, а то барыня погрузнее, в полном снаряде да еще с собакой, так и знай — без немецкой руки тут не обошлось. Потому — немец первым делом о сытости думает.

Ну, вот... В числе прочих литейщиков был в те годы Торокин Василий Федорыч. В пожилых считался, дядей Васей в литейном его звали.

Этот дядя Вася с малых лет на формовке работал и, видно, талант к этому делу имел. Даром что неграмотный, а лучше всех доводил. Самые тонкие работы ему доверяли.

За свою-то жизнь дядя Вася не одну тысячу отливок сделал, а сам дивится: — Придумывают тоже! Все какие-то Еркулесы да Лукавоны! А нет того, чтобы понятнее показать.

С этой думкой стал захаживать по вечерам в мастерскую, где главный заводской художник учил молодых ребят рисунку и лепке тоже.

Формовочное дело, известно, с лепкой-то по соседству живет: тоже приметливого глаза да ловких пальцев требует.

Поглядел дядя Вася на занятия да и думает про себя:

«А ну-ко, попробую сам».

Только человек возрастной, свои ребята уж большинькие стают — ему и стыдно в таких годах ученьем заниматься. Так он что придумал? Вкрадче от своих-то семейных этим делом занялся. Как уснут все, он и садится за работу. Одна жена знала. От нее, понятно, не ужоронишься. Углядела, что мужик засиживаться стал, спрашивает:

— Ты что, отец, получничаешь?

Он сперва отговаривался:

— Работа, дескать, больно тонкая приплась, а пальцы одубели, вот и разминай их.

Жена все-таки доспрашивает, да его и самого тянет сказать про свою затею. Не зря, поди-ко, сказано: «сперва подумай с подушкой, потом с женой». Ну, он и рассказал.

— Так и так... Придумал свой образец для отливки соготовить.

Жена посомневалась:

— Барское, поди-ко, это дело. Они к тому ученые, а ты что?

— Вот то-то, — отвечает, — и горе, что бары придумывают непонятное, а

мне охота простое показать. Самое, значит, житейское. Скажем, бабку Анисью вылепить, как она прядет. Видела?

— Как, — отвечает, — не видела, коли чуть не каждый день к ним забегаяю.

А по соседству с ними Безкресновы жили. У них в семье бабушка была, вовсе преклонных лет. Внулата у ней выросли, работы по дому сама хозяйка справляла, и у этой бабки досуг был. Только она — рабочая косточка — разве может без дела? Она и сидела день-деньской за пражей, и все, понимаешь, на одном месте, у кадушки с водой. Дядя Вася эту бабку и заприметил. Нет-нет и зайдет к соседям будто за делом каким, а сам на бабку смотрит.

Жене, видно, поглянулась мужнина затея.

— Что-ж, — говорит, — старушка стóящая. Век прожила, худого про нее никто не скажет. Работящая, характером увелитая, на разговор не скупая. Только примут ли да заводе?

— Это, — отвечает, — полбеда, потому — глина некупленная и руки свои. Вот и стал дядя Вася лепить бабку Анисью, со всем, сказать по-настоящему, рабочим местом. Тут тебе и кадушка, и ковшечек сбоку привешен, и бабка сидит, сухонькими пальцами нитку подкручивает, а сама маленько на улыбе, вот-вот — ласковое слово скажет.

Лепил, конечно, по памяти. Старуха об этом и не знала, а васина жена сильно любопытствовала. Каждую ночь подойдет и свою заметочку скажет:

— Потуже ровно надо ее подвзывать. Не любит бабка распустихой ходить, да и не по-старушечьи этак-то платок носить.

— Ковшик у них будет поменьше. Нарочно давеча поглядела.

Ну, и прочее такое. Дядя Вася о котором поспорит, которое на приметку берет.

Ну, вылепил фигурку. Тут на него раздумье нашло, — показывать ли? Еще на смех подымут!

Все-таки решился, пошел сразу к управляющему.

На счастье дяди Васи управляющий тогда из добрых пришелся, не плохую память о себе в заводе оставил. Поглядел он торокинскую работу, понял, видно, да и говорит:

— Подожди маленько, — придется мне посоветоваться.

Ну, прошло сколько-то времени, пришел дядя Вася домой, подает жене деньги.

— Гляди-ко, мать, деньги за модельку выдали! Да еще бумажку написали, чтоб вперед выдумывал, только никому, кроме своего завода, не продавал.

Так и пошла торокинская бабка по

свету гулять. Сам же дядя Вася ее формовал и отливал. И, понимаешь, оказалась ходким товаром. Против других-то заводских поделок, ее всевбойко разбирать стали. Дядя Вася перестал в работе таитьяся. Придет из литейной и при всех с глиной вожгається. Придунал на этот раз углевоза слепить, с коробом, с лошадьо, все как на деле бывает.

На дядю Васю глядя, другие заводские мастера осмелели — тоже принялись лепить да резать, кому что любо. Подставку, скажем, для карандашей вроде рабочего бахила, пепельницу на манер каустного листка. Кто оиять придумал вырезать девчущку с корзинкой груздей, кто свою собачёнку Шарика лепит — старается. Одним словом, пошло-поехало, живым потянуло.

Радуются все. Торокинскую бабку добром поминают.

— Это она всем нам дорожку показала.

Только не долго так-то было. Вдруг поаный поворот вышел. Вызвал управляющий дядю Васю и говорит:

— Вот что, Торокин. Считаю я тебя самомулучшим мастером, потому от работы в заводе не отказываю. Только больше лепить не смей. Оконфузил ты меня своей моделькой.

А прочих, которые по торокинской дорожке пошли — лепить да резать стали, тех всех до одного с завода прогнаа.

Люди, понятно, как очумелые стали: за что, про что такая напасть? Кинулись к дяде Васе:

— Что такое? О чем с тобой управляющий разговаривал?

Дядя Вася не потаил, рассказал, как было. На другой день его оиять к управляющему потянули. Не в себе вышел, в глаза не глядит, говорит срыву:

— Ты, Торокин, лишник слов не говори! Велено мне тебя в первую голову с завода вышвырнуть. Так и в бумаге написано. Только семью твою жалеючи, оставляю.

— Коли так, — отвечает дядя Вася, — могу и сам уйти. Прокормлюсь как-нибудь на стороне.

Управляющему, видно, вовсе стыдно стало.

— Не могу, — говорит. — этого допустить, потому как сам тебя, можно сказать, в это дело втравил. Подожди, — может, еще переменится. Только об этом разговоре ником не сказывай.

Дяде Васе как быть? Передал всё-таки потихоньку эти слова товарищам. Те видят — не тут началось, не тут и кончится. Стали доискиваться да и разузнали все до тонкости.

Каслинские заводы, видишь, за наследниками купцов Расторгуевых зна-

чились. А это уж так повелось, — где богатое купецкое наследство, там непременно какой-нибудь немец пристроился. К расторгуевскому подобрался фон-барон Меллер да еще Закомельский! Чуешь, — какой коршун? После пятого году на все государство прославился палачом да вешателем.

В ту пору этот Меллер-Закомельский еще молодым жеребчиком ходил. Только-что на Расторгуевую женился и вроде как главным хозяином стал.

Их, ведь, — наследников-то расторгуевских — не один десяток считалось, а весили они по-разному. У кого частей мало, тот мало и значил. Меллер больше всех частей получил, — вот и вышел в главного.

У этого Меллера была в родне какаят тетка Каролина. Она будто Меллера и воспитала. Вырастила, значит, дубинку на рабочую спинку. Тоже, сказывают, важная барыня — баронша. Приезжала она к нам на завод. Кто видел, говорили, — сильно сытая, вроде стоячей перины, ежели съела поглядеть.

И почему-то эта тетка Каролина исчиталась понимающей в фигурном литье. Как новую модель выбирать, так Меллер всегда с этой теткой совет держал. Случалось, она и одна выбирала. В литейном подсмеивались:

— Подобрано на немецкой тётки глаз, — нашему брату не понять.

Ну, так вот.. Уехала эта немецкая тётка Каролина куда-то за границу. Долго там ползала. Кто говорит — лечилась, кто говорит — забавлялась на старости лет. Это ее дело. Только в ту пору как раз торокинская чугунная бабушка и выскочила, а за ней и другие такие штучки воробышками вылетать стали и ходко по рукам пошли.

Меллеру, видно, не до этого было, либо он на барыши позарился, только облегченье нашим мастерам и случилось. А как приехала немецкая тётка домой, так сразу перемена делу вышла.

Визгом да слюной чуть не изошлась, как увидела чугунную бабушку. На племянничка своего поднялась, корит его всяко, в том смысле:

— Скоро, дескать, до того дойдешь, что своего кучера либо дворника себе на стол поставишь. Позор на весь свет!

Меллер, видно, умишком-то небогат был, забеспокоился:

— Простите-извините, любезная тётушка, — не доглядел. Сейчас дело поправим.

И пишет выговор управляющему со строгим предписаньем, — всех новоявленных заводских художников немедленно с завода долой, а модели их навсегда запретить.

Так вот и плюнула немецкая тётка Каролина со своим дорогим племянничком нашим каслинским мастерам в самую душу. Ну, только чугунная бабушка за все отплатила.

Пришла раз Каролинка к важному начальнику, с которым ей говорить-то с поклоном надо. И видит, — на столе у этого начальника, на самом видном месте торокинская работа стоит. Каролинка, понятно, смолочала бы, да хозяин сам спросил.

— Ваших заводов литье?

— Наших, — отвечает.

— Хорошая, — говорит, — вещьца. Живым от нее пахнет.

Пришлось Каролинке поддакивать:

— О, та! Очень превосходный рапорт.

Другой раз случай за границей вышел. Чуть ли не в Париже. Увидала Каролинка торокинскую работу и давай всякую пустяковину молотить.

— По недогаду, дескать, эта отливка прошла. Ничем эта старушка не замечательна.

Каролинке на это вежливенько и говорят:

— Видать, вы, мадама, без понятия в этом деле. Тут живое мастерство ценится, а оно всякому понимающему сразу видно.

Пришлось Каролинке и это проглотить. Приехала домой, а там любезный племянничек пеняет:

— Что же вы, дорогая тётушка, меня конфузите да в убыток вводите. Отливки-то, которые по вашему выбору, вовсе никто не берет. Совладельцы даже обижаются да и в газетах нехорошо пишут.

И подает ей газетку, а там прописано про наше каслинское фигурное литье. Отливка, дескать, лучше нельзя, а модели выбраны — никуда. К тому подведено, что выбор доверен не тому, кому надо.

— Либо, — говорит, — в Каслях на этом деле сидит какой чудак с чугунными мозгами, либо оно доверено старой барыне немецких кровей.

Кто-то, видно, прямо метил в немецкую Каролинку. Может, заводские художники дотолкали.

Меллер-Закомельский, говорят, сильно старался узнать, кто написал, да не добился. А Каролинку после того случая пришлось все-таки отстранить от заводского дела. Другие владельцы настояли. Так она — эта Каролинка с той поры прямо тряслась от злости, как

случится где увидеть торокинскую работу.

Да еще что? Стала эта чугунная бабушка мерещиться Каролинке.

Как останется в комнате одна, так в дверях и появится эта фигурка и сразу начинает расти. Жаром от нее несет, как от неостывшего литья, а она еще упреждает:

— Ну-ко, ты, перекисло тесто, побегись, как бы не изжарить.

Каролинка в угол забьется, визг из весь дом подымет, а прибегут — никого нет.

От этого перепугу будто и убралась чортовой бабушке немецкая тётушка. Памятник-то ей в нашем заводе отливали. Немецкой, понятно, выдумки: крылья большие, а легкости нет. Старый Кузьмич перед бронзиривкой поглядел на памятник, поразбирал мудреную надпись да и говорит:

— Ангел яичко снес да и думает: то ли насиживать, то ли подождать?

После революции в ту же чортову дыру замели Каролинкину родню — всех Меллеров-Закомельских, которые убежать не успели.

Полсотни годов прошло, как ушел из жизни с большой обидой неграмотный художник Василий Федорыч Торокинд, а работа его и теперь живет.

В разных странах на письменных столах и музейных полках сидит себе чугунная бабушка, сухонькими пальцами нитку подкручивает, а сама маленько на улыбке, вот-вот ласковое слово скажет:

— Погляди-ко, погляди, дружок, на бабу Анисью. Давно жила. Косточки мои, поди, в пыль рассыпались, а нитка моя, может, и посейчас внукам правнукам служит. Глядишь, кто и помянет добрым словом. Честно, дескать жизнь прожила, и по старости, сложа руки, не сидела. Али взять хоть Васю Торокина. С пеленок его знала, поэтому в родстве мы да и по суседству. Мальчонком стал в литейную бегать. Добрый мастер вышел. С дорогим глазом, с золотой рукой. Изобидели его немцы, хотели его мастерство испоганить, а что вышло? Как живая, поди-ко, сижу, с тобой разговариваю, память ку о мастере даю — о Василье Федорыче Торокине.

— Так-то, милачок! Работай, а штука долговская. Человек умрет, а дело его останется. Вот ты и смекай, как жить-то.

БОГАТЫРЕВА РУКАВИЦА

(Из уральских сказов о Ленине)

В здешних-то местах раньше простому человеку никак бы не удержаться: зверь бы заел, либо гнус ододел. Вот сперва эти места и обживали богатыри. Они, конечно, на людей походили, только сильно большие и каменные. Такому, понятно, легче: зверь его не загрызет, от оводу вовсе стокайно, жаром да стужей не проймешь, и домов не надо.

За старшого у этих каменных богатырей ходил один, по названью Денежкин. У него, видишь, на ответе был стакан с мелкими денежками из всяких здешних камней да руды. По этим рудяным да каменным денежкам тому богатырю и прозвание было.

Стакан, понятно, богатырский, — выше человеческого росту, много больше сорокаведерной бочки. Сделан тот стакан из самоцветного золотистого топаза и до того тонко да чисто выточен, что дальше некуда. Рудяные да каменные денежки насквозь видны, а сила у этих денежек такая, что они место показывают.

Возьмет богатырь какую денежку, потрет с одной стороны, — и сразу место, с какого та руда либо камень взяты, на глазах появится. Со всеми пригорочками, ложками, болотцами, — примечай, знай. Оглядит богатырь, все ли в порядке, потрет другую сторону денежки, — и станет то место просвечивать. До капельки видно, в котором месте руда залегла и много ли ее. А другие руды либо камни сплосняком кажет. Чтoб их разглядеть, надо другие денежки с того же места брать.

Для догляду да посылу была у Денежкина богатыря каменная птица. Росту большого, нравом бойкая, на лету легкая, а обличье у ней сорочье — пестрое. Не разберешь, чего больше наметано: белого, черного али голубого. Про хвостовое перо говорить не осталось, — как радуга в смоле, а глаз агатовый в веселом зеленом ободке. И сторожкая та каменная сорока была. Чуть кого чужого заслышит, сейчас заскачет, застрекочет, богатырю весть подает.

Смоледу каменные богатыри крутенько пошевеливались. Немало они троп протоптали, иные речки отвели, болота подсушили, вредного зверья поубавили. Им ведь ловко: стукнет какую зверюгу каменным кулаком, либо двинет ногой — и дыханья нет. Одним словом, поработали.

Старшой богатырь нет-нет и гаркнет на всю округу:

— Здоровеньки, богатыри?

А они подымутся враз да и загрохочут:

— Здоровы, дядя Денежкин, здоровы!

Долго так-то богатыри жили, потом стареть стали. Покличет их старшой, а они с места сдвинуться не могут. Кто сидит, кто лежмя лежит, вовсе камнями стали, богатырского окаяку не слышат. И сам Денежкин отяжелел, мохом обрастать стал. Чует, — стóять на ногах не может. Сел на землю, лицом к полуденному солнышку, присугорбился, бородой в колени уперся да и задремал. Ну, все-таки заботы не потерял. Как заворопится каменная сорока, так он глаза и откроет. Только и сорока не такая резвая стала. Тоже, видно, состарилась.

К этой поре и стали люди появляться. Первыми, понятно, охотники забегать стали, как тут вовсе приволье было. За охотниками шахарь пришел. Стал деревья валить да деревни ставить. Вскорости и такие объявились, кои по горам да ложкам землю ковырять принялись, не положено ли тут чего на пользу. Эти живо прослышали насчет топазового стакана с денежками и стали к нему подбираться.

Первый-то, кто на это диво набрал, видать, из простодушных случился. Он только на веселые камешки польстился. Набрал их всяких: желтеньких, зеленых, вишневых. Ну, и открыл места, где такие камешки водятся.

За этим добытчиком другие потянулись. Больше норовят тайком один от другого. Известно, жадность людская: охота все богатство на себя одного перевести.

Прибегут такие, видят, — старый богатырь вовсе утлый, чуть живой сидит, а все-таки вполглаза поглядывает. Топазовый стакан полнехонек рудяными да каменными денежками и закрыт богатыревой рукавицей, а на ней каменная сорока поскакивает, беспокоится. Добытчикам, понятно, страшно, они и давай старого богатыря словами обхаживать.

— Дозволь, родимый, маленько денежек взаймы взять. Как справлюсь с делом, непременно отдам. Убери свою сороку.

Старик на эти речи ухмыльнется и пробунчит, как гром по далеким горам.

— Бери, сколь надобно, только с угвором, чтоб народу на пользу.

И сейчас своей птице знак подает.

— Посторонись, Стрекотуха.

Каменная сорока легонько подскочит, крыльями взмахнет и на левое плечо

богатыря усядется да оттуда и оставит-ся на добытчика.

Добытчики хоть оглядываются на сороку, а все-таки рады, что с места улетела. Про рукавицу, чтоб богатырь снял ее, просить не насмеливаются: смял, дескать, как-нибудь одолеем это дело. Только она — эта богатырева рукавица — людям неподъем. Вагами да ломами ее отворачивать примутся. В поту бьются, ничего не щадят. Хорошо, что топазовый стакан навеки сделан — его никак не пробьешь.

Ну, все-таки сперва и на старика поглядывают, и на сороку озираются, а как маленько сдвинут рукавицу да запустят руки в стакан, так последний стыд потеряют. Всяк норовит ухватить побольше, да такие денежки выбирают, кои подороже кажутся. Иной столько нахапает, что унести не в силу. Так со своей ношей и погибнет.

Старый Денежкин эту повадку давно на приметку взял. Нет-нет и пошлет свою сороку.

— Погляди-ко, Стрекотуха, далече ли тот ушел, который два пестеря денежек нагреб.

Сорока слетает, притащит обратно оба пестеря, сыплет рудяные денежки в топазовый стакан, пестери около бросит да и стрекочет.

— На дороге лежит, кости волками оглоданы.

Богатырь Денежкин на это и говорит:

— Вот и хорошо, что принесла. Не на то нас с тобой тут поставили, чтоб дорогое по дорогам таскалось. А того скоробогатка не жалко. Все бы нутро земли себе уволок, да кишка порвалась.

Были, конечно, и удачливые добытчики. Немало они рудников да приисков поткрывали. Ну, тоже не совсем складно, потому — одно добывали, а дорожке того в отвалы сбрасывали.

Неудачливых все-таки много больше пришлось. С годами все тропки к Денежкину-богатырю по человечьим костям приметны стали. И около топазowego стакана хламу много развелось. Добытчики, видишь, как дорвутся до богатства, так первым делом свой инструментиншко наполовину оставят, чтоб побольше рудяных денег с собой унести. А там, глядишь, каменная сорока их сумки-котомки, пестери да коробья обратно притащит, деньги в стакан сыплет, а сумки около стакана бросит. Старик Денежкин на это косился, ворчал.

— Вишь, захламили место. Стакана вовсе не видно стало. Не сразу подобрешься к нему. И тропки тоже в нашу сторону все испоганили. Настоящему человеку по таким и ходить-то, поди, муторно.

Убирать кости по дороге и хламу у

стакана все-таки не велел. Говорил сороке:

— Может, кто и образумится, на это глядя. С понятием к богатству подступит.

Только перемены все не было.

Старик Денежкин иной раз жаловался:

— Заждались мы с тобой, Стрекотуха, а все настоящий человек не придидит.

Когда опять уговаривать сороку примется:

— Ты не сомневайся, придет он. Без этого быть невозможно. Крепись как-нибудь.

Сорока на это головой скоренько за показивает:

— Верное слово говоришь. Придет!

А старик тогда и вздохнет:

— Передадим ему все по порядку — и на спокой.

Раз так-то судят, вдруг сорока забеспокоилась, с места слетела и засуетилась, как хозяйка, когда она гостей ждет. Оттащила все старательское барахло в сторону от стакана, очистила место, чтоб человеку подойти, и сама без зову на левое плечо богатырю взлетела да и прихорашивается.

Денежкин-богатырь от этой пыли чихнул. Ну, понял, к чему это, и хоть разогнулся не в силах, все-таки маленько подбодрился, в полный глаз глядеть стал и видит.

Идет по тропке человек, и никакого при нем снаряду. Ни каелки, то есть ни лопатки, ни ковш, ни лома. И не охотник, потому — без ружья. На таких, кои по горам с молотками да сумками ходить стали, тоже не походит. Вроде как просто любопытствует, ко всему приглядывается, а глаз быстрый. Идет скоренько. Одет по-простому, только на городской лад. Подошел поближе, приподнял свою кепочку и говорит ласково.

— Здравствуй, дедушка богатырь!

Старик загрохотал по-своему:

— Здравствуй, мил-любезный человек. Откуда, зачем ко мне пожаловал?

— Да вот, — отвечает, — хожу по земле, гляжу, что где полезное народу впусте лежит и как это полезное лучше взять.

— Давно, — говорит Денежкин, — такого жду, а то лезут скоробогатки. Одна у них забота, как бы побольше себе захватить. За золотишком больше охотятся, а того соображения нет, что у меня много дорожке золота есть. Как мухи, из-за своей повадки гинут, и делу помеха.

— А ты, — спрашивает, — при каком деле, дедушка, приставлен?

Старый богатырь тут и объяснил все, — какая, значит, сила рудяных да

каменных денежек. Человек это выслушал и спрашивает:

— Поглядеть из своей руки можно? — Сделай, — отвечает, — милость, поглядь.

И сейчас же сбросил свою рукавицу на землю.

Человек взял горсть денежек, поглядел, как они место показывают, ссыпал в стакан и говорит:

— Умственно придумано. Ежели с толком эти знаки разобрать, всю здешнюю землю наперед узнать можно. Тогда и разбирай по порядку.

Слушает это Денежкин-богатырь и радуется, гладит сороку на плече и говорит тихонько.

— Дождались, Стрекотуха, настоящею, с понятием. Дождались! Спи теперь спокойно, а я сдачу объявлю.

Усилился и захохотал вовсе по-молодому на всю округу:

— Слушай, понимающий, последнее слово старых каменных гор. Бери наше дорогое на свой ответ. И то не забудь. Под верховым стаканом в земле изумрудный зарыт. Много больше этого. Там низовое богатство показано. Может, когда и оно народу понадобится.

Человек на это отвечает:

— Не беспокойся, старина. Разберем как полагается. Коли при своей живности не успею, надежному человеку передам. Он не забудет и все устроит на

пользу народу. В том не сомневайся. Спасибо за службу да за добрый совет.

— Тебе спасибо на ласковом слове. Утешил ты меня, утешил,—говорит старый богатырь, а сам глаза закрыл и стал гора горой. Кто его раньше не знал, те просто зовут Денежкин камень. На левом скате горы рудный выход обозначился. Это где сорока окаменела. Пестренькое место. Не разберешь чего там больше: черного ли, али белого, голубого. Где хвостовое перо пришлось, там вовсе радуга, смолой побрызгана, а черного глаза в веселом зеленом ободке не видно, — крепко закрыт. И зовется то место—урочище Сорочье.

Человек постоял еще, на сумки-пестери, ломы да лопаты покосился и берет с земли богатыреву рукавицу, а она каменная, конечно, тяжелая, в три либо четыре человеческих роста. Только человек и сам на глазах растет. Легонько, двумя перстами поднял богатыреву рукавицу, положил на топазовый стакан и промолвил:

— Пусть полежит вместо крышки. Все-таки баловства меньше, а приниматься за работу тут давно пора. Забыть старика не след. Послужил немало и еще пригодится.

Сказал и пошел своей дорогой прямо на полночь. Далеконько ушел, а его все видно. Ни горы, ни леса заслонить не могут. Ровно, чем дальше уходит, тем больше кажется.

ПИСЬМО ИЗ ПЛЕНА

АРКАДИЙ КУЛЕШОВ

★

«Дорогой!
Не таюсь пред тобой:
Завожу разговор невеселый..
Покидаю родимые села,
Рельсы вдаль простираются голо
На Неметчину,
Словно в Туретчину..
Не одна я, с девушками всех нас угнали
в неволю,

Покидают девушки
Отцовские хаты,
Топят в слезы недобрую долю.
Я пишу и не плачу, я стала скупая на
слезы,

Лишь хочу свои косы
Замотать паровозу в колеса,
Только, в нашу покорность не веря,
Стража заперла двери.

Дорогой!
Голос мой
Я кладу на бумагу простую,
Я не кровью пишу —
Кровь спеклась моя в горечь густую;
Я пишу карандашным огрызком, —
Прочти это близким.
Год уж минул, как дом ты покинул,
Ушедши с родного порога,
Я не знаю — ни номера почты,
Ни — где твоя вьется дорога.
И — куда я пишу,
Может мир я смещу.
Пусть мой враг смеется, —
Ты лети, мой листок,
На Восток,
Как в заповке поется.
Ты лети, мой листок, в поднебесье
Под самую кручей,
Упади к нему на руки каплями
Тучи горючей.

Дорогой!
Вот Днепра берега
И днепровские дали!
Как печальна река,
Где венки мы недавно кидали.
Упывали они
И тонули — одни,
А девчата, на берегу сидя,
Все следили: не мок,

Не тонул мой венок,
Плаыл, покуда не скрылся из вида...

Мне приснилось: стоишь ты
Покрытый обновой —
Шинелью суровой.
Вражьи пули шинели
Ни разу твоей не задели,
А — задели, быть может, проклятые,
Да — не убили, —
Будто вновь мы с тобою идем,
Как когда-то ходили:
Будто сон это все, —
Что окончены наши гулянки,
Что дороги в былые
Сравнили немецкие танки.
Будто замужем я, будто стали женой мы
и мужем,
Взялись за руки крепко друг с другом,
смеемся и кружим.
Только, что я пишу, размечталась за
запертой дверью,
Ты же знаешь, что снам я — не верю,
не верю, не верю.

Любый мой!
Распрощалось солнце с землей.
Потемнели дубровы..
Смотрит тускло сквозь ветви
мой страшный, мой месяц медовый.
Васильки под росой притуманили синие
взоры,
Пусть их плачут — не видят девического
позора.
Доведется мне спать, да не так, как
с тобой мы хотели, —
У чужого на правой руке да в могильной
постели.
Я пишу, я прошу: ни о чем бы я так не
просила, —
Отплати хоть за землю за ту, что легко
нас носила.

Я уж стану не тою,
Но — след от шагов твоих встречу,
Я, как старая баба, завую
И полный поцелуем отмечу..

Родный мой!
Время мне расстаться с тобой,
Перед нами дорога — сурова..
Достиг ли к тебе

И найдет ли тебя
Мое горькое слово?
Если — нет, не найдет, — проследи на
дороге от Орши, от Бреста.

Ты прочти,
Что на длинном пути
Каждой шпалой, как строчкой, тебе
написала невеста.
А уж если не я, не сама, то подруги
наверно писали,
Когда грохот колес и рыдания им грудь
сотрясали.

Эти строки — от сердца,
В них — жизни моей половина.
Ты про них не забудь
И ответ на штыке пронеси до Берлина,
Ты читай,
Ты смывай
Черноту их
кровавой рекою.

Я пишу,
Я прошу:
смой позор, не хочу быть такою.
Я рабыня, рабыня, рабыня,
я — поруганная, я смятая,
Не с тобою судьба,
А — с бедой повенчала, проклятая.
Вот и город огромный,
Слышу говор с чужого перрона,
Открываются двери, велят выходить из
вагона.
Нас выводят на площадь, на сердце —
темно и пустынно,
Продаются здесь девичьи косы
И девичьи слезы..
Христина».

Перевел с белорусского НИК. АСЕЕВ.

★

СТИХИ

ПИМЕН ПАНЧЕНКО

★

ДЕТИ ВОИНЫ

Им мать не напевала колыбельной,
Им не досталось сказок от дедов,
Их сон тревожил рокот скорострельный
И танков лязг, и прочитанья вдов.

Они не плакали бессонными ночами,
Когда от бомб в подполье их несли.
И первыми — слова им прозвучали
Про немцев, про войну, про скорбь земли.

Затихнут битвы. Враг исчезнет сломен,
И детям будет вновь возвращена,
Одевшая обугленные кровли,
Как теплый дождь, густая тишина.

И вот опять наставшим мирным годом
Через порог их переступит шаг,
Полюбоваться ясным небосводом,
Послушать шум речушки в камышах.

Стой и любуйся вдосталь на природу!
Но — долго будут им среди полей
Похожи на пожары — зорь восходы,
На самолеты — клинья журавлей.

И рокот грома — оторвась в дубровах —
Прибредится, как гром бомбардировок,
И долго, долго в чистые их сны
Врываться будут голоса войны.

★

ПАРТИЗАНСКАЯ ВЕСНА

Будут вечно сады расцветать,
Воздух — ласточки резать крылами,
Будут девичьи ноги ступать.
Луговин коврами.
Только прошлой весне не зацвеств
Беспечальной синью,
Холодна ее светлая весть
И горчит полынью.
Росы падают с тихих трав
На сапог, пропыленный в скитаньях,
Растревожив, расколыхав,
Слэвно ветви — воспоминанья.
Думал: только кровь и война,

Только грозные думы и речи,
А припомнилась снова она,
Ее косы и губы и плечи.
Так и кажется: рядом шла б,
Болтовней девичьей речиста:
«Глянь — с березой целуется граб».
Или — «Сбей мне звезду на монисто».
Нет, она не пройдет сквозь леса,
Там, за фронтом заветная хата.
Обрывает птиц голоса
Рокот пушечного раската.

Перевел с белорусского НИК. АСЕЕВ.

КАПИТАН I-го РАНГА

Роман*

А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ

★

IV

На следующий день после завтрака командир Куликов пригласил меня в свою каюту. Это было просторное помещение, отделанное красным деревом. Два открытых иллюминатора с раздвинутыми шторками из малинового бархата давали достаточно света. Стены украшены были портретами знаменитых флотоводцев: Ушакова, Сенявина и Нахимова, и фотографией семьи командира. На потолке электрические лампочки скрывались под матовыми стеклами. Кроме того, была еще настольная лампа с синим абажуром, прикрепленная к большому письменному столу. В каюте при помощи переговорной трубы командир мог держать связь с мостиком, а по телефону — с любым отделением корабля. Стоит только, сидя в кожаных креслах за письменным столом, поднять голову, как взгляд неизбежно попадал на барометр. Мебель еще дополняли несколько стульев, диван и круглый столик с огромной пепельницей из черепахи. К каюте примыкала командирская спальня с широкой пружинистой кроватью, со шкафами для белья, с умывальником.

Покуривая, мы сидели за круглым столиком. Я смотрел на командира и вспоминал, как хорошо он разбирался в жизни, будучи только вестовым, и великолепно обо всем рассказывал. А теперь я еще с большим волнением слушал его, уже капитана I-го ранга, окончившего Военно-морскую академию.

— Во время империалистической войны, по распоряжению ЦК большевиков, я отправился в портовый город, — начал свой рассказ командир. — У меня был чужой паспорт, и в нем я обнаружился демобилизованным, как страдающий при-

падками. Устроиться на работу было не так легко, не рискуя провалиться. Но на Морском заводе оказался мой хороший знакомый инженер, отчасти тронутый уже революционными идеями. Он и принял меня к себе на работу. Я считался хорошим слесарем, мною дорожили.

На этом заводе уже были свои люди, и они прекрасно вели работу среди рабочих. Мне же как бывшему матросу было поручено главным образом заниматься флотом. Я легче, чем кто-либо другой, мог разобраться в людях флотских экипажей и судовых команд. Не хвалясь скажу — за семь лет службы я основательно изучил матросов. Мне достаточно было с кем-нибудь из них побеседовать только раз, чтобы определить — подходящий это человек для нас или нет. Обыкновенно знакомство начиналось с машинистами, кочегарами, минерами, гальванерами. На корабле люди этих специальностей считались наиболее передовыми. Короче говоря, у меня было большое преимущество перед другими работниками. И все же нужно было действовать очень осторожно. Во время войны тайные агенты особенно следили за нижними чинами. Однако дело у меня пошло успешно. Через несколько месяцев были установлены связи со многими флотскими экипажами и кораблями. Спустя еще некоторое время мы организовали нелегальный комитет, возглавляемый мною. Мы содержали кинотеатр. Это давало нам возможность добывать средства на организационные расходы. Но главная цель здесь заключалась в другом. Хозяином кино считался бывший машинист самостоятельного управления Остроумов. Усатый, сытый, высокий и широкоплечий, он внешнею напоминал офицера в отставке. Разговаривал он медленно, закругляя каждую фразу. Вся полиция находилась с ним в приятельских отношениях. Со стороны никто не мог заподозрить в нем революционера. И все его служащие

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 6—7.

были свои люди: киномеханик, билетерши, кассирша и даже сторож. Вот почему это кино заменяло нам нелегальную штаб-квартиру. Здесь происходили явки, отсюда матросы получали литературу и указания, как вести работу. Наше кино было у власти на хорошем счету.

Нашлись свои люди даже в морском штабе — писаря. Через них мы узнавали все секретные новости. Каждое мероприятие высшего начальства нам заранее было известно. Наша нелегальная литература хранилась в надежных руках. В этом нам очень помогала Катя, служившая горничной у полицмейстера. Она безумно была влюблена в минного квартирмейстера Погудина. Матросы говорили о нем:

— Это такой горячий человек, что если плюнет, то плевков шипит, как на раскаленной плите.

Он и Катю распропагандировал. От природы девушка эта оказалась умной, быстро соображающей и серьезной. После революции Погудин женился на ней. Но еще до этого стала она у нас преданным человеком. Никому из жандармов и в голову не приходило произвести обыск на квартире самого полицмейстера. Мало того, что у Кати хранилась литература, — благодаря этой горничной, мы знали в лицо почти всех тайных агентов. А это значительно облегчало осуществление наших планов.

Время работало для нас. Во флоте мы имели крепкие и сильные организации. Можно было надеяться, что если вспыхнет восстание, то 1905 год уже не повторится. Тысячи матросов пошли тогда на каторгу, а многие из них заплатились и своими жизнями.

Наступил семнадцатый год. На фронтах русское командование переживало крах. Солдаты, плохо снабженные продовольствием и не имевшие надлежащего вооружения, теряли веру в победу. А главное — во имя чего они вынуждены были голодать, мерзнуть в окопах, кормить своим телом паразитов, жертвовать собою? Но даже и при таких условиях солдаты все еще бились на фронтах и шли в атаку на противника, но делали это уже без подъема, по какой-то инерции, как идут некоторое расстояние корабли с застопоренными машинами. И весь народ был возбужден до крайности. Стоило бывало с каким-нибудь человеком заговорить о войне, как он начинал раздражаться, словно внезапно наступал у него приступ невыносимо острой зубной боли. Учитывая такое настроение широких масс, мы рассматривали месяц февраль как предгрозе революции. Это чувствовали и офицеры, как чувствует в море каждый моряк приближение бури. Небо еще чистое, и море спокойное, но барометр неуклонно падает. Моряки тревожно оглядываются

и замечают — уже возникают кое-где облака, и несутся они низко и торопливо, а вся водная гладь, словно от судорожной дрожи, покрывается рябью. А через сутки обрушивается такой циклон, от которого у робких стынет кровь. Так было и во флоте, в особенности во второй половине февраля. Матросы не бунтовали, молча исполняли распоряжения начальства, а некоторые из них даже старались служить лучше, чем обычно служили. Но в то же время на их лицах, в их глазах было такое выражение, какое бывает у игрока в карты, обеспеченного козырями: он ждет только момента, чтобы объявить об этом своему партнеру и протянуть руку за выигрышем. Более наблюдательные офицеры хоти и смутно, но догадывались, что приближается гроза. На кораблях все реже раздавались окрики, и они никого уже не пугали. Столетние навыки начальства управлять командой стали ненадежными, как обветшалая и вся изорванная узда на горячей лошади. Эта лошадь, которую хозяин не столько кормил овсом, сколько бил палками и хлестал кнутом, стояла еще смиренно, но близко около нее уже страшно было находиться: может подмять под себя и сокрушить кости.

В конце февраля через штабных писарей мы узнали, что в Петрограде началось восстание. Это подтвердили и приехавшие к нам товарищи. В столице рушился старый строй. Слухи об этом и у нас взволновали народные массы. Наши организации еле сдерживали рабочих и матросов, горевших нетерпением сбросить скорее со своих плеч вековую тяжесть рабства.

Наконец наступила памятная ночь.

Хозяева города приготовились к отпору революции. По распоряжению высшего начальства, всюду по улицам раскачивали патрули. Для защиты арсенала, телеграфа, телефонной станции и других важных учреждений усилили охрану. На каменных стенах порта были уставлены пулеметы. Но и революционеры не зевали. Первым делом мы захватили телефонную станцию и телеграф. Охрана не оказала никакого сопротивления и слала нам эти учреждения так легко, как будто произошла смена часовых. А когда матросы и рабочие начали вываливать на улицу, то к ним присоединились все патрульные и часовые.

Здесь не обошлось дело без курьезов. Один из флотских экипажей был мало распропагандирован и считался у нас отсталым. Первая его рота, когда узнала о начавшемся восстании, все же завоновалась. Но не было вожака повести ее на улицу. Матросы долго спорили между собою, как действовать дальше. Одни говорили:

— Ночь. Разве в темноте что-нибудь сделаешь? Надо подождать до утра.

Другие возражали:

— А потом придем на готовенькое, да? За это народ не скажет нам спасибо.

И тут же ставился вопрос:

— Фу, чорт возьми! Нам бы революционного начальника. Он бы нам все указал.

Так они гадали, пока кто-то крикнул:

— Дневальный! Что же ты губы развесил? Командуй!

Дневальный оказался парнем бойким и, как умел, подал команду. Рота двинулась на улицу. За ней последовали и другие роты. В экипаже остались только новобранцы. Но немного позже и они вышли на двор и остановились. Издалека доносились выстрелы, крики. Они заперли ворота. Через забор к ним перемахнула старый матрос, человек вспыльчивый и решительный. Он замахал перед новобранцами наганом и заорал истощным голосом:

— А вы, истуканы, что стоите здесь? Для вас особая команда, что ли, будет?

Старый матрос рассвирепел, бросился к новобранцам, а потом скомандовал:

— Немедленно открыть ворота! Выстроиться повзводно!

Это было произнесено таким уверенно-повелительным тоном, который не допускал никаких возражений. Новобранцы зашевелились и молча исполнили все, что приказал им старый матрос.

— За мной шагом — марш!

Раздался равномерный топот ног.

Старый матрос и на улице не переставал командовать:

— Раз, два, три!левой!левой! Не жалей ног! Отбивай хорошенько шаг! За свободу, товарищи, идем бороться!

Из некоторых экипажей выбегали матросы с криками ура», с захватским пошеством.

Ночное небо, задернутое облаками, было темно. Но улицы, освещенные редкими фонарями, становились все оживленнее. К матросам присоединялись солдаты, рабочие. Лишь часть людей была вооружена винтовками, а остальные ничего не имели. Я закричал:

— К арсеналу! Товарищи, к арсеналу!

Этот крик, подхваченный другими, несся по улице дальше. И людской поток, взбудораженный и словно кем-то подхлестываемый, катился к назначенному месту. Матросы разыскали заведующего арсеналом. Жиденькая седая борода на испуганном лице придавала ему такой вид, словно он находился при последнем издыхании. Он сам, дрожа от страха, отпер замок арсенала. Народ хлынул внутрь каменного здания. Ручные гранаты, револьверы, японские винтовки «Арисака», патроны—все это лихорадочно, как драгоценность, расхватывали

вали повстанцы. Те, кто успел вооружиться, выбегали из арсенала наружу, а на их место подваливали другие люди. Среди военных и рабочих несколько человек было в больничных халатах и туфлях. Это были матросы, которые вырвались из морского госпиталя, не дожидаясь выздоровления. Заведующий арсеналом, оттесненный в сторону, умолял:

— Братцы, что же это вы делаете? Как же я буду отдавать отчет? Пусть ваш начальник расписку мне даст, сколько и чего взято из арсенала.

Кто-то кричал в ответ:

— Революция, папаша, началась! Если хочешь, она тебе пропишет эту расписку!

Старичок не унимался и, боясь за свою отчетность, настаивал на своем. Наконец он заплакал. Это было настолько нелепо, что люди только смеялись над ним, но никто его не тронул.

Огнестрельное оружие было все разобрано. А в арсенал продолжали вливаться новые люди. Эти, не найдя для себя ничего более подходящего, набрасывались на холодное оружие. Все пошло в ход: бердыши, булавы, секиры, копья, пики, мечи. Нашлись чудачки, которые даже щиты захватили с собой.

Вся эта людская масса ринулась к дому, где жил самый грозный адмирал Витнер — начальник порта, он же начальник тыла, он же военный губернатор.

Этот человек, как и Гришка Распутин, всегда интересовал меня. Один, бывший конокрад из села Покровское, приблизившись к царскому дворцу, распушился там, словно на перегное, махровым цветом разврата и этим подрывал в народе веру в династию. Другой своим бессердечным отношением к матросам разжигал в них ненависть не только к себе, но и ко всему самодержавному строю.

Я не раз видел адмирала Витнера. Это был обрусевший немец, презиравший все наше отечественное. Вот каким запечатлелся он в моей памяти: среднего роста, поджарый, темный шатен, с вьющимися волосами, с закрученными усами на жестком и хорошо сохранившемся лице. Какие данные у него были, чтобы так выдвинуться по службе? Я много понаслышался о всех его делах, знаю и о его прошлом. В молодости он ничем не отличался, был хорошим танцором и дирижировал в Морском собрании танцами. Может быть, он так и остался бы обыкновенным офицером, если бы не случилось в его жизни одно обстоятельство. Он был зачислен в свиту великого князя, сына Александра III, наследника престола Георгия. По болезни Георгий вынужден был переселиться на Кавказ, но это его

не спасло — он умер. При нем все время находился молодой Витнер. Царица Мария, Федоровна после смерти своего сына навсегда осталась покровительницей этого офицера. Отсюда начался его успех в карьере. Надо отдать ему должное: в Порт-Артуре, командуя крейсером, он делал лихие налеты на японцев. Иначе выявил себя этот человек на военном совете флагманов и командиров кораблей. Был поставлен вопрос о дальнейшей судьбе русской эскадры: оставлять ли ей до конца в Артуре, забаскированной с суши и с моря японцами, и помогать в обороне крепости или же в последний раз дать решительный бой неприступному флоту и пробиваться во Владивосток. Витнер первый vascaзался за то, чтобы разоружить корабли, а морякам превратиться в сухопутные войска. Через две недели после этого военного совета эскадра все же вышла в море. Произошло сражение с противником. Японцы основательно были подбиты и начали уже отступать. И если русскому флоту не удалось прорваться во Владивосток, то в этом было виновато бездарное командование.

Короче говоря, под сенью Марии Федоровны и под ее благословляющей десницей Витнер получал чин за чином. Так он поднялся до командира нашего порта и сравнительно молодым дослужился до полного адмирала. В нем осталась прежняя гимнастическая выправка, но во всей его деятельности не было и намека на флотоводца. Постепенно он превратился в сухого бюрократа. Его мало беспокоило, насколько корабли и матросы подготовлены к защите родины. Но он был до помешательства требователен к внешней выправке, к декоративному блеску. Как администратор, он властвовал и над городом. Его внимание простиралось даже на публичные дома. Он издал в виде небольшой брошюры циркуляр с подробными указаниями, какой должен быть в них порядок, в какие сроки и как должны осматривать публичных женщин. Вот до чего дошел адмирал царского флота!

Но больше всего меня удивляло его отношение к матросам. Он никогда не жил с ними дружно. Одно время он служил старшим офицером на учебном парусно-паровом крейсере, на котором готоваясь строевые квартирмейстеры. Тогда особенно доставалось от него ученикам. Как гимнаст, он сам бегом поднимался по вантам на марс и салинг, если замечал там что-либо неладное, и на страшной высоте, рискуя свалиться, награждал кого-нибудь пощечинами. Это ухарство доставляло ему большое удовольствие. Бывало с ним и так, что, прогуливаясь по мостику, он вдруг ви-

дел какой-нибудь непорядок среди матросов. Тогда он не сбегал по трапу, как это обычно делается, а прыгал с мостика прямо на палубу и набрасывался на виновника.

Говорят, что английские доги по мере того, как они стареют, становятся все злобнее. Так было и с адмиралом Витнером. Занимая пост командира порта, он с каждым годом все беспощаднее относился к матросам. Они для него были ничто — какая-то тварь, лишенная сердца и разума! Казалось, он жил одним только желанием — унижать их и причинять им как можно больше горя. Если кто попадался ему на глаза, то уже не мог обойтись без наказания. Адмирал обязательно к чему-нибудь придирался и сейчас же определял наказание равнодушно-холодным голосом, словно речь шла о том, чтобы выкинуть из ведра мусор за борт.

— Не матрос, а животное. На гауптвахту. На тридцать суток.

Вот почему, когда его белая лошадь, запряженная в пролетку, появлялась на улице, матросы рассыпались в разные стороны. Витнер кричал кучеру: — Стой! — и, не дожидаясь, пока кучер задержит бег коня, адмирал легко спрыгивал с пролетки и мчался за тем или другим матросом. Случалось, что он и через забор перемахивал с таким же проворством, как молодой человек. Задержанному им матросу грозила уже не гауптвахта, а тюрьма.

Словом, если бы кто со стороны посмотрел на эту картину, то мог бы подумать, что в город ворвалась какая-то вражеская сила.

Не меньший трепет переживали матросы, когда им по делам службы приходилось проходить мимо дома, где проживал начальник порта. Окна этого темнокоричневого здания были снабжены особой зеркальной системой наподобие перископа. Она давала возможность свирепому хозяину, находясь у себя в кабинете, видеть все, что делается на улице. В парадном подъезде часто виднелась плотная фигура старого отставного фельдфебеля в военной форме, с двумя рядами медалей на груди. Против дома, среди улицы, поменно дежурили трое здоровенных городовых. Редкий день проходил без того, чтобы кто-нибудь из нижних чинов не был здесь задержан. Обыкновенно это делалось так: адмирал, заметив в зеркале отражение проходящего по улице матроса, нажимал на кнопку. В парадном подъезде раздавался звонок условленного сигнала. Старый фельдфебель или городской знали, что в таких случаях надо делать, и очередная жертва являлась перед глазами грозного адмирала.

Только одному матросу удалось избежать наказания. Может быть, это был только анекдот, выдуманный досужей фантазией. Но всем хотелось признать его за действительный случай, и всегда об этом рассказывали друг другу с какой-то радостью, как о подвиге.

Дело было летом. Задержанный матрос очутился в кабинете адмирала. Тот осмотрел его со всех сторон — ни к чему нельзя было придраться. Тогда адмирал приказал:

— Покажи подошвы сапог.

Матрос высоко поднял одну ногу.

— Не так. Ложись на спину и задержи обе ноги вверх.

Матрос выполнил это приказание.

Адмирал процедил:

— Ага, худые подошвы. Не заботишься, каналья, чтобы во-время починить их. Пойди к городовому и передай ему мое приказание: пусть он отведет тебя на гауптвахту на двадцать суток.

— Есть, ваше высокопревосходительство.

Матрос вскочил, вышел на улицу и, подойдя к городовому, передал ему:

— Ты, господин хороший, неправильно задержал меня. И за это его высокопревосходительство приказал мне отвести тебя на гауптвахту. Посидишь двадцать суток, клопов покормишь.

Это было сказано с такой смелостью и так внушительно, что городской побледнел. Со страхом он взглянул на страшный дом. А в этот момент адмирал выглянул в распахнутое окно и, махнув рукой, словно подтверждая слова матроса, крикнул:

— На двадцать суток!

Матрос отвел городского на гауптвахту и сдал его под расписку. Прошло несколько суток, прежде чем адмирал заметил, что на посту у его дома стоит новое лицо. Тут только выяснилось, что произошло. Адмирал рассвирепел и сам объехал все экипажи, разыскивая дерзкого матроса, но все его старания оказались бесполезными.

Это случилось несколько лет назад. С той поры адмирал стал относиться к нижним чинам еще более жестоко. Так ли это было или иначе, но верно то, что он не ограничивался только дисциплинарными взысканиями. За малейшие проступки люди шли под суд. Особенно из-за него страдали те, кто был замешан в политике. Сотни матросов томилась по тюрьмам, изнывали на каторге, не мало было их расстреляно и повешено.

Проходили годы. В людях нарастала затаенная страсть мести. До сих пор они были так покорны перед своим всесильным повелителем, а теперь они же kloкочущей массой скопились около его дома. Ни старого фельдфебеля с орденами, ни городского здесь уже

не было. У парадного подъезда одиноко горел электрический фонарь. Казалось, что это мрачное здание, молчаливое и без огней, давно покинуто жильцами. А снаружи толпа все разрасталась, ширилась. Слышались возбужденные выкрики:

— Ломай двери!

— Выбивай окна!

Но вдруг парадная дверь распахнулась, и адмирал в зимнем пальто нарастающую толпу. Это было для всех настолько неожиданно, что сразу оборвались крики. Люди с удивлением смотрели на адмирала, словно не верили в его появление — не другой ли это кто? Но в свете электрического фонаря четко виднелась знакомая фигура среднего роста, с тремя черными орлами на золотом фоне каждого погона, в нахлобоченной фуражке. Лицо его, бритое, с закрученными по-немецки вверх усами, сохранило прежнее величие, точно он принимал парад. Этот человек был недалекий, но самоуверенный и заносчивый. Очевидно он все еще думал, что стоит ему только появиться перед людьми, как они моментально оцепенеют от страха. Так по крайней мере бывало раньше. Он окинул их взглядом и, придавая своему голосу как можно больше твердости, грозно крикнул:

— Это что за толпа здесь собралась? Что за безобразия такое? Расходись!

Люди молчали и как будто колебались, не зная, что делать. На момент мне показалось, что сейчас все повернется и, охваченные ужасом, помчатся отсюда. Но никто не двинулся с места. И вдруг, нарушая тишину, раздался чей-то грубонасмешливый бас:

— Он еще думает командовать нами!

Среди людей началось движение. Задние ряды напирали на передние. Адмирал только теперь понял, что произошло. Те, кто находился к нему ближе, слышали, как он завопил:

— Братцы, дайте мне с женой проститься!

Матросы в ярости бросали ему:

— Твои братья в серых шкурах по лесу бегают!

— Ты, лиходея, не давал никому проститься даже с матерью, когда нашего брата отправлял на виселицу!

Адмирал пытался что-то еще сказать, но по старому обычаю его потащили на площадь. И уже никакая сила не могла остановить гнев народа.

У

Главное у нас все было сделано: захвачены корабли, форты, флотские экипажи и разные казенные учреждения. Везде были организованы революционные

комитеты и всюду развеивались красные флаги. Можно было сказать, что во флоте царский строй сломался, как старое весло под напором сильного гребца. Но некоторые из начальства еще пытались при помощи этих обломков весла выплыть невредимыми из разбушевавшегося моря революции. Но это было так же безнадежно, как безнадежно остановить наступающую весну. Никакие самые сильные заморозки уже не могут долго задержаться под горячими лучами солнца.

Народ, почувствовав свободу, митинговал день и ночь. Революция пробудила у людей новые мысли. Каждому из противников самодержавия хотелось высказаться, говорить о свободе и что-то делать.

В Петрограде организовалась новая власть из буржуев и их социалистических подпевал. Как и полагается такой власти, она стремилась умерить пыл поднявшегося народа и ограничить размах революции.

В первое утро революции город проснулся раньше обычного. С моря дул сырой ветер. Еще солнце не взошло, а уже никому не хотелось сидеть дома. Матросы, солдаты, портовые и заводские рабочие, их жены и дети шумно заполняли собою улицы и площади. Только прежде запрывали отсиживались в своих квартирах, как в траншеях. Для этих людей наступающий день был полон тревоги. Зато народ ликовавал.

В испуге заметались его враги. На одной из улиц возбужденная толпа окружила дом, обвятый пламенем и дымом. Это горела охранка. Главные защитники монархии думали огнем очиститься от преступлений против народа. Поджигая архив, они заматали свои кровавые следы. Но впоследствии большинство тайных агентов было переловлено. И кто же, ты думаешь, нам помогал в этом? Незаметная Катя — горничная полицейстера. Она узнавала жандармов и городских, переодетых в штатское. Они не страдали на фронтах, а отъедались в тылу и учиняли расправу с мирными жителями, не угодными власти. Много против них накопело в сердце народа.

Мне хочется рассказать тебе главным образом о начальствующем составе. В отношении офицеров не со всеми одинаково поступали. Те, что по-человечески относились к команде, только случайно подвергались оскорблениям. А вообще матросы оберегали их.

А мы все это рассматривали как нечто неизбежное: «Лес рубят — щепки летят». Вешние воды не только ломают лед, но и размывают берега, выворачивают с корнями деревья и сносят иногда целые селения. Для нас главное было, чтобы не сбиваться с пути.

VI

Куликов рассказывал мне о прошлом, а в это время на корабле жизнь шла своим чередом. Она не могла обойтись без участия командира. К нему приходили люди то с каким-нибудь докладом, то с неотложным вопросом.

Явился в каюту неповоротливый толстяк, старший судовой механик Остроумов. Он был в рабочем синем костюме и, повидимому, только-что поднялся из машинного отделения. По его выбритому лицу струились капли пота. Он вытянулся и неторопливо заговорил баритоном:

— Разрешите, товарищ капитан I-го ранга, разобрать воздушный насос. В последнем походе он немного пошалывал.

— Сколько на это уйдет времени? — спросил командир.

— Часов десять-двенадцать.

— Такого разрешения я дать не могу. Это выводит нас из назначенной готовности. А вы находите это совершенно необходимым?

— Да.

— Я вынужден запросить разрешения командующего.

Куликов вырвал из блокнота листок, что-то записал на нем и вызвал вахтенного. Моментально явился в каюту младший командир.

— Срочно передать семафором командующему содержание этой записки, — сказал Куликов.

— Есть, — ответил младший командир и точно повторил всю фразу, произнесенную главой судна.

Когда мы с Куликовым остались вдвоем, он снова вернулся к прошлому.

— В первые дни революции я был очень занят. Нужно было укреплять большевистские организации, проводить своих людей в Советы, вести борьбу с другими партиями. Иногда со стороны некоторых темных людей проявлялись хулиганские выходки. Более сознательные матросы и солдаты решительно пресекали их с самого начала. В эти дни некоторые, пользуясь сумятицей, начинали заниматься грабежами. Но они ошиблись: мы расправлялись с ними беспощадно.

Словом, работы хватало. В то же время я очень хотел встретиться с вице-адмиралом Железновым. У меня было к нему особое дело. Я запросил о нем телеграммой революционный комитет того отряда судов, каким он командовал. Товарищи ответили мне, что за несколько часов до восстания адмирал покинул свой флагманский корабль и неизвестно где находится. Семья его жила в нашем приморском городе. Я давно интересовался ею, имея на это основательные причины. Захватив с собою трех матросов, я от-

правилась к адмиралу на квартиру. В числе матросов был и старший боцман Кудинов.

Только вчера мне удалось узнать, как этот человек очутился в первых рядах революции. Я плавал с ним на броненосце «Святослав». Сам он был настоящий моряк. Казалось, что без моря и корабля ему так же трудно жить, как водоросли без воды. На броненосце «Святослав» он прослужил старшим боцманом много лет. С командой у него установились своеобразные отношения: с виновниками он расправлялся самолично, но никогда не подводил их под ответ перед начальством.

Однажды при новом командире за какой-то пустяк хотели отдать под суд матроса. Боцман заступился за него. Командир раскричался и сместил его в младшие боцманы. С этого момента он почувствовал, как растет в нем ненависть к начальству. А во время империалистической войны он был обижен еще больше: его снизили до боцманмата и списали с броненосца на тральщик «Окунь». Кудинов и проплавал на нем около двух лет. Все шло благополучно. А потом врезался в его жизнь такой день, который никогда им не забудется.

«Окунь» вместе с другими тральщиками вылавливал в море мины заграждения, расставленные немцами. Сентябрьский ветер развел порядочную волну. Было холодно. Кудинов распоряжался работами на верхней палубе. Одет он был в капковую куртку, заменявшую, в случае несчастья, спасательный круг, а ноги его были босы и покраснели, как сукри. Он решил обуться. По его приказанию матрос принес ему сапоги. Он перешел на бак, уселся на свернутый брезент и начал спешно обуваться. Ему удалось надеть один сапог, а когда он потянулся за вторым, раздался страшный взрыв. Вся носовая часть «Окуня», напоровшегося на подводную мину, была оторвана. В несколько секунд тральщик исчез с поверхности моря. Вместе с тральщиком пошли ко дну вся машинная команда и те стрелковые матросы, которые находились внутри судна. Часть команды была убита. Только с верхней кормовой палубы несколько человек успели спрыгнуть за борт. Командира и штурмана сбросило газами с мостика. Сейчас же с других тральщиков были спущены шлюпки. Они подошли к месту катастрофы и начали вылавливать в море людей. Спасенных оказалось немного и среди них не было Кудинова. Вдруг далеко в стороне услышали отчаянный крик. Одна из шлюпок направилась на этот крик. Вскоре гребцы увидели Кудинова. Его выкатившиеся из орбит глаза на искаженном лице как будто не замечали

приближавшихся к нему спасителей. Барахтаясь в волнах, он крутился на одном месте и ревел, как сирена. А когда его подняли на шлюпку, он вдруг замолчал и, взглянув на свои ноги, неожиданно спросил:

— А гда мой второй сапог?

Выходящий так, как будто эта мысль во время взрыва застряла у него в мозгу. С нею Кудинов высоко полетел наискосок в небо. Потом он на какую-то долю секунды остановился и упал в море. Капковая куртка не дала ему опуститься до дна. Он штопором стал всплывать на поверхность моря. И только после того, как его подняли, он смог выразить свою мысль вслух.

После гибели «Окуня» Кудинов был награжден георгиевским крестом и произведен в боцманы. Вскоре он получил назначение на крейсер 1-го ранга. А затянувшаяся война расширила и углубила его взгляд на жизнь. Соприкоснувшись с революционными матросами и познакомившись с нелегальной литературой, он превратился в революционера.

Я приблизил его к себе, потому что никого он так не слушался, как меня. Человек он был надежный — не выдаст ни при каких обстоятельствах.

И теперь он шагал с нами к адмиралу. Мои товарищи были в военной форме и вооружены винтовками, а я имел в кармане браунинг и, как рабочий, был одет в штатский костюм. На квартире мы застали лишь жену адмирала, высокую и плоскую, как доска, женщину с рыжими локонами, с бесемыми глазами. При виде нас она испуганно отшангулась. Мы вошли в зал. Старый боцман, заметив на стене портрет царя Николая II уставился на хозяйку и засопел, раздувая щеки. Лицо его с перебитой переносицей приняло еще более свирепое выражение, чем обычно. Вдруг он закричал:

— А, здесь в почете наш главный враг! — И направил штык на портрет.

Мадам Железнова ахнула и упала в обморок. Кудинов, не долго думая, вылил на нее целую кастрюлю холодной воды. Она очнулась. Платье на ней было мокро, рыжие волосы на голове слиплись, и вся она имела жалкий вид. От нее, дрожащей и посиневшей, мы ничего не добились путного.

Мы обошли все комнаты. Адмирала не было. В кабинете на письменном столе мне попалась фотографическая карточка с изображением Железнова, когда он был еще безусым гардемаринном. Неожиданная мысль мелькнула в моей голове. Я сунул фотографию в карман. В квартиру вошел швейцар, пожилой человек, в ливрее с золотыми позументами. Кудинов заорал:

— Говори — где адмирал?

Тот, выкатив в испуге глаза, клялся всеми святыми, что ничего о нем знать не знает.

Так мы и ушли ни с чем. Но по дороге нас догнал сынишка швейцара лет восьми, веснушчатый и курносый мальчик. Он таинственно заговорил с нами:

— Дяденьки матросы, а я знаю, где адмирал.

Нам известно было, что для детей революция превратилась в небывалую радость. Они носились по городу с одного конца на другой, указывали матросам, где скрываются жандармы, городовые. Вообще в таких случаях дети являлись первыми помощниками взрослых.

Мы сразу остановились перед сыном швейцара.

— А ты откуда знаешь?

— Тятенька мамёнке говорил, а я лежал в кровати и все слышал. Адмирал спрятался у инженера Иванова.

От мальчика мы узнали, на каком корабле служит Иванов. Это был старший судовой механик, известный нам как передовой человек. Машинисты и кочегары даже выдвигали его кандидатуру в члены корабельного революционного комитета.

Мальчик указал нам адрес инженера и попросил нас:

— Только ничего не говорите обо мне тятеньке. А то достанется мне на орехи. Ох, и сердитый он!

Кудинов дал ему пустой патрон от винтовки. Мальчик запрыгал от восторга и помчался от нас во всю прыть.

Было около полудня, когда мы вошли в квартиру инженер-механика Иванова. Хозяин встретил нас в прихожей и очень растерялся, увидев перед собою вооруженных матросов. Я спросил:

— У вас в квартире никто из постоянных не скрывается?

— Нет, — неуверенно ответил Иванов.

— Соврете — плохо будет всем, — предупредил боцман Кудинов, глядя на него в упор из-под козырька флотской фуражки.

Инженер вздрогнул, провел ладонью по глазам, точно смахивал с них паутину и залепетал:

— Зачем же, товарищи, я буду врать вам? В гостях у меня сидит один человек. Это мой приятель.

— Кто? — спросил я.

— Виктор Григорьевич Железнов.

Инженер не прибавил к названной фамилии чина.

Меня охватило такое волнение, точно я сделал важное открытие. Мы двинулись вперед. Адмирал Железнов сидел за столом среди членов чужой семьи, одетый в штатский костюм. Он нисколько не смутился, как будто ждал нашего прихода. Я сказал:

— Здравия желаю, ваше превосходительство!

— Здравствуйте, — без всякого заискивания и даже с некоторой строгостью ответил адмирал. Это мне понравилось, как понравилось и то, что на его лице с острой посеребренной бородкой я не заметил никакой перемены. Я заговорил:

— Ради чего вы вздумали нарядиться в гражданский костюм?

— Я полагаю, что от этого революция нисколько не пострадает.

— Совершенно верно, ваше превосходительство. Плохо только то, что это связано с другим делом: вы самозвольно покинули свой отряд.

Адмирал и на этот раз нашелся:

— Там мне больше нечего делать. Я откомандовал. Теперь вы покомандуйте.

— Жаль, что вы так смотрите. Лучшие офицеры все-таки остались на своих местах. Вы как хороший морской специалист могли бы принести для нашей обновленной родины большую пользу.

Адмирал промолчал.

— Ну, что же? Придется вам, ваше превосходительство, прогуляться с нами.

— Да, повидимому, придется.

Адмирал решительно встал, поблагодарил хозяйку, распрощался со всеми и вышел в прихожую. Меня удивило, с какой быстротой на нем очутились штатское зимнее пальто и каракулевая шапка. Получалось так, как будто он торопился по срочным делам службы. Внизу, в подъезде, я отозвал боцмана Кудинова в сторону и наказал ему, какие поручения он должен выполнить вместе с товарищами. Он нахмурился и, показывая глазами на адмирала, недовольно пробурчал:

— А как же с ним-то?

— Я беру его на свою ответственность.

Боцман с товарищами пошли в одну сторону, а мы с адмиралом — в другую. Я жил в рабочем квартале. Квартира у меня была полуподвальная и состояла из двух небольших комнат и кухни. Но все в ней, благодаря моей жене, было аккуратно размещено и чисто убрано. Я извинился перед Железновым:

— Вы уж простите, ваше превосходительство, что приходится вас принимать в такой непривычной для вас квартире. Вы, вероятно, первый раз в жизни попадаете в рабочую семью. Но я думаю, что в данное время здесь вы будете чувствовать себя лучше, чем в роскошных хоромах. По крайней мере вас никто не будет беспокоить.

— Благодарю вас за заботу обо мне, но я не знаю, чем это все вызвано, — отчеканил адмирал.

Я представил ему свою жену:

— Это моя подруга жизни Валя, а это наш адмирал Виктор Григорьевич Железнов.

Моя жена не знала моего замысла и

с удивлением взглянула на меня, а потом на гостя. Она никак не могла понять, зачем я в такое кипучее время привел к себе адмирала. Но она верила в мою честность и приветливо улыбнулась ему. А тот скорее по привычке, чем по долгу вежливости, расшаркался перед нею, как перед барыней, и, подавая руку, проговорил обычную фразу:

— Очень приятно.

Я убедился, что адмирал не узнал своей дочери. Он видел ее всего лишь один раз после того, как она родилась от его горничной. Скорее всего он даже забыл о ее существовании. А Валя как «незаконнорожденная» вообще не знала, кто у нее отец.

По моему поручению жена побегала в магазин купить закуски. Мы сели у стола. Со мною осталась моя четырехлетняя дочка Надя, сероглазая и на редкость ласковая девочка.

Железнов внешне держался спокойно, но во взгляде его черных глаз просвечивала тревога, как у человека, ожидающего решения своей судьбы. Повидимому он терялся в догадках, а я старался держаться с ним вежливо и намеренно величал его «ваше превосходительство». Кое-как разговорились. Только теперь адмирал справился о моем имени и отчестве и стал называть меня Захар Петрович. Я напомнил ему, как мы когда-то плавали вместе на эскадре и как он был у нас на корабле «Святослав», чтобы разобрать дело графа «Пять холодных сосисок». Адмирал повеселел, узнав, что я бывший моряк. Но сейчас же настроение его изменилось, когда я рассказал ему об одном случае: в этот же его приезд к нам из судно командирский вестовой невзначай хлопнул его дверьми по лбу и за это был наказан.

— Это я тогда причинил вам такую неприязнь.

— Вот неожиданная встреча! — воскликнул он, пытаясь улыбнуться, но его извилистые и тонкие губы неестественно скривились. Может быть в этот момент он понял меня так, что я привожу причины для расправы с ним.

Пришлось его успокоить:

— Я тогда думал, что вы засадите меня в тюрьму. Другой адмирал на вашем месте так бы и поступил. Но вы дали мне пустяковое наказание — пять суток карцера. Я вам за это до сих пор благодарен.

Адмирал улыбнулся.

— Да, ваше превосходительство, было время, когда моя судьба всецело находилась в ваших руках. Вы могли меня, как и каждого из матросов, посадить в тюрьму, сослать на каторгу. Больше того — вы могли отдать меня под суд и расстрелять. Вы пользовались почти неограниченными правами. Но все же для того, чтобы стереть меня с лица

земли, вам пришлось бы подвести какую-нибудь формальность и начать судебный процесс. А теперь коренным образом все изменилось.

Я спохватился, что напрасно сказал это, но уже было поздно. Адмирал оказался человеком самолюбивым, с достоинством. Его черные брови упрямо нагнулись на глаза. Он встал и заявил:

— Я вижу, что вы меня завели к себе на квартиру, чтобы сначала потешиться надо мною, а потом уничтожить меня. Если вам хочется иметь лишнюю жертву, то пожалуйста — моя жизнь в вашем распоряжении.

Я возразил ему:

— Совсея этого не хочу. Наоборот, на квартире у меня вы ограждены от всяких случайностей. И не для того мы делаем революцию, чтобы расстрелять всех офицеров направо и налево. Словом, садитесь или, выражаясь по-морскому, отдайте якорь и почувствуйте себя, как в надежной гавани.

Адмирал грузно опустился на стул. Заметно было, что ему стало неловко за свою горячность. Мы разговорились о покойном капитане 1-го ранга Лезвине, у которого я служил вестовым. Адмирал высказался о нем как о выдающемся командире, но считает его диким и мрачным человеком.

Я наблудал за адмиралом. Казалось, он с трудом произносил слова, обращаясь ко мне и называя меня по имени и отчеству. В то же время он как будто и не верил, что в прошлом я был только вестовым. А когда мы коснулись нашего флота, я еще больше стал для него загадкой. Я стал критиковать русскую морскую тактику и для подтверждения своих мыслей привел мнения знаменитых флотоводцев — Ушакова, Сенявина, Нельсона, Сюффрена. Время от времени я вставлял английские фразы. Наконец адмирал не выдержал и спросил:

— Где вы учились?

— Вот за этим столом, за каким вы сидите. Школа для нас была недоступна. А во время флотской службы я учился за двойным бортом. Ведь вы не разрешили бы нам приобретать знания открыто? Это считалось бы государственным преступлением. Только капитан 1-го ранга Лезвин знал, что я занимаюсь самообразованием, и даже снабжал меня учебниками. Но таких офицеров во флоте было мало.

Адмирал сконфузился и опустил глаза.

— А где вы усвоили английский язык?

— После военной службы я много плавал на английских коммерческих судах. Вернулась моя жена, принесла закуски. Я сказал ей, чтобы она накрыла на стол и приготовила нам чай. Когда она вышла на кухню, я обратился к адмиралу:

— Ну, как вам нравится моя вторая половина?

В это время мимо окна проходила демонстрация. До нас доносились песни, выкрики. Где-то раздались выстрелы. В такой момент мой вопрос, вероятно, показался адмиралу диким, но все же он ответил:

— Очень симпатичная у вас жена.

Я как будто не слушал демонстрации и продолжал разговаривать на мирную семейную тему:

— Да, я очень доволен ею. Много горя она перенесла со мною. Я сошелся с нею, когда служил вестовым у капитана I-го ранга Лезвина. Вскоре я ушел в длительное плавание, скитался в заграничных водах. Это плавание, как вам известно, закончилось под вашим командованием. Вы тогда прибыли к нам на место уволенного адмирала Вислоухова. Валя без меня родила мне сына. До этого она служила в одной конторе машинисткой. На время она вынуждена была оставить работу. Вот тут-то и свалились на нее мучения. Помочь ей материально, будучи сам только вестовым, я много не мог. Да спасибо моей теще. Добрая старушка все делала, чтобы поддержать свою дочь. Но, ничего. Кое-как мы выкрутились из тяжелого положения. Наша любовь не угасла до сих пор. Судьба связала нас морским узлом, и, кроме смерти, никто его не развяжет. Сыну пошел четырнадцатый год. Мечтает стать моряком. А тут еще дочка подрастает.

Пока мы с адмиралом разговаривали, Надя крутилась около нас. Она болтала сама с собою, иногда задавала мне разные вопросы. Ее интересовало, почему это на улице люди так кричат и в кого они стреляют. Трудно было отделаться от ее любознательности. Потом она неожиданно объявила мне, обсасывая мармеладную конфетку, полученную от матери:

— Папа, я люблю этого дедушку. У него глазки хорошие, как у мамы.

И ползла к нему на колени. Это так обрадовало адмирала, что он обнял ее и прижал к себе. Она поцеловала его боролу, поцеловала в лоб. Он спросил:

— Ты любишь конфеты?

— Люблю, — радостно ответила Надя.

— А они тебя любят?

Девочка была озадачена таким вопросом. Она задумалась, отвернувшись от адмирала. И сразу же лицо ее расплылось в торжествующей улыбке. Нашлось решение:

— У них рота нет.

Я расхохотался. Засмеялся и адмирал. — Правильно, Наденька, ответила ты, — сказал он и ласково погладила ей голову. — Я тебе за это принесу самых вкусных конфет.

В комнату вбежал мой сын Петя. Ще-

ки его разругались, глаза блестя. Надя, увидев брата, спрыгнула с колен адмирала, захлопала в ладоши и радостно залепетала:

— Петя, а у нас хороший дедушка сидит. Он обещал мне самых вкусных конфет..

Но Петя не слушал ее. Он только маленько взглянул на гостя и, возбужденный, начал торопливо рассказывать мне звенящим альтиком:

— Папа, что на улице делается! Городовых уводят под конвоем в тюрьму. И какие митинги происходят! И матросы, и солдаты, и рабочие все говорят и говорят.

Адмирал, широко раскрыв глаза, смотрел на моего сына, как на страшного вестника, а тот продолжал:

— Папа, ведь это так же, как во Франции было. Тогда самому королю голову отрубили. Нашему царю, наверно, тоже достанется.

— Конечно, достанется.

— А в порту, говорят, что делается! Я побегу туда.

Тут вступилась мать и в тревоге закричала на сына:

— Не смей ходить! Хочешь, чтобы и тебя убили. Сиди дома.

— Мама, детей совсем никто не трогает. Ей-богу. Только Гришка, внук клепальщика Быстрова, напощивал кулаком одному мальчику и назвал его буржуем. Но матросы запретили Гришке драться.

Я сказал жене:

— Не удерживай его, Валя. Пусть идет и запомнит все, что увидит и услышит. Революция не часто бывает.

Сын обрадовался и выбежал из комнаты.

Я посмотрел на адмирала. Он помрачнел и закусил нижнюю губу.

И только теперь вырвалось у него слово, скрывавшееся в душе:

— Ужас!

Я поддакнул ему:

— Да, ваше превосходительство, как говорит Беранже, — революция это вам не графиня в перчатках.

И сейчас же я умышленно заговорил о своем сыне:

— Славный у меня мальчик. Правда, очень отчаянный, но зато учится замечательно. Все время по всем предметам идет в школе первым учеником. Кругом — на пятерки.

Чтобы адмирал не подумал, что это только отзыв восторженного отца о своем сыне, я показал ему школьные отметки. Он рассеянно взглянул на них и сказал:

— Прекрасно, прекрасно.

— Кроме того, Петя много читает. Книжки он поглощает в невероятном ко-

личества. Вы только взгляните на его книжную полку. Тут найдете и по естественным наукам, и по истории, и классическую литературу. Он любит, чтобы хорошие книги были у него на полке. Я разорился с ним на этом деле.

Адмирал приободрился. Повидимому, его тревожные думы на время оторвались от революции. Он стал внимательнее относиться к моим словам.

— Ваш сын производит приятное впечатление. Живой и развитой мальчик. Для родителей это большая радость.

— У него, ваше превосходительство, дедушка по матери выдающийся человек. Как видно, внук в него пошел. Да он и похож на него. Дедушка должен гордиться таким внуком.

— Кто же у него дедушка?

— Важный пост занимает и получает большое жалованье. Но внучатами своими он совсем не интересуется. Хоть пришел бы и посмотрел на своих отпрысков.

Адмирал решил посочувствовать мне:

— Судя по вашим словам, этот дедушка имеет черствое сердце.

Я возразил:

— Может быть, сам по себе не такой уж он плохой человек, но получается нехорошо. А почему? Вся жизнь у нас так перекручена, что некоторые потеряли всякое понятие о настоящей чести. Вот что скверно.

Валя хлопотала около стола — подавала хлеб, ревелские кильки, колбасы, сыр, вареные яйца и поставила бутылку рома.

— Я думаю, что вы сначала закусите, а потом уже будете пить чай, — сказала она и пошла на кухню.

Я направился за нею и наказал ей, чтобы она вместе с девочкой пошла на время к знакомым. Она так и поступила.

Вернувшись к столу, я откупорил бутылку и стал разливать по рюмкам ром.

— Давно приобрел эту благодать с одного иностранного коммерческого судна и все берег для какого-нибудь торжественного дня. Этот день наступил. Для вас, ваше превосходительство, может быть он и неприемлем. Но я встречаю революцию, как самый величайший праздник.

— Нет, зачем же. Я тоже не против революции, ибо самодержавие привело нашу родину в тупик. Но я никак не предполагал, что изменение государственного строя выльется в такие формы.

Адмирал осушил большую рюмку и похвалил качество рома.

— Не стесняйтесь, ваше превосходительство, закусывайте. Чем богаты, тем и рады.

— Спасибо. Я начинаю понимать, что попал в надежные руки.

— Насчет надежности рук вы не ошиблись.

Мы выпивали и закусывали, как два давних приятеля. Говорили о чем угодно, но только не о революции.

После ухода жены двери в коридор оставались незапертыми. Вдруг показался в них боцман Кудинов. Обращаясь ко мне, он сказал:

— Разрешите, товарищ начальник, войти.

— Войдите.

Кудинов шагнул вперед, вытянулся по-военному и отрапортовал мне:

— Ваше распоряжение, товарищ начальник, мы выполнили в точности.

— Хорошо. Иди в Ревком и передай товарищам, что я скоро буду там.

— Есть! — сухо отрезал Кудинов и, покосившись на адмирала, вышел из комнаты.

Адмирал с иронией заметил:

— У вас тоже дисциплина.

— Без этого нельзя выполнить ни одного дела.

Впервые в присутствии адмирала нижний чин посмел обратиться за разрешением не к нему, а ко мне, бывшему вестовому. Сдержанный адмирал больше ничего не сказал. Но я представлял себе, какой горечью это отозвалось в его душе.

Наконец, я решил приступить к тому, что больше всего волновало меня:

— Ваше превосходительство, я хочу поговорить с вами об одном деле. Только давайте условимся — будем при этом откровенны, как и подобает мужественным и честным людям.

— Откровенность — это самая благородная черта в людях. Пожалуйста, я вас слушаю, — сказал адмирал и, ожидая что-то необыкновенное, весь напрялся.

— У вас жила горничной одна осчастливленная Алексеевна Кашинцева. Помните?

— У меня их много жило. Разве всех упомяну?

Я вытащил из кармана бережно сложенную бумажку и развернул ее.

— Это было давно, ваше превосходительство. Вы тогда были молодым и находились в чине капитана 2-го ранга. В этой вот бумажке вы дали Настасье Алексеевне чрезвычайно лестную рекомендацию. По вашим словам, ваша горничная отличалась исключительной честностью и трудолюбием. Взгляните — это вы писали?

Железнов внимательно посмотрел на строки, написанные его рукой. Чернила на бумаге успели полинять. Он что-то вспомнил, вдруг заволовался и тихо промолвил:

— Да, это моя рука. А дальше что?

— Ничего особенного. Кашинцева — моя родственница. Это была действительно самая добросовестная женщина, каких редко можно встретить.

— Была, а теперь?

Адмирал пытался посмотреть мне в лицо. Я выдержал его взгляд и не сразу ответил:

— В прошлом году с нею случилось несчастье: в Петербурге на нее налетел автомобиль. На второй день она умерла. Я похоронил ее на столичном кладбище.

— Печально, — едва слышно промолвил адмирал и уныло облокотился на стол.

— Через Настасью Алексеевну я знаю всю вашу жизнь. Ваша жена родом из аристократической среды. Хотя родители ее давно прогорели, но это не мешало ей держаться гордо и всеми повелевать. Она родила вам сына и дочь. Ваши дети получили прекрасное воспитание. Мне известно, что вы человек небогатый, живете только на одно жалованье, но для них вы не скупились: нанимали гувернеров и гувернанток. Ваша дочь вышла замуж за профессора. А сын, капитан 2-го ранга, служил до переворота старшим офицером на крейсере. Не так ли?

— Верно, — согласился адмирал нехотя, как будто речь шла о чем-то ему неприятном. — Но я не понимаю, к чему ведете вы этот разговор?

— Сейчас поймете. Ваш сын при перевороте на судне убил из револьвера матроса и ранил двоих. Конечно, его тоже не пощадили. Известно ли это вам?

Адмирал поморщился, отвернулся в сторону и сквозь зубы процедил:

— Нет, об этом я впервые слышу.

Нетрудно было заметить, что мое сообщение не произвело на него особого впечатления. Даже обладая сильным характером, он как отец, узнавший о потере сына, должен был воспринять эту страшную новость как-то иначе. Значит, то, что говорила о его детях моя покойная теща, было верно — они только официально считались его детьми. И сам он в этом, повидимому, не сомневался.

Я продолжал:

— Простите, ваше превосходительство, что я огорчил вас мрачной новостью. Но она здесь между прочим. Главное заключается в другом.

— После того как я узнал о трагической гибели своего сына, есть еще что-то главное?

— Да, да, ваше превосходительство. И это главное может превратиться в вашу радость. Все зависит от того, как вы воспринимаете жизнь. Мы с вами условились быть откровенными. Забудьте на время, что вы — адмирал, а я — бывший вестовой. Оба мы взрослые люди и поэтому не будем дрейфить перед правдой,

хотя бы она была самой жестокой и острой.

Адмирал повернулся ко мне, тревожно поднял брови, словно в ожидании удара.

— А теперь разрешите сказать вам одной русской поговоркой: ваши дети вышли ни в мать, ни в отца, а в прохожего молодца. Они не вашей крови. Настоящие их отцы где-то гуляют и, как говорится, в ус себе не дуют. Всю заботу о воспитании своих детей они предоставили вам, а сами иногда, вероятно, посмеивались и посмеиваются над вашей простотой. Об этом вы знаете лучше меня. Но признать открыто этот факт вам будет очень тяжело.

По самолюбию мужчины был нанесен удар с такой силой, что тонкие губы адмирала задержались, на лбу вздулись вены. Задыхаясь, он сидел на стуле неподвижно, словно притворженный к нему, и сверлил меня черными глазами. Вспрыгнув, я показался ему самым наглым человеком, позволившим вторгаться в его частную жизнь... Если бы в этот момент вернули ему прежнюю власть, то он без всякой жалости раздавил бы меня, как мокрицу. Казалось, прошло несколько минут, прежде чем я услышал в тишине комнаты хриплый голос:

— Вы можете поступить со мною, как вам угодно, — но я прошу вас не касаться интимной стороны моей жизни. Зачем вам нужно оскорблять честь моего дома? Разве это имеет какое-либо отношение лично к вам или к революции?

Сердце у меня закипело, и я сказал резко:

— Да, ваше превосходительство, конечно имеет. Я вам докажу это. Но предварительно разрешите показать вам маленький фокус.

Не дожидаясь его согласия, я вышел в другую комнату. Там на стене висела небольшая фотография моей жены. Я взял эту фотографию и достал из кармана фотографию Железнова. Минутным делом было для меня приготовить ножницами два куса белой бумаги, размером той и другой карточки. На каждом листочке бумаги я вырезал отверстие только для лица. Вернувшись к столу, я положил на него фотографию безусого гардемарина Железнова, прикрытую бумагой, и спросил:

— Узнаете, ваше превосходительство?

Адмирал все еще не пришел в себя, однако, взглянув на свое изображение и, не задумавшись, ответил:

— Это я.

То же самое я проделал и с другой фотографией.

— А это кто?

— Это тоже я.

— Вот когда вы ошиблись, ваше превосходительство. Это не вы, а продолжение вашего я.

С последними словами я снял бумажки с обеих фотографий. Адмирал очумело смотрел то на свое изображение, то на изображение моей жены. Его удивлению не было границ, словно он увидел чудо.

— Признайтесь, ваше превосходительство, что фокус мне удался. Вы узнали свою дочь, которую родила вам любимая ваша горничная Настасья Алексеевна. Надеюсь, что теперь для вас все стало ясно: вы — мой тесть, а я — ваш зять. Мои дети, которые вам так понравились — это отпрыски от вашего корня.

Адмирал был ошеломлен. Я думаю, если бы матросы поставили его перед жерлом заряженной пушки, то и в таком положении он не был бы так потрясен, как теперь. К смерти он был подготовлен, и я уверен, что он как гордый человек принял бы ее храбро, не прося помилования. Не то было здесь. Здесь вывернули ему душу и вскрыли в ней самое сокровенное, что с болезненным самолюбием он столько лет таил от людей, здесь объявлялась его дочь, народившая ему великолепных внучат. До сих пор он жил в чужой семье, заботился о ней, исполняя роль отца. И у него нехватало мужества покончить с такой фальшью. А в это время его родная семья, о которой он никогда не думал, жила по сырым подвалам. Может быть, адмирал переживал не то, что я ему приписываю. Но он производил впечатление человека, внезапно сшибленного налетевшей на него подводой. Смятый, он сразу лишился твердости духа, глаза у него загуманились, лицо приняло бессмысленное выражение. Он потер лоб и тихо простонал:

— Что это — явь или сон?

— Это суровая действительность, ваше превосходительство.

Адмирал вдруг оживился и почти приказал мне:

— Налейте мне рому!

Руки его дрожали, когда он поднял рюмку. Он опрокинул ее в рот и, не закусывая, заговорил:

— Логично все подстроено. Вам только бы следователем быть. Выходит, что это у меня черствое сердце. Ну, что же, может быть, это и верно.

— Не вы, а весь наш социальный строй пропитан черствостью и подлостью. А теперь разрешите поставить перед вами еще один вопрос, и разговоры наши будут закончены.

— Еще один вопрос? — испугался адмирал. — На сегодня не слишком ли это будет много?

— Скажите, ваше превосходительство, откровенно: с кем вы пойдете — с нами или с теми, где вас всю жизнь обманывали? Решайте. Вы свободный человек.

Можете хоть сейчас пойти, куда вам угодно. Для команды вы были неплохой начальник. Тем легче мне обеспечить вас от всяких неприятностей. Вас никто не тронет, пока вы не пойдете против восставшего народа.

— Вопрос задали вы серьезный. Надо будет подумать.

— На всякий случай советую вам остаться здесь, пока не установится революционный порядок.

Я ушел по делам и вернулся домой поздно. Дети мои уже спали. Адмирал и моя жена сидели за столом и пили чай. По их лицам я догадался, что между ними произошло объяснение. После Валя рассказывала мне, как он плакал и вымаливал у нее прощение. Отец давал клятву дочери, что с этого дня для него начнется новая жизнь. И Валя не только простила его, но и обрадовалась, что у нее теперь есть отец. Очевидно, она в душе мучилась отсутствием его, хотя и ни разу не заикнулась мне об этом.

На второй день, в сопровождении назначенной мною охраны, адмирал ходил к себе на квартиру. Пробыл он там недолго и, вернувшись, заявил мне:

— Все кончено. Жена услышала от меня такие слова о себе, какие ей никто еще не говорил до сих пор. Сегодня же она уезжает в Петроград.

И, глядя мне прямо в глаза, он твердо добавил:

— В моей душе, как и в государстве, тоже произошел переворот. Я буду служить народу. Передайте, Захар Петрович, кому нужно, что моя жизнь — в его распоряжении.

Адмирал Железнов крепко пожал мне руку.

VII

Командир встал, приблизился к борту и выглянул в иллюминаторы, как будто его заинтересовала погода. Но тут же он вернулся к столу и что-то записал в блокнот. В это время, постучав предвительно в дверь, вошел в каюту старший артиллерист Судаков. Рябоватое лицо его было чем-то озбочено.

— Разрешите, товарищ капитан 1-го ранга, доложить.

— Я слушаю вас, — ответил командир, устремив свой взгляд на старшего артиллериста.

— От порта отходит баржа с практическими боеприпасами для нас. Прошу разрешения произвести погрузку в соответствующие погреба.

— Хорошо, грузите. Не забудьте о случае на «Полтаве».

— Есть. Все необходимые меры предосторожности будут соблюдены.

Судаков вышел, и командир снова вернулся ко мне.

— Хотя я уверен в нашем артиллеристе, но не мешает лишний раз напом-

нить о мерах предосторожности. Очень серьезное это дело — погрузка боеприпасов.

Я спросил о случае на «Полтаве».

— Там во время погрузки упал в погреб ползубряд и воспламенился. А в нем, как ты, наверно, помнишь, четыре пула бездымного пороха. Кораблю и его экипажу угрожала гибель. И только благодаря исключительной отваге смельчаков, пожар удалось погасить. Все же три человека сгорели. Бывает же так, когда о несчастье можно сказать — счастливо отделились.

Мне неоднократно приходилось присутствовать при погрузке боеприпасов. Не выходя из каюты, я знал, что делается сейчас наверху. Прежде всего проверяется прочность стропов и стальных сеток, с помощью которых будут подниматься на судне снаряды и ползубряды для тяжелой артиллерии, а также патроны для малокалиберных пушек. Противопожарные средства должны быть в полной готовности к действию — разсыпаться шанги, становятся на клапанах затопления и орошения погребов трюмные машины. Около загрузочных люков растлаиваются брезенты и маты, чтобы смягчить удар случайно упавшего снаряда. Во время такой операции всей верхней палубой распоряжается старший артиллерист, и все подчиняется ему.

Я вспомнил рассказы Куликова о некоторых его соопавателях и попросил командира рассказать мне о дальнейшей их судьбе. Он посмотрел на часы и на минуту задумался.

— Не о моих соопавателях, а о гражданской войне нужно было бы рассказать тебе, но сегодня я не успею этого сделать. А годы гражданской войны были самыми напряженными и самыми яркими в моей жизни. Да, о них есть что порассказать. Этим мы займемся в днях, а сейчас послушай об одной моей встрече с человеком, хорошо знакомым тебе по прежним моим рассказам.

Сказано — гора с горой не сойдется, а человек с человеком может сойтись. Так случилось и у меня. Я давно решил остаться моряком навсегда. А гражданская война еще больше укрепила меня в этом решении. Море и корабли вросли в мою душу, как деревья в землю. Но мне нужно было хорошенько подковать себя в военно-морском деле, чтобы потом никакая гололедица не пугала меня. Подал я заявление в Военно-морское училище с просьбой зачислить меня в слушатели. Сначала преподаватели отнеслись ко мне недоверчиво. А потом, во время экзамена, убедились, что по общеобразовательным предметам я уже не так плохо понимаю.

Учение мне давалось легко. До рево-

люции я много скитался по морям и океанам под разными широтами. Плавая на коммерческих судах, в каких только портах я не побывал! Входы в них, как и все маяки, я знаю почти наизусть. По части военных кораблей я много усвоил от боцмана Кудинова и от покойного командира нашего броненосца капитана I-го ранга Лезвина. Я всегда с благодарностью вспоминаю о них. Да и гражданская война не прошла для меня даром. По тактике и стратегии я практически приобрел знания. Кроме того, гражданская война научила меня как командира познавать душу своих подчиненных и поднимать в них доблесть. Словом, ко времени поступления в Военно-морское училище жизнь настолько подготовила меня, что я покатылся вперед к намеченной цели, словно на велосипеде по ровному асфальту.

Я поселился на Васильевском острове, чтобы было ближе ходить в училище. Квартира когда-то была богатая. В десяти комнатах жила одна семья какого-то морского офицера, но она сбежала от революции. После нее в этой квартире поселилось семь семейств: рабочие, военные и служащие. Из прежней обстановки осталось лишь кое-что: у кого славянский шкаф, у кого трюмо, у кого стол из красного дерева. Я со своими домочадцами поселился в двух комнатах. К этому моменту моему сыну было двенадцать лет. Он был хорошим комсомольцем и работал на судостроительном заводе. Кстати сказать, он потом тоже поступил в Военно-морское училище и успешно его закончил. Теперь я не без гордости смотрю на своего сына: он служит на другом военном корабле в звании капитана 2-го ранга. Но вернусь назад.

Время было тяжелое. После мировой войны, а затем — гражданской, в наследство советской власти досталась разоренная страна. Все обитатели нашей квартиры кормились пайками, жили впроголодь и в холоде. Некоторые малодушные люди отчаивались и думали, что они уже никогда больше не увидят белых букв.

В первый же день, как только я вселился в новую квартиру, до моего слуха донесся из соседней комнаты сердитый окрик:

— Я не потерплю этого! Я буду жаловаться его императорскому величеству!..

Меня передернуло от этих слов. Царь давно расстрелян, белогвардейцев вместе с интервентами словно ветром сдуло с лица русской земли, а тут вдруг я слышу такой возглас! Я немедленно обратился за разъяснениями к первому повернувшемуся в коридоре человеку. Это была курьерша какого-то учреждения, пожилая и бойкая женщина. Она сообщила мне:

— Слепой адмирал у нас тут бушует. Поживите здесь — не то еще услышите.

То, что я узнал от других, а потом и сам увидел, было похоже на бред. Моим соседом оказался граф Эверлинг, с которым я когда-то вместе плавал на броненосце «Святослав». Все во мне всколыхнулось при воспоминании об этом человеке. Поэтому, когда я узнал, кто мой сосед, меня особенно заинтересовало, что стало с ним теперь.

Но только на второй день я увидел его. От того графа, холеного красавца, какого я знал на своем судне, ничего не осталось. Это был длинный скелет, обтянутый серой и сморщенной кожей. На нем, как на колу, висел замызганный военный сюртук. Судя по одежде, очевидно, до революции он был очень полнотелым. У него до неузнаваемости было изувечено лицо: одна ноздря разорвана, щеки и подбородок в шрамах, вместо бороды — ключья седой шерсти, вместо глаз — красивые язвы. При нем жила его дочь Тамара Леопольдовна. Живя у графа вестовым, я видел ее лишь один раз. Она была тогда грудным ребенком. Теперь она выросла и оформилась в довольно стройную блондинку, с голубыми страдальческими глазами. Может быть, революция так повлияла на нее, но в ней не было никакой надменности. Она подкупала всех нас своей простотой. Когда я познакомился с ней ближе, она рассказала мне все подробности о своем отце.

Во время войны граф «Пять холодных сосисок» был произведен в контрадмиралы. Незадолго до революции тот корабль, на котором он плавал, подвергся обстрелу немецких судов. Один из неприятельских снарядов разорвался около боевой рубки. Корабль мало пострадал, но находившийся в этот момент на мостике граф был тяжело ранен. Осколками ему выбило оба глаза, искорыряло лицо, изувечило пальцы на руках. Кроме того, он абсолютно лишился слуха. Графа лечили лучшие специалисты. Раны его зажили, но он при полном здравом уме остался на всю жизнь каекой: слепым, глухим и с плохой связью пальцев.

Февральская революция застала его в таком состоянии. Пришли к нему в особняк вооруженные солдаты. Графиня назвала их хамами. Они арестовали ее и увезли с собой. Граф и его дочь были оставлены. Он не знал об отсутствии жены, как не знал и о совершившейся в стране революции. Ни рассказать ему об этом, ни дать прочесть было нельзя.

Пока граф не был ранен, он прочно обрелся на земле и никогда не думал об изменчивости судьбы. И вдруг все это пошло прахом. Богатство, почет и слава исчезли. Жизнь, многокрасочная и многозвучная, куда-то провалилась. Он

познавал ее лишь частично через вкус и обоняние. После февральской революции граф продолжал жить в собственном особняке и не замечал особой перемены в своем быту. Он спал на чистых простынях, употреблял пищу, приготовленную лучшими поварами. С ним неразлучно находилась дочь, до болезненности преданная своему отцу. По каким-то признакам он узнавал ее, может быть по тому, что она была ростом ниже матери. Случалось, что он вспоминал о жене:

— Луиза! Куда ты исчезла? Вероятно, я стал противен тебе?

К нему подходила дочь. Ее слезы при водили его к диким догадкам:

— Если бы Луиза умерла, то я присутствовал бы при ее погребении. Мой нос не мог бы не почувствовать ладана. Просто эта женщина сбежала от меня..

И, повысив голос, он резко выкрикивал:

— Лишить ее наследства! Тамара, слышишь? Из моих капиталов не давать ей ни копейки.

Тамара вырывалась из объятий отца и зажимала уши, чтобы не слышать его страшных слов. Они вонзались в ее мозг, как шипы, и причиняли нестерпимую боль. Но ни она и никто другой не могли объяснить графу, что произошло в его семье, а также и во всем государстве. И дочь в отчаянии металась из одной комнаты в другую, не находя себе нигде покоя. Судя по ее рассказам, трудно было решить, кто из них переживал более тяжелую трагедию.

После Октябрьской революции графский особняк был взят под какое-то учреждение. Дочь увезла отца на Васильевский остров и поселилась с ним в одной комнате. Он принюхался к воздуху и сморщил нос.

— Смердом пахнет. Что это значит? Мы попали в какую-то конюшню. Я не могу здесь жить.

Дочь только всплескивала руками.

В этот же день она сама сварила на примусе похлебку. В обед кушанье было подано на стол. Дочь всунула отцу в одну руку ложку, а в другую — кусок полусырого хлеба. Граф попробовал хлеб — выплюнул, попробовал похлебку — тарелка полетела со стола на пол и разбилась. Он рассвирепел:

— Мне дают такую гадость! Это издевательство! Для меня приготовили такое мерзкое кушанье, какое не будет есть ни один мужик!.

Дочь в испуге смотрела на отца, а он ударил кулаком по столу и тоном властелина распорядился:

— Тамара! Сейчас же скажи управляющему, чтобы он немедленно рассчитал главного повара. Это обнаглевший жулик. Он вероятно думает, что если я

ослеп, то мне можно подsunуть всякую дрянь. Нанять нового повара!

Граф немного подумал и заговорил более спокойно:

— А пока пусть сам управляющий быстро съездит на машине в ресторан Кюба за обедом. Я не знаю, как ты, но я хотел бы из холодных закусок — зернистой икры и страссбургского паштета. А что бы из горячих блюд нам придумать? Я давно не ел стерлядь паровую. Если ее случайно не окажется, то можно заменить форелью гатчинской, соус риж. Ты, наверно, не будешь возражать, если заказать эскалоп дикой козы, соус кумберланд. Из сладких блюд в этом ресторане хорошо готовят парфе маркиз, пти буше. Такое кушанье и тебе понравится. Оно делается из сбитых сливок с ликерами, прибавляются сюда ломтики апельсина и свежая малина.

Дальше дочь не могла слушать отца и, рыдая руки, выбежала из комнаты. Для нее тарелка пшенной похлебки была теперь дороже всех этих блюд. А он, ничего не понимая, что происходит кругом, никак не мог отказать себе в прежних потребностях. Но как, какими средствами объяснить ему, что он теперь уже не граф и не адмирал и что от громадных капиталов у них остались жалкие крохи?

С этого дня положение графа резко стало ухудшаться. Тамара измучилась с ним, изваслась. Наступили холода. Соседи научили ее поставить в комнате маленькую железную печку — «буржуйку». Такая печка потребует мало дров. Правда, тепла она немного даст и готовить на ней пищу неудобно, но жить можно — не замерзнешь. Тамара так и поступила. Она запаслась на зиму дровами и, подражая соседям, сложила их у себя в комнате, потому что все обитатели дорожили ими не меньше, чем сахаром. Она бегала на рынок за продуктами. Пока у нее были деньги, она легко справлялась с маленьким хозяйством. Но они скоро вышли, и наступили тяжелые дни. Сначала нужно было что-нибудь продать из своего добра: серебряные ложки, вилки, подстаканники, золотые вещицы, платья, чулки, туфельки. А потом уже на вырученные деньги она приобретала продукты. Иногда Тамара занималась товарообменом, но ее, непрактичную в жизни, часто обманывали: за дорогую вещь она приносила домой полпуда мороженого картофеля.

Временами не было для графа даже простой пшенной каши. Его кормили каким-нибудь жиденьким перловым супом без навару или щами из кислой капусты. По утрам уже не подавали ему кофе молко с душистыми томленными сливками, не подавали сливочного масла и нежных слоенок. Все это теперь заменя-

лось морковным чаем с сахарином и неочищенным картофелем. Наголодавшись, он выпивал и съедал все, что попадалось под руки, но не переставал протестовать.

— Я все-таки не могу понять, что случилось? Почему меня держат в холоде и голоде? Тамара! Сейчас же соедини меня по телефону с премьер-министром. Нет, ты лучше сама поговори с ним. Передай ему от моего имени, чтобы он немедленно распорядился расследовать все мои дела. Виновники пойдут под суд.

Граф сидел на диване и ждал, когда его распоряжения будут выполнены. Никто к нему не подходил. Он терял терпение и начинал проклинать всех на свете. Так продолжалось и после гражданской войны.

Мне жалко было его дочь, своими душевными качествами совершенно не похожую на отца. Страдая из-за него, она постепенно увядала, как надломленная ветка. Из прежних ценностей все у нее было продано, все продлено. Оставалась лишь одна золотая брошка с бриллиантом. Тамара берегла ее, как память о своей матери. Но затем и с этой брошкой пришлось расстаться.

Чтобы облегчить тяжелую участь Тамары, я задался целью как-нибудь сообщить графу, что в России произошла революция. Пусть он поймет хоть одно это слово. И я изо всей силы произнес его то в одно ухо графа, то в другое. Напрасны были мои старания. Он только откидывал в сторону голову и заявлял:

— Тамара, зачем ты щекочешь в моих ушах?

И вот однажды осенила меня блестящая мысль. Я вспомнил, что граф хорошо знал азбуку Морзе и преподавал ее на броненосце «Святослав» всем сигнальщикам. Это было его единственное достоинство. Если только он не забыл эту азбуку, то при помощи ее можно передать ему что угодно. Я радовался своей догадке, обрадовалась и Тамара, когда узнала об этом от меня. Я разыскал знакомого радиста. Дочь усадила отца на диван и сама села рядом с ним.

— Тамара, — сурово заговорил граф, ощущая ее голову. — Я без тебя все время думал: очевидно, все люди превратились в сплошных подлецов. Почему не исполняются мои приказания?

В это время радист постукал пальцем по голове графа.

— Как, азбука Морзе? — воскликнул он. — Как же это до сих пор никто не догадался применить ее для разговора со мною? Наконец-то передо мною вскростся вся правда. Я слушаю.

Радист начал выстукивать фразы. Граф приоткрыл рот и запрокинул голову. Его безглазое лицо приняло выражение напряженного ожидания. Я и Та-

мара с волнением следили за ним, а он медленно, словно по складам, произносил слова:

«В Ро-ссии про-изо-шла ре-во-лю-ция».

Он дернулся и задрожал.

— Революция? Не может этого быть. Или я не понял?

И опять произносил слова, выстукиваемые радистом:

«Да, да, ре-во-лю-ция. А те-перь в Ро-ссии уста-новлена со-вет-ская власть. Им-у-ще-ства всех ка-пи-та-ли-стов кон-фи-ско-ва-ны».

Граф закрутил головой.

— Позвольте, позвольте! Что за чепуха такая! Какая это может быть советская власть? Да такой власти нигде в мире нет! И кто ей дал право распоряжаться моими капиталами?

Радист выстукивал, а граф, покрываясь холодной испариной, повторял его слова: «Со-вет-ской вла-сти это пра-во дал на-род, тру-да-ми ко-то-ро-го соз-даны все ка-пи-та-лы».

Граф завизжал, точно ужаленный:

— А где же император?

И сам себе, повторяя передаваемые слова радиста, ответил:

«Им-пе-ра-тор Ни-ко-лай вто-рой каз-нен».

Граф сжал кулаки и ринулся вперед словно в атаку. Он закружился по комнате, налетел на стол и, опрокинув его, с грохотом упал на пол. Зазвенели осколки разбившейся посуды. Граф быстро вскочил и остановился среди комнаты. Его безглазое лицо судорожно задергалось. Он вытянул вперед руки, сжучил пальцы, словно намеревался кого-то схватить и, задыхаясь, кричал

— Император казнен! Мои капиталы конфискованы!.

Его дочь в испуге забилась в угол. Я и радист отошли к двери. Граф бесновался и, словно трагик на сцене, повышал голос. Больше нам нечего было делать здесь. Я сказал его дочери:

— До свидания, Тамара Леопольдовна! Теперь ваш папа узнал все.

В этот день в комнате до вечера был слышен шум. Неожиданной новостью граф настолько был ошарашен, что выкрикивал какие-то несуразные слова, бесновался и кому-то угрожал. К полуночи он замолчал — повидимому, его уложили спать.

Я сидел у себя в комнате за столом и зубрил уроки. Вся наша многолюдная квартира погрузилась в сон. Часа в два за стеной послышалась возня, потом что-то грохнулось и два голоса, мужской и женский, смешались в смертельной тревоге.

Все обитатели нашей квартиры поднялись на ноги.

Я первый бросился к соседней комнате. Дверь была заперта. Ударом плеча я вышиб ее и включил электричество. То,

что я увидел, обожгло мое сердце. Отец и дочь были в одном белье, и между ними на полу происходила борьба. Обезумевший, он, повидимому, принял ее за другого человека. Одной рукой он держал Тамару за волосы, а другой — наносил ей удары. Она яростно отбивалась от него. На мгновение я оцепенел от этой отвратительной сцены, но тут же бросился к графу и отшвырнул его в сторону.

При помощи других мужчин я связал графу полотенцами руки и ноги и уложил его на кровать. Пока я это делал, он бормотал, как в бреду:

— Где же высшая справедливость? Дайте мне бога! Я вырву у него седую бороду...

Потом мы еще долго обсуждали, что делать с графом дальше. Для дочери он стал опасным, а нам он всем надоел. На следующий день я принял решительные меры к тому, чтобы отправить его в психиатрическую больницу.

Время, как говорится, излечивает самые глубокие раны. Так случилось и с Тамарой: она оправилась от пережитых ею потрясений и стала хорошей преподавательницей иностранных языков. Жизнь свое берет и выкидывает иногда удивительные неожиданности. Кто мог бы заранее сказать, что Тамара выйдет замуж за того радиста, который при помощи азбуки Морзе разговаривал с ее отцом? Теперь она имеет двух детей, изредка бывает у нас и никогда больше не вспоминает о своем родителе.

VIII

— Следует рассказать тебе еще об одном человеке, с которым я плавал на «Святославе». Это наш судовой священник. Из монахов он, как и на других кораблях, Звали его отец Пахом. С виду — ростом средний, но широкий и какой-то весь сухожильный, все лицо в густой бороде мышиного цвета. Голубые глаза смотрят на всех то грустно, то умирительно-ласково. Голос у него низкий, утробный, но во время церковной службы он подает возгласы почти дискантом. Вероятно, он думает — так проникновеннее у него выйдет и скорее тронет матросские сердца. Но получается смешно — если не смотреть на него, то кажется, что это женщина справляет службу.

Насчет грамоты отец Пахом был слаб. На это мало внимания обращают в монастырях. Лишь бы молитвы знал и кое-как в священном писании разбирался. Но по части отзывчивости не скоро найдешь другого такого священника. Вестовой нашего старшего офицера Яков получил с родины письмо, и загрустил парень. Ходит сам не свой, как поте-

рянный. Выяснилось, что на родине у него сгорел дом и погибла лошадь. Об этом дознался отец Пахом. Попросил у вестового письмо, прочитал его внимательно. И что же ты думаешь? Отвалил ему сорок рублей и наказал, чтобы он немедленно перевел их потгорельцам — своим родителям. А ведь у судового священника, кроме жалования, никаких иных доходов нет. Помогал он и другим матросам. Вообще это был настоящий бесребренник.

В кают-компании он питался вместе с офицерами. Но по средам и пятницам заказывал себе отдельное кушанье — постное. Водки не пил совсем, употреблял только кагор, и то очень умеренно.

Как-то днем заглянул я в кают-компанию. Из офицеров никого там же было: кто на занятиях, кто на вахте. Лишь один отец Пахом сидел за столом и скучал. Увидел он меня и подозвал к себе. — Откуда, чадо, ты родом? — спросил он.

— Из косопузых происхожу, — шуткой ответил я.

— Так, значит, Рязанской губернии. Земляк мой. Очень приятно.

Он заулыбался и начал допрашивать, какого я уезда, какой волости. А когда я назвал свое село, он даже вскочил.

— Чадо ты мое! Да мы с тобой из одних мест! Моя деревня Перепелкино. Две версты от вашего села. Вот радость какая! Ах, боже мой! Да и встретились-то где? В чужих государствах...

Отец Пахом жал мне руку, хлопал по плечу и не знал, как выразить свой восторг.

— Ведь моя покойница жена была из вашего села. Дочка Якова шерстобита. Дарья. Может, слышал?

— Знаю. Через пять дворов от нас шерстобит этот.

— Дай бог ей царство небесное. А ты не сын будешь Петра Псалтырева?

— Да.

— Знавал я твоего отца. На всю волесть прославился — псалтырь хорошо читал над покойниками.

Отец Пахом обрадовался еще больше, точно встретился с родным сыном. Тут же он пригласил меня в свою каюту, угостил кагором и сам выпил. Начались разговоры о знакомых, о деревенской жизни, об урожаях в наших местах. Монашеская ясна не заглушила в нем душу крестьянина, мыслями он тянулся к земле, как жаждущий к ручью.

С этого дня и началась у меня с ним дружба.

Однажды отец Пахом рассказал мне, как и почему он променял крестьянскую жизнь на монастырскую. В мире, до пострижения в монахи, он носил другое имя — Григорий. Был у него закадыч-

ный друг — сосед Василий. Оба они увлекались рыбной ловлей. В полоую воду захватили они с собой сети и отправились верст за восемь. А там река хоть и небольшая, но заболочена и кругом много озер. Весной она разливается местами версты на две. Всегда оба приятеля промышляли там рыбной ловлей. И своя лодка у них там была — неважная, можно сказать, душегубка. На этот раз переплыли они на другой берег и очень удачно перехватили там сетями протоку, которая соединяла озеро с рекой. Рыба, как шальная, лезла в сети. Словом, к вечеру второго дня у них добычи было пудов пять. И начался у них тут спор. Василий доказывал, что ночью опасно плыть через реку на такой плохой лодочке. А тут еще небо заволочило облаками, подул северный ветер, в воздухе запорхали снежинки. Долго ли до беды — дети останутся сиротами. Лучше было бы переночевать у костра, а утром, с рассветом, отправиться в путь. Григорий настаивал на своем — немедленно нужно домой, иначе может рыба испортиться. Попыли. Ветер все усиливался, тьма густела. Григорий, сидя на корме, управлял лодкой. Через ее борта захлестывали волны. Василий ее успевал вычерпывать воду. Оставалось преодолеть еще какую-нибудь четвертую часть пути, но тут-то и случилась беда. Лодка обо что-то ударилась и опрокинулась. Григорий успел одной рукой ухватиться за днище, а в другой даже удержал весло. Василий что-то крикнул и сразу исчез в темноте. Больше он не издал ни одного звука, как будто и не было человека. Григорий уселся верхом на днище лодки и веслом стал направлять ее к берегу. Это продолжалось невероятно долго. Без шапки, весь мокрый, с опущенными в ледяную воду ногами, он дрожал как в лихорадке. Одежда на нем и волосы стали мерзнуть. Но он не обращал на это внимания. Он кричал своему другу, звал его — никакого ответа. Сам он спасся, а Василия нашли через несколько дней далеко от этого места — к берегу труп прибило.

Это происшествие перевернуло всю мужицкую жизнь Григория. Начались мучения. Днем и ночью все ему слышался упрек Василия:

— Говорил я тебе — не послушал. Погубил меня. Осиротил моих деток...

И в народе пошел слух, будто Григорий убил своего друга и бросил в реку. Было следствие. На трупе не нашли никаких следов насилия, а нехороший разговор в деревне не унимался. А тут еще жена умерла от родов первого ребенка. Это совсем доканало Григория. Работа валилась из рук. Совесть жгла его душу, и не стало ему житья от черной тоски.

На этом месте рассказа у батюшки за-

дрожал голос, из глаз, словно сверкающие бусины, покатались слезы. Он вынул из кармана платок, утерся им и продолжал свое повествование.

— Бросил я свою деревню и пошел бродить по монастырям. Много пришлось мне земли измерить, пока я в одном из монастырей не застрял навсегда. Настоятелем был у нас архимандрит Иосиф. Он сам происходил из мужиков и любил, когда крестьяне поступали в послушники. По его совету я и постригся и стал носить имя Пахом. При Иосифе нам жилось хорошо. А когда он умер, к нам прислали из другого монастыря викарного епископа Авдея. Ну, он и показал себя. Монахи так и прозвали его Авдей-Злодей. Келейником он выбрал себе сплетника и ябедника. Через него он все знал про монахов: кто что делает, кто что любит и кто чего боится. Стал он привлекать в монастырь купцов и горожан. Уговорил одного образованного человека постричься в казначей. А сам Авдей-Злодей сытый, холеный, ходит в шелковой рясе, руки душит, волосы завивает. При нем доходы монастыря увеличились. Правился он купчихам и разным барыням, и они стали здорово жертвовать. Но для монахов жизнь ухудшилась.

Слушал я тогда отца Пахома и удивлялся. Оказывается, и в монастыре не очень свято проходит жизнь. Так же, как и на воле, она переплетается и с доносами, и со щегольством, и с разными интригами, и с ненавистью к своему духовному начальству.

— Наш монастырь на берегу озера стоит и обнесен высокой и толстой каменной стеной,—продолжал рассказывать отец Пахом.— На ней устроено много башен, и в каждой башне имеются комнаты. Вот туда-то Авдей-Злодей и начал сажать провинившихся монахов. Покажется ему, что монах в церкви зевнул, ну, значит, иди на целую неделю в башню. Что только не придумывал наш архимандрит. Если иной из нашей братии слабоват насчет спиртного, то он прикажет не давать ему три дня пить, а на четвертые сутки, вместо воды, пошлет ему бутылку водки. Много разных номеров он выкидывал. Из-за Авдея-Злодея, прости господи душу мою грешную, я и попал на корабль. Про меня он узнал, что я покойников боюсь. Не хорошо это для монаха, а поделаться с собой ничего не мог. Страшно мне на них глядеть. Кажется, что мертвец подмигивает мне и дышит. Вот и стал Авдей-Злодей посылать меня по покойникам читать. Умер у нас один монах. Гроб вынесли в летнюю церковь, а мне приказали псалтырь читать всю ночь. Взял я с собой палку и приставил ее к аналою. Оружие не оружие, а все-таки не так божно. Дверь церкви я распахнул, чтобы меньше мертвецкий запах чувствовался, и лег-

няя ночь прохладой дышит. Почитаю и замолчу, задумаюсь о бренности нашей жизни, потом опять читаю и опять замолчу, на покойника посмотрю. Лицо его прикрыто парчой, по-нашему «воздух» называется. И все мне кажется, что парча шевелится. Вдруг сзади голос раздается: «Проснись, негодяй!» Я от страха даже подпрыгнул, как мяч, и рассудок мой помутился, словно от затмения. Но все-таки палку я схватил, обернулся и трахнул ею по темной фигуре. Фигура сначала упала, потом вскочила и бегом через дверь скрылась. Оказалось, это приходил Авдей-Злодей посмотреть, хорошо ли я читаю и не ушел ли из церкви. Утром он позвал меня к себе. Не хотелось ему срамить себя и боялся он, что я расскажу про это событие монахам. Нужно было ему от меня отделиться. Начал он такими словами: «Посылаю я тебя, согласно запросу нашего архиепископа Ярославского, для обуздания страха твоего, недостойного монаха, в плавание на корабле царского флота. Иди и свято выполняй свой долг. Учи матросов вере святой, как отец духовный и пастырь чад христианских». И я поехал в далекие края. Ведь кроме Ростова Великого я ничего не видел. А тут я побывал и в Москве белокаменной, и в столичном городе Петербурге, и в крепости Кронштадт, и повстречался со знаменитым отцом Иоанном Кронштадтским. Теперь не страшен мне Авдей-Злодей, потому что я подчиняюсь протопресвитеру военного и морского духовенства. Я очень доволен своей судьбой.

Пахом замолчал.

Для него путешествие было большой радостью. Он увидел свет, жизнь больших городов, корабли, моря, иностранные порты.

Мы довольно часто беседовали с отцом Пахомом. Меня интересовала монастырская жизнь и хотелось досконально познать моего друга: какие мысли у него, чем его душа занята. Я спрашиваю:

— Ну, как, батюшка, женщины для монахов — большой соблазн?

— Ох, силен дьявол, силен. И многие из нашей братии не выдерживают борьбы с ним и впадают в грех. На себе я это испытал. Стоишь иной раз в церкви, а тут какая-нибудь молодуха так взглянет на тебя, точно пламенем всего охватит. В голову горячая кровь ударит, и все мысли перемешаются. Забудешь все молитвы. А потом ночью ляжешь спать на койку, и тут начинает бес работать. Он тебе разных особ представляет и все в разных видах. И крутишься, переворачиваешься ты, точно не на койке, а на раскладной плите находишься. Случалось — вцепишься в свою бороду руками и стоишь

как перед смертью. И все-таки ни разу я не поддался дьяволу.

Однажды батюшка совсем разоткровенничался со мною.

— Одно у меня плохо, Захар, — иногда сомнения мучают насчет, скажем, чудес. Как это можно мертвых воскрешать? И почему раньше это могли делать, а теперь нет? Или вот еще взять пророка Елисея. Мальчики стали называть его лысым. Что же тут особенного? Он и был лысым. А он рассердился, проклял их, напустил на них медведицу, и она растерзала сорок детей. К чему же такая жестокость? А как Христос относился к детям? Он сказал взрослым: «Если вы не будете, как дети, то вы не наследуете царство небесное». Значит, пророк Елисей неправильно поступил, а за неправильные дела что бывает, а?

Я согласился с ним и в свою очередь сказал:

— Не в этом только дело, батюшка. А беда в том, что вся религия наша построена на барышах, на процентах.

— То-есть, как это понимать тебя? — вскинул брови отец Пахом.

— Очень просто. Купец продает товар и старается как можно больше нажить процентов. А мы для чего угрождаем богу, всячески преклоняемся перед ним? Тоже для того, чтобы нажить проценты. Но какие проценты? Мы сорок-пятьдесят лет промучаемся на земле, зато на том свете вечно будем блаженствовать. Барыш явный. Не так ли?

Отец Пахом рассердился на меня.

— Ты это брось. Такие еретические мысли я не хочу даже слушать. Вредные они.

— Но вы тоже высказали свои сомнения.

— Верно. Не отрекаюсь. Но, может быть, через сомнения я приду к настоящей вере, непоколебимой и крепкой, как гранит. Такие случаи бывали.

Он подпер голову руками, задумался. Молчал и я. Но вдруг он заговорил с тою-то:

— Да, Захар, часто я думаю о себе. Может быть, зря я променял свою долю мужицкую на монастырскую. Почему бы мне не жениться второй раз? Были бы у меня дети, ворочал бы я с ними землю и пожинал бы плоды от трудов своих. Иногда смотрю, как в поле мужики и бабы работают, и становится завидно мне. Знаю — грех завидовать, а вот не могу иначе. Силы во мне много.

— А вы, батюшка, бросили бы монастырь и вернулись к земле.

— Да ты что, чадо, ошааел? Я посвятил себя служению богу и вдруг нарушу обет. Какая цена такому человеку?

Кроме меня, отец Пахом крепко сдружился с лейтенантом Подперчицыным.

Этот лейтенант, как только увидел батюшку в кают-компании, сейчас же подошел к нему под благословение и облобызал его руку. И каждый день он так поступал при встрече с ним. В кают-компании, как принято вообще, все офицеры называют священника на «ты». Подперчицын же обращается к нему на «вы». В свободное время они всегда сидят вместе и разговаривают о церкви, постах, о святых мучениках. Подперчицын часто заходит к батюшке в его каюту.

Отец Пахом с умилением отзывается о нем.

— Благочестивый офицер. В таких ожеревших телесах, а какая возвышенная душа! Вот образец настоящего христианина. От него, вероятно, никто не слышал ни одного скверного слова. И веру православную блюдет, и священное писание знает, и церковь чтит лучше многих монахов.

Я в душе смеюсь над похвалами батюшки, но не хочется подрывать его доверие к этому лейтенанту. Думаю, что дальше будет? А дальше получилось что-то непонятное. Принесит Подперчицын книгу корпусного священника «Моряк-христианин» и давай отца Пахома угваривать проповеди произносить. Для команды это будет большая польза. Но тот начал возражать:

— Да что вы. Я еще никогда не говорил проповеди. Боюсь запутаться в мыслях.

— А вы заранее напишите то, что хотите сказать. Я проверю, где не ладно, поправлю.

Такое предложение отец Пахом отверг.

— Не могу читать по бумажке. Я уж лучше как-нибудь скажу от души, как вдохновит меня господь.

Выбрали из книги «Моряк-христианин» рассказ о том, как один монах напился и что из этого вышло. Распался он от вина и начал преследовать одну женщину. За нее вступился ее спутник. Монах пришел в ярость и убил этого спутника. За это попал в тюрьму. Для моряков такая проповедь должна быть самой поучительной: «не опивайтесь вином, ибо в нем есть блуд».

Целую неделю отец Пахом готовился к этой проповеди, и в ближайшее воскресенье разразился. Оказалось, то, что он вычитал из книги, он переделал по-своему и сразу ошарашил свою паству. Матросы ухмылялись, а офицеры выбегали из церкви, чтобы на свободе похотать. Старший офицер растерянно смотрел то на батюшку, то на командира. Лезвин хмурил брови. Только Подперчицын держался иначе: он весь подался вперед и с таким молитвенным выражением на лице смотрел на батюшку, точно слушал откровение самого бога. Отец Пахом разошел-

ся, вдохновился, воображение разыгралось у него. Он старался как можно ярче показать зазорное поведение пьяного монаха и гремел:

— И видит он—идет женщина, хорошо и богато одетая. Под руку ее ведет женщина. Он тоже приличный господин. Но спяну монах ничего не разобрал и подумал грешно об этой честной женщине. А ведь дьявол не дремлет и пользуется тем, что пьяному человеку легче впустить поганые мысли. Посмотри, мол, какая на ней шляпка, какое чудесное лицо под вуалью, от ее тела пахнет дорогими духами. А какие красивые ножки в туфельках...

Командир мигнул старшему офицеру и, когда тот подошел, что-то шепнул ему. Старший офицер на минуту задумался, а потом быстро вышел на верхнюю палубу.

— И взъярился на эту честную женщину пьяный монах, — продолжал батюшка. Но в это время послышались звуки боевой тревоги. Все бросились бежать по боевому расписанию. И тут же разошлись по сигналу «отбой».

Командир был не в духе. Приказал мне позвать отца Пахома. А когда тот явился, он резко сказал:

— Никаких больше проповедей! Прощу прекратить эти выступления.

Отец Пахом потом жаловался мне:

— Я только что вошел во вкус, а он прекратил. Ну, прямо как Авдей-Злодей. Пробовал я утешить его, но он только отмахивался рукой.

Подперчицын снова подкатился к нему.

— Командиру не понравилась ваша проповедь, но матросы остались очень довольны. И вот я думаю—не лучше ли вам заняться с командой духовными беседами. Знаете, для желающих, в вечернее время, по субботам.

Он так горячо начал убеждать отца Пахома, точно от таких духовных бесед зависело счастье самого Подперчицына. И батюшка согласился с ним.

Обсудили и выбрали текст «Несть власти, еще бо не от бога». Доложили старшему офицеру. Тема ему понравилась.

В субботу, в назначенный для беседы час, носовой кубрик оказался битком набитый матросами. Пришли и офицеры. Временами заглядывал туда и старший офицер.

Отец Пахом сидел в раздумье и поглаживал свою густую бороду. Потом он встал, дернул себя за намерстный крест и сказал:

— Во имя отца и сына и святого духа, приступим, братия.

Он заговорил о повиновении начальству и о том, что всякое начальство поставлено волей небесной. Выходило это у него вяло и скучно. Матросы начали позевывать. Но старший офицер, который на минуту спустился в кубрик, посмо-

трел на отца Пахома одобрительно и ушел. Подперчицын обрадовался.

Пахом понемногу начал увлекаться. Чем дальше, тем сильнее гремел его басистый голос:

— Что сказал Христос в нагорной проповеди? Он сказал: любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, а отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку.

У Пахома ошетинились усы и борода, загорелись глаза. Он встряхивал гривой густых волос и продолжал, словно грозный библейский пророк:

— Про кого же это говорил Христос? Кого он имел в виду? Кого вы в душе считаете врагами? Кто ненавидит и проклинает вас? Кто может ударить вас по щеке и не попасть за это к мировому судье? Спрашиваю я—кто? Конечно, начальство ваше...

Матросы радовались таким словам, возбужденно подтакивали друг друга, правильно, мол, говорит. Подперчицын смотрел на батюшку и в знак согласия кивал ему головой. Остальные офицеры покашливали.

Тут раздался властный голос старшего офицера:

— Время для беседы вышло. Команде разойтись!

Матросы весело расходились, довольные беседой.

Ну, как понять в этом деле Подперчицына? Сам он не признавал ни бога, ни чорта. В этом я был убежден. Для чего же тогда притворяться верующим и петь только церковные песнопения? Для чего подводить отца Пахома, этого честного и совестливого человека? У меня создалось такое впечатление, как будто все это поддельвал не лейтенант, а озорной бес.

Старший офицер сказал Подперчицыну:

— Зайдите ко мне в каюту.

Ну, говорят, и распек он лейтенанта и приказал ему прекратить дружбу с Пахомом. Батюшка был удручен. Только со мной он иногда отводил душу. По утрам и вечерам он выходил на верхнюю палубу и читал перед обеими вахтами судовою командой положенные молитвы. Он благословлял матросов, по-монашески кланялся им и уходил в свою каюту, где погружался в чтение пяти томов «Добротолубия».

Еще один произошел случай. После него все думали—отцу Пахому конец, отплавал, мол, на кораблях. В воскресенье командир распорядился начать обедню, а сам каким-то судовым порядком надолго задержался на верхней палубе. Покончил он со своими делами и вместе с боцманом начал спускаться по трапу. А этот трап у нас расположен недалеко от ико-

ностаса сборной церкви. Командир, очевидно, был очень расстроен. На боцмана ли он рассердился или еще на кого, но только в церкви многие явственно слышали его ужасные ругательские слова. А главное — он как бы отвечал на возглас священника. Старший офицер беспокойно задергал плечами. Офицеры заулыбались, матросы начали сморкаться, а Подперчицын просил весь, точно получил богатое наследство.

Отец Пахом победно и сверкнул глазами. Вдруг он высоко поднял крест, сделал только два шага и остановился. И все слышали его громогласный выкрик:

— Замолчи, нечестивец!

Офицеры и матросы были поражены смелостью отца Пахома.

Наступил самый напряженный момент. Лица у всех стали серьезные. Все смотрели на командира и ждали, как ждут после сильной молнии удара грома. Но Лезвий прошел вперед и стал на свое место, впереди офицеров, как будто ничего не случилось.

— Продолжайте дальше богослужение!

Отец Пахом точно опомнился от кошмарного сна. Из его уст, как это обычно у него выходило, полились заунывные возгласы.

Вечером, за выливкой, я осторожно начал хвалить отца Пахома. Командир прервал меня:

— Зря стараешься, Захар. Если бы наш поп и не такой был хороший, как ты говоришь, я все равно не стал бы его преследовать. Сам я виноват. Лучше налейка мне перцовки. Эта водка благоприятно действует на пищеварение.

Вот как все дело обернулось, потому что умный и справедливый был командир.

Я плохо спал эту ночь, взволнованный рассказами своего старого друга Псалтырева. Воспоминания о прошлом охватили меня. Я лежал с закрытыми глазами, и передо мной одна за другой возникали картины пережитого. Вспоминались даже незначительные случаи из той далекой жизни. Но ярче всего видел я коренастую и сильную фигуру самого Захара Псалтырева. В полудреме я слышал его голос, рассказывающий различные случаи из своей жизни. Этот человек, вышедший из гущи народа, благодаря своему природному уму, любознательности, труду и упорству, достиг той цели, которая в дни его юности и самому ему казалась недостижимой. Революция помогла ему выявить свои врожденные таланты, она открыла ему широкую дорогу, идя по которой вестовой Захар Псалтырев превратился в капитана I-го ранга Захара

Петровича Куликова. Я думал и о том, сколько в нашем флоте новых людей, занимающих высокие командные посты, людей, вышедших из рабочих семей, из далеких глухих сел и деревень. Я с нетерпением ждал следующего дня, чтобы услышать рассказы Куликова об его участии в гражданской войне. Мне очень хотелось знать, — за что он получил ордена, где и при каких обстоятельствах был ранен. Зная его смелость и твердый характер, я не сомневался в том, что не мало подвигов совершил он в то далекое, кипучее время, ставшее теперь уже историей.

Летняя ночь неслышно плыла над морем, на смену ей уже приходило утро. Я уснул, когда стекло иллюминатора начало светлеть от нарождающейся зари.

Но следующий день опрокинул все мои ожидания. Я получил телеграмму: неожиданные и срочные дела вызвали меня в Москву. Когда я сообщил об этом Куликову, он разочарованно развел руками:

— Ну, вот... А я думал, что ты поживешь... Столько лет не видались и так скоро расстаемся.

Он был искренно опечален. Я поспешил утешить его:

— Мы расстаемся ненадолго, и теперь мы уже не потеряем друг друга.

Мы вместе позавтракали в салоне. Я подарил ему несколько своих книг, сделал на них дружеские надписи. Мне приятно было видеть, что этот скромный подарок растрогал Захара Петровича. Крепко пожимая мне руку, он благодарил меня и говорил:

— А чем я могу отдарить тебя?.. Хотя... Подожди!..

Куликов ушел в каюту и спустя несколько минут вернулся с тоненькой и потрешанной книжечкой в руках. Он заложил руки за спину, как бы пряча от меня книжку, и сказал:

— Я хочу подарить тебе то, что очень дорого мне, что напоминает мне мою юность, любовь и первые годы нашей дружбы.

И он протянул мне книжку. Это была грамматика.

— Эту грамматичку мне принесла Валя, когда я был еще вестовым, и помогала изучать ее. Помнишь, когда-то я рассказывал тебе, как ночами я сидел на кухне и зубрил грамматические правила. Иногда Валя диктовала мне, а я писал. Эта грамматика помогла мне объясниться в любви с будущей моей женой. Когда я впервые поцеловал ее, то от счастья у меня слезы навернулись на глазах. Я так растерялся, что не мог сказать ни одного ласкового слова и только выпалил невпопад:

— А грамматичку я обязательно одолею!.. — Как видишь, я сдержал свое

слово. А книжку эту сохранила Валя, как воспоминание о тех далеких днях.

Меня расстрогал этот подарок не меньше, чем мои книги расстрогали командира. Я бегло перелистал потрепанные страницы, с помеченными и подчеркнутыми карандашом строками, — этой первой ступени лестницы, по которой упорно и настойчиво поднимался Захар Псаалтырев. Я сказал взволнованно:

— Лучшего подарка ты не мог мне сделать!

Катер увозил меня от линкора. Обернувшись, я смотрел на стальную громаду и видел там, на мостике, крепкую фигуру капитана 1-го ранга Куликова. Он махал мне руками...

Вокруг расстилалось море, играющее золотыми всплесками под лучами солнца, море, которое так же близко мне, как и земля родины, которое всегда волнует меня и пробуждает во мне самые лучшие чувства, — море, которое я никогда не перестану любить...

ЗАВЕТ

Н. САЛАЖОВ

★

Шагнул мой сын в наш старый дом.
С порога крикнул, — Здравствуй, мать!
Два года почтальон о нем
В аул не приносил письма.

— Не узнаешь? Забыла ты,
Какие кудри у Исы? —
Присела я на край тахты,
Заплакала, сказала, — Сын.

Со щек он слезы мне утер
И, губы приложив к виску,
Спросил, — Гуляет ли у гор
Мой серый, в яблоках, скакун?

Нет, — отвечала я ему.

Спросил, — Нашла гозыри
На темносиний ты бешмет?
На пашке на моей горит
Попрежнему ли яркий свет?

Ему я отвечала, — Нет.

— Кинжал ты сохранила мой?
Он здесь остался, на стене..
Полону с бархатной каймой
Ты золотом расшила мне?

И я сказала снова, — Нет.

— Что ж не спешит Ису встречать
Черноволосая жена?
Ее ведь сберегла ты, мать?
Когда ж войдет сюда она?

И я заплакала опять.

— Так что же в нашей сакле есть,
Что сберегла ты для меня?
Чему же будет рад черкес,
Коль нет жены и нет коня?
Мать прошептала сыну, — Мстить!

МАЛЬЧИК ИЗ ДЖОРДЖИИ

Новеллы

ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ

Перевод с английского Н. Волжиной

★

1. КАК МОЙ СТАРИК ОБЗАВЕЛСЯ УПАКОВОЧНЫМ ПРЕССОМ

У переднего крыльца нашего дома раздался огулашительный грохот, будто кто-то вывалил нам груды камней на ступеньки. Дом так и тряхнуло от фундамента до крыши, а потом все сразу стихло. Мы с мамой были в это время на заднем крыльце и никак не могли понять, откуда такой шум. Мама испугалась, уж не начинается ли светопреставление, и велела мне быстрее крутить ручку стиральной машины, не то приключится нивесть что, и она не успеет отжать и развесить белье миссис Дадли.

— Я сбегаю посмотрю, что там такое, — сказал я, изо всех сил крутя ручку. — Можно, ма? Можно мне посмотреть?

— Крути, крути, Вильям, — сказала она, мотая головой и запихивая в машину комбинезон мистера Дадли. — Там будь что будет, а белье я все-таки повешу.

Я что есть мочи вертел ручку, а сам прислушивался. И вдруг услышал чей-то громкий голос у переднего крыльца, но слов разобрать не смог.

И как раз в эту минуту из-за угла дома выбежал мой старик.

— Моррис! Что случилось? — спросила мама.

— Где Хэнсом? — еле переводя дух выговорил мой старик. — Куда Хэнсом девался?

Хэнсом Браун — это наш работник, него, который живет у нас с тех пор, как я себя помню.

— Где же ему быть? На кухне, конечно, убирается, — сказала мама. — А зачем это тебе Хэнсом понадобился?

— Я без Хэнсома не справлюсь, — сказал папа. — Мне он нужен сейчас, сию минуту.

— Па, давай я тебе помогу, — сказал

я, попятившись от машины. — Можно, па?

— Вильям! — сказала мама, хватая меня за локоть и подтаскивая к машине. — Делай, что тебе велено! Крути ручку!

И как раз в эту минуту из-за кухонной двери показалась голова Хэнсома Брауна. Мой старик сразу его углядел.

— Хэнсом, — сказал папа, — бросай все и беги к переднему крыльцу. Ты мне нужен.

Хэнсом не сдвинулся с места и поглядывал на маму, выжидая, как она отнесется к тому, что он бросит все свои дела на кухне. Но мама запихивала в машину лямбное старое платье миссис Дадли и была так этим занята, что ничего ему не сказала. Мой старик схватил Хэнсома за рукав и стащил его вниз по ступенькам во двор. Мы и оглянуться не успели, как они оба скрылись за домом.

Мне очень хотелось пойти с ними, но взгляну на маму и духу нехватает проситься во второй раз. Кручу ручку что есть мочи — лишь бы поскорее отжать белье.

Не прошло и нескольких минут, как мы услышали скрип двери и потом в передней что-то грохнуло. Точь-в-точь будто крыша провалилась.

Мы с мамой бросились в дом узнать что там происходит. Вбегаем в переднюю и видим: мой старик и Хэнсом волочат огромный тяжелый ящик, выкрашенный ярко-красной краской, как товарные вагоны, и с большим железным колесом на крышке. Он был не меньше старинного мелодеона и такой же дурацкий с виду. Хэнсом надел на эту машину, она пролезла в дверь и всей своей тяжестью села на пол гостиной, так что картины на стенах заходили ходуном. Мы с мамой тоже протиснулись в дверь одновременно с этим большим красным

ящиком. Мой старик стал рядом с ним, поглаживая его рукой и тяжело переводя дух, точно собака, все утро гонявшаяся за кроликами.

— Моррис! Господи помилуй! — сказала мама, обходя ящик кругом и стараясь понять, что это за штука.

— Ну как, хороша вещичка? — спросил мой старик, отдуваясь после каждого слова. Он сел в качалку и с восхищением уставился на ящик. — Правда, хороша?

— Па, где ты его достал? — спросил я, но он был так занят, что не слышал меня.

Хэнсом ходил вокруг ящика и, заглядывая в щели, рассматривал, что там внутри.

— Подарили его тебе что ли, Моррис? — спросила мама, отступив к стене, чтобы как следует разглядеть эту громадину. — Где ты такое раздобыл?

— Купил, — сказал папа. — Вот только что, несколько минут назад. Агент, который ими торгует, заехал сегодня утром к нам в город, и я с ним сторговался.

— Сколько же это стоит? — озабоченно спросила мама.

— Пятьдесят центов наличными, а остальное в рассрочку по пятидесяти центов в неделю.

— А на сколько недель рассрочка? — спросила мама.

— На целый год, — ответил он. — Это не дорого. Есть о чем говорить — тьфу! Не успеешь оглянуться, год прошел. Мы и не заметим, как все будет выплачено.

— А что это такое? — спросила мама. — Для чего оно?

— Это упаковочный пресс, — ответил он. — Прессует бумагу. Кладешь в него побольше ненужной бумаги — ну, скажем, старые газеты или еще что-нибудь, потом завинчиваешь до отказа вот это колесо, и бумага выходит из-под низа готовой кипой, спрессованная и перевязанная проволокой. Замечательное изобретение!

— Мистер Моррис, а что вы будете с ней делать, когда она выйдет из-под низа? — спросил Хэнсом.

— Как что? Продавать, конечно, — сказал папа. — Тот же агент будет заезжать к нам раз в неделю и скупать ее у меня. Пятьдесят центов вычтет, а что сверх того — на руки.

— Вот здорово! — сказал Хэнсом. — И вправду замечательная штука!

— Где же ты наберешь столько бумаги? — спросила мама.

— Эка! — сказал мой старик. — Есть о чем думать! Ненужная бумага везде валяется. Старые газеты, да мало ли чего еще! Оберточная с покупок, и та годится. Несет по улице ветром какой-ни-

будь обрывочек, и его туда же. Это золотое дно, а не машина.

Мама подошла к ящику поближе и заглянула внутрь. Потом крутнула ражок колесо и направилась к двери.

— В гостиной ей не место, — сказала она. — Моррис Страуп, будьте любезны вытащить эту уродину из моей парадной комнаты.

Папа кинулся за ней.

— Подожди, Марта! Ведь лучше помещения не придумать! Что же ты хочешь? Чтобы я вытащил ее во двор — пусть гниет и ржавеет под открытым небом? Такую ценную машину!

— Убрать немедленно, не то я велю Хэнсому изрубить ее на дрова, — сказала мама, выходя во двор, и зашагала к заднему крыльцу.

Мой старик вернулся назад и долго смотрел на упаковочный пресс, проводя обеими руками по гладко выструганным доскам обшивки. Он стоял молча, а потом вдруг нагнулся и приподнял его. Я и Хэнсом взялись с другой стороны. Втроем мы вынесли его из гостиной на переднее крыльцо. Папа опустил свой конец ящика, и мы тоже.

— Ну, вот, — сказал папа. — Тут его и солнцем не будет палить и дождем не замочит.

Он взялся за большое колесо на крышке.

— Хэнсом, неси сюда всю ненужную бумагу со всего дома, — сказала мама. — Сейчас и начнем.

Мы с Хэнсом прошли по всем комнатам и собрали все, что нам попало в глаза. В одном чуланчике нашелся ворох старых газет; я вынес их оттуда, и папа затолкал все сразу в загрузочную воронку. Хэнсом раскопал где-то оберточную бумагу и вернулся с целой охапкой. Мой старик принял ее у Хэнсома и тоже запустил в машину.

— Оглянуться не успели, а набралось на целую кипу фунтов на сто, — сказал он. — А дальше будет чистая прибыль. Придумаешься, куда деньги девать. На следующей неделе придет этот агент в Сикамору, надо, пожалуй, еще у него купить три-четыре таких прессы. Разве с одним управиться? Столько денег загребем, что придется в банк положить. Эх! не знал я раньше, как деньгу зашибают! Оказывается, проще простого! Вот напрессую побольше, а там можно будет все дела побоку, и на покой.

Он замолчал и подтолкнул Хэнсома к двери.

— Хэнсом, нечего прохлаждаться, тащи бумагу!

Хэнсом побежал в комнаты и стал шарить по всем комодам, чуланам и за умывальником. Я нашел в гостиной на

толе несколько старых журналов и при-
нес их папе.

— Молодец, сынок! — сказал он. —
Старые журналы такая же дрянь, как
и старые газеты, а весят больше. Тащи
их сюда.

Когда я вернулся со следующей пор-
цией журналов, мой старик объявил, что
теперь и на вторую кипу хватит. Мы
крепко закрутили пресс, и Хэнсом об-
вязал новую кипу проволокой. Папа
сбросил ее на пол и велел Хэнсому по-
ложить на первую.

Мы проработали еще час, и к этому
времени в углу крыльца лежали три го-
товых кипы прессованной бумаги. Хэн-
сом сказал, что теперь во всем доме не
сыщешь ни клочка, и мой старик от-
правился на поиски сам. Он долго про-
падал где-то и наконец вернулся с
целой охапкой молитвенников, которые
мама закупила для своего класса в во-
скресной школе. Мы отодрали с них
переплеты, потому что они были колен-
коровые, а мой старик сказал, что всу-
чивать тряпье вместо бумаги нечестно.
После этого он опять отправился в ком-
наты и вышел оттуда с пачками писем,
перевязанными ленточками. Ленточки он
сорвал, а письма затолкал в пресс. Когда
и это было спрессовано, время подошло
к полудню, и папа решил сделать пе-
редышку на часок.

После обеда мы опять принялись за
работу. Несколько раз обшарили весь
дом, но ничего бумажного не нашли,
кроме отставших обоев в одной комнате,
которые папа велел сорвать, потому что
они все равно старые и только уродуют
стены. Потом он послал нас с Хэнсом
к миссис Прайс спросить, не найдется
ли у нее ненужной бумаги. Мы сходи-
ли к миссис Прайс два раза. Под конец
все мы так устали, что папа сказал: на
сегодня хватит, — поработали. Тогда мы
втроем сели на ступеньки и пересчита-
ли кипы, сложенные в углу. Их было
семь. Папа сказал, что для начала это
неудурно и если дальше пойдет так же,
то скоро мы будем богаче всех в го-
роде.

Мы долго сидели на ступеньках и ра-
довались, глядя на бумагу, и мой стар-
ик решил завтра встать пораньше и к
вечеру наготовить не семь кип, а все
двенадцать. Потом мама тоже вышла на
крыльцо и увидела сложенную штабелем
прессованную бумагу. Мой старик
повернулся к ней, думая, что она тоже
порадуется, глядя, как мы много на-
работали в первый же день.

— Моррис, откуда же это взялось
столько бумаги? — спросила она, подхо-
дя к кипам и трогая их рукой.

— Со всего дома собрали, Марта, —
ответил папа. — Теперь нигде ничего
не валяется, весь хлам убрали до по-

следнего клочка. А сколько этой бума-
ги было запихано по разным уголкам!
Только мышинные гнезда разводить. Хо-
рошо, что я купил этот пресс. И в доме
стало чище, все прибрано.

Мама расковыряла одну кипу и что-
то вытащила оттуда. Это был журнал.
— Моррис! Это что такое? — сказала
она, оборачиваясь.

И вытащила еще один журнал.

— Вы знаете, Моррис Страуп, что вы
наделали? — сказала мама. — Загубили
все мои рецепты и все мои выкройки,
которые я сберегала с первого дня заму-
жества.

— Да зачем тебе такое старье? — ска-
зал папа.

Хэнсом попятился к двери. Мама от-
лянулась.

— Хэнсом, развяжи все до одной, —
сказала она. — Интересно, что вы еще
у меня взяли. Хэнсом! Делай, как при-
казано!

— Подожди, Марта, — сказал папа.

— Ма, разве нельзя продать газеты и
журналы, ведь они старые? — спросил я.

— Молчать, Вильям! — сказала ма-
ма. — Нечего заступаться за отца.

Хэнсом развязал верхнюю кипу, и мо-
литвенники вперемешку с журналами
посыпались на пол. Мама нагнулась и
подняла одну книжку.

— Господи помилуй! — воскликнула
она. — Да ведь это новые молитвенни-
ки для воскресной школы! На них день-
ги собирали по подписке! Люди мне до-
верились, думали, что уж у меня в до-
ме все будет в целости. А теперь полюбуй-
тесь на них!

Она расшвыряла газеты и журналы,
грудой валившись на полу. Потом при-
нялась за другую кипу. Хэнсом хотел
развязать проволоку, но она сама рва-
нула ее.

— А это что? Моррис! — еще громче
сказала мама, глядя на одно из писем,
которые мы запустили в пресс.

— Так какие-то бумажонки, я их в
чулане нашел, — сказал папа. — Все
равно мыши съедят.

Мама вся покраснела и тяжело опу-
стилась на стул. Минуты две она мол-
чала. Потом окликнула Хэнсома.

— Хэнсом, — сказала она, покусывая
губы и прижимая к глазам краешек
фартука, — сию минуту развяжи эту
кипу.

Хэнсом перепрыгнул через ворох га-
зет на полу и дернул проволоку. Письма
грудой упали к маминим ногам. Она
нагнулась и подняла целую пачку. По-
том пробежала глазами несколько строк
в первом же попавшемся письме и за-
кричала не своим голосом.

— Марта, что с тобой? — спросил па-
па, вставая со ступенек и подходя к
ней.

— Мои письма! — сказала мама, прижимая краешек фартука к глазам. — Любовные письма от моих прежних поклонников! И все твои письма, Моррис! Что же ты со мной сделал!

— Да ведь это бог знает какое старье, Марта, — сказал папа. — Хочешь, я тебе новые напишу — только прикажи.

— Не нужно мне новых! — закричала мама. — Я старые хочу!

Она так громко заплакала, что папа не знал, как ему быть. Он прошелся по крыльцу взад и вперед.

Мама нагнулась и набрала с пола целый фартук писем.

— Марта, я тебе еще напишу, — сказал папа.

Мама встала.

— Если ты ни во что не ставишь свои письма, — сказала она, — не трогал бы другие, те, что мне мои поклонники писали.

Она подхватила фартук с письмами и ушла в комнаты, громко хлопнув за собой дверь.

Мой старик заходил по крыльцу, ступая прямо по газетам и молитвенникам и поджидывая их ногами. Сначала он молчал, потом подошел к прессу и провел обеими ладонями по гладковыступанному доскам обшивки.

— Эх, сынок! Зря пропадет бумага! — сказал он. — И чего мама так расстроилась из-за каких-то старых писем? Приехал бы агент на следующей неделе и сколько бы денег нам отвалил!

2. КАК ПРОПОВЕДНИК ХАУШО УПРОСИЛ НАС ПОЗВОНИТЬ В КОЛОКОЛ

Когда я пришел домой из школы, проповедник Хаушо, священник универсалистской церкви, стоял у нас на переднем крыльце и разговаривал с моим стариком. Сначала я не обратил на это внимания, потому что проповедник Хаушо постоянно таскался к нам и все уговаривал моего старика ходить по воскресеньям в церковь, но папа каждый раз придумывал какую-нибудь отговорку и большей частью ссылался на то, что у нашей ослицы Иды рези в животе и ее нельзя оставить одну, или что свиньи мистера Джесса Джонсона бегают без присмотра и, значит, надо сидеть дома и сторожить, как бы они не изрыли наш огород. Я решил, что они опять препираются все о том же, остановился у крыльца и думаю: интересно, какую отговорку папа найдет на этот раз, и вдруг слышу, проповедник Хаушо говорит, что сегодня днем должно состояться венчание мисс Сузи Тинг со вторым почтальоном Губертом Уилли, а привратник универсалистской церкви

негр Джефф Дэвис Флетчер уехал на несколько дней в соседний округ навещать какого-то большого родственника, и звонить в колокол некому. Мой старик слушал проповедника Хаушо, но, судя по всему, не имел ни малейшего желания звонить в колокол в его церкви.

— Я вот что вам предложу, мистер Страуп, — сказал проповедник, так и не дождавшись ответа от моего старика. — Если вы согласитесь звонить сегодня во время венчания, я до конца года оставлю вас в покое и не буду уговаривать, чтобы вы посещали церковную службу. Ну, как, мистер Страуп, довольны?

— Доволен-то я доволен, а лучше бы вы оставили меня в покое не только на этот год, но и на все следующие, — ответил папа.

— Вы слишком многого от меня хотите, мистер Страуп, — с расстановкой проговорил проповедник Хаушо. — Долг велит мне не отступаться от человека до тех пор, пока он не начнет ходить в церковь.

— Раз уж вам так приспичило со звонарем, — сказал мой старик, — вообразите себе, что я баптист или методист, и не нвольте меня слушать ваши проповеди в универсалистской церкви. У меня есть своя религия. Пожаау, заслушаешься универсалистского проповедника, и пошатнешься в вере. Неужели вы хотите, чтобы я из-за вас отвернулся от своей религии?

Проповедник Хаушо в изнеможении прислонился к стене и долго-долго думал. Папа сидел на перилах и ждал, что последует дальше.

— Не будем сегодня спорить о религии, мистер Страуп, — сказал наконец проповедник Хаушо. — Я совсем замучился, а у меня через полчаса венчание в церкви. Звонаря разыскивать уже поздно, и если вы не согласитесь, я просто не знаю, как мне и быть.

Мой старик слез с перил и зашагал вниз по ступенькам во двор. Проповедник Хаушо еле поспел за ним.

— Так и быть выручу вас, позвоню, — сказал папа. — Меня никто не попрекнет, что я отказываюсь помочь человеку в беде.

— Вот и прекрасно! — сказал проповедник, так и просияв и с улыбкой глядя на папу. — Я знал, что на вас всегда можно положиться, мистер Страуп. Он смахнул пыль с пиджака и поправил галстук.

— Вам, собственно, и делать-то будет нечего, — сказала она. — Запомните только одно: как я начну читать венчальную службу, тут и надо ударить в колокол. Звоните до тех пор, пока молодые не выйдут из церкви и не скроют-

ся у вас из виду. А когда и след их простынет, тогда кончайте. Понятно, мистер Страуп?

— Меня на такой чепухе не собьешь, — ответил ему мой старик. — Подумаешь, премудрость какая!

Проповедник Хаушо попятился к калитке.

— Ну, мне пора, — забеспокоился он. — Через двадцать минут надо начинать. Вы оденьтесь получше, мистер Страуп, и приходите. Только не задерживайтесь. Я буду ждать вас в притворе, как раз где веревка от колокола.

Он повернулся и быстро зашагал к универсалистской церкви, которая была за три квартала от нас. Мой старик награвился в дом.

— Пойдем, сынок, — сказал он, широко поведя рукой. — Надо приготовить к свадьбе. Ты мне поможешь звонить в колокол. Пойдем!

Мы вошли в комнаты, и папа окунул голову в таз с водой и гладко причесал волосы щеткой. На этом наши приготовления были закончены.

— Па, а мне ты позволишь позвонить? — спросил я, вприпрыжку поспевая за ним. — Позволишь, па?

— Там посмотрим, сынок, — ответил он. — Если тянуть будет не очень трудно, то позволю.

Народ уже сходиллся на свадьбу. Мы всех обогнали и быстро пошли вперед, торопясь притти в церковь заранее. У паперти стояла толпа, мой старик только помахал всем рукой, и мы, не останавливаясь, прошли в притвор.

Проповедник Хаушо ждал нас у веревки, как и было обещано. Он очень волновался и ему не стоялось на месте. Увидев меня и папу, он зашагал по притвору взад и вперед, то и дело поглядывая на часы.

— Мистер Страуп, эта свадьба очень важное событие, — громким шопотом сказал он папе. — Сочетаются браком представители двух семейств, — двух надежнейших столпов моей церкви. Мне бы очень хотелось, чтобы все сошло как нельзя более гладко. Я придаю большое значение этой свадьбе. Она соединит две враждующие семьи и положит конец распре, которая мутит всю мою паству.

— За меня можете быть спокойны, — ответил ему папа. — Делайте все, что вам полагается по чину, а уж я возьму на себя обязанности звонаря. Меня тут учить нечему. Мало ли я звонил в колокол, когда работал школьным сторожем.

— Рад это слышать, мистер Страуп, — сказал проповедник Хаушо, вытирая лицо носовым платком. — Теперь я знаю, что звонарь у меня опытный, и будтоhora с плеч.

Прихожане один за другим стали входить в церковь, органист заиграл свью музыку. Вскоре в боковых дверях появилась мисс Сузи Тинг в пышном белом платье и с охапкой цветов в руках. Почти одновременно с ней в другую дверь вошел Губерт Уилли. Венчание могло начаться с минуты на минуту, и я сказал своему старику, что нам того и гляди надо будет ударить в колокол. Проповедник Хаушо с часами в руках стремглав кинулся в притвор и чуть не упал в проходе между скамьями, споткнувшись о чьи-то ноги.

— Ну вот, мистер Страуп, — хриплым шопотом сказал он папе. — Как увидите, что я беру со стола маленькую черную книжку, так и знайте — пора звонить.

Папа кивнул и ухватился за тяжелую толстую веревку, пропущенную в колокольни вниз через круглую дыру в потолке.

— Держи крепче, сынок, — сказал он. — Придется вдвоем раскачивать. Школьный колокол был куда меньше.

Мы зялись за веревку, стараясь перехватить ее как можно выше.

— Ну, — сказал папа, — теперь гляди на проповедника и говори, когда дергать.

Мисс Сузи Тинг и Губерт Уилли стали перед проповедником Хаушо. Губерт был красный, как свекла, а лица мисс Сузи я не мог разглядеть, потому что она уткнулась в большой букет. Проповедник Хаушо протянул руку и взял со стола ту самую черную книжку, о которой нам было сказано.

— Дергай, па! — как можно тише шепнул я. — Началось!

Мы потянули за тяжелую веревку и кое-как раскатали ее. Папа объяснил мне, что надо изо всех сил тянуть веревку вниз, а потом сразу отпустить, и она сама уйдет кверху. После пяти-шести таких рывков язык ударил в колокол, и веревка заходила у нас вверх и вниз, как и требовалось.

Колокол звонил протяжно, и звон этот показался мне немного странным. Но, взглянув на своего старика и увидев, какое у него довольное лицо, я решил, что так и надо. Потом обернулся и вдруг вижу: проповедник Хаушо позвал к себе причетника и что-то шепчет ему. Многие из прихожан вертели на местах и так на нас смотрели, будто мы делали что-то не то. Причетник кинулся по проходу к нам и, подбжав к папе, шепнул ему что-то на ухо.

Мой старик покачал головой и про-должал звонить, как мы и звонили с самого начала. Причетник убежал назад к проповеднику, перед которым стояли Сузи и Губерт. Проповедник Хаушо уже перестал читать по маленькой черной

книжке, и как только причетник шепнул ему что-то, положил книжку на стол и бегом кинулся к нам.

— Мистер Страуп! — громко сказал он. — Перестаньте бухать!

— Что вы там чепуху городите? — ответил ему папа. Мы попережнему дергали за веревку, и после каждого рывка она ухридала в дыру в потолке. — Мне сказано было звонить, я и звоню. Чего вам еще надо?

— Чего мне надо? — повторил проповедник Хаушо, запуская палец за тесный воротничек и поводя шеей. — Вы разве не слышите, что получается? Дин... дон... дин... дон... — Теперь уже все, кто был в церкви, повернулись лицом к притвору и многие делали нам какие-то знаки руками. — Так только часы отбивают или звонят на похоронах. Прекратите немедленно!

— Что вы от меня хотите? — спросил его мой старик. — У нас в школе только так и звонили. И никто не говорил, что это похоронный звон.

— Мистер Страуп! Да разве можно сравнивать школьный колокол с нашим, — сказал проповедник Хаушо. — Величина то разная! В школьный колокол как ни звони, он все равно будет тренькать. Перестаньте сию же минуту! Все чуть не плачут от вашего звона. Разве такое настроение должно быть на свадьбе?

— Так как же прикажете мне звонить? — спросил папа.

— С перезвоном!

— С перезвоном? — сказал мой старик. — Это еще что такое?

Проповедник Хаушо повернулся и быстро оглядел всех, кто был в церкви. Мисс Сузи и Губерт все еще стояли у кафедры, дожидаясь, когда он вернется и доведет церемонию до конца, но вид у них у обоих был такой, что, казалось, мисс Сузи того и гляди грохнется в обморок, а Губерт разобьет цветное стекло и выскочит в окно на улицу.

— Неужели вы никогда так не звонили? — спросил проповедник Хаушо.

— Мало того, что не звонил, — ответил папа, — я даже никогда не слышал о таком звоне.

— Вот как надо: динь-дир-линь, динь-дир-линь, — сказал проповедник.

— Динь-дир-линь? — переспросил папа, попережнему дергая за веревку. — Первый раз эдакое слышу.

— Хорошо, мистер Страуп, только перестаньте бухать. Говорю вам, надо с перезвоном! — сказал проповедник Хаушо. — Некоторые уже плакать начали.

— Не могу же я переучиваться на ходу, — ответил ему папа. — Тут нужна практика. Как звоню, так и буду звонить. А в следующий раз попробую по-вашему.

Проповедник Хаушо протянул руку к веревке, но как раз в эту минуту брат мисс Сузи Тинг-Джул кинулся на Губерта Уиали и вытолкал его через боковую дверь на кладбище, крича, что это Губерт велел так звонить, это все его штучки! За ними еще никто не успел выскочить, а Джул уже надел на Губерта, и они принялись дубасить друг друга, прыгая между могилами и памятниками. У Губерта пошла кровь носом, а Джул располосовал себе брюки о железную дощечку на одной ограде с надписью «Вход запрещен».

Мой старик велел мне звонить, а сам пошел посмотреть на драку. Проповедник Хаушо тоже выбежал из церкви вместе со всеми. Я продолжал дергать за веревку и теперь уже ясно слышал, что получается точь-в-точь, как у дялюшки Джеффа Флетчера на похоронах: дин... дон... дин... дон. Джул и Губерт порядком друг друга исколошматили, но их никто не останавливал в расчете на то, что они устанут и разойдутся сами собой. Я дергал за веревку, как мне велела мой старик, и про себя удивлялся, неужели один и тот же колокол может вызванивать и «динь-дир-линь» и «дин... дон», и вдруг проповедник Хаушо подлетел ко мне и вырвал у меня веревку из рук. Язык ударил в колокол раз-другой и остановился.

— Хватит, Вильям! — сказал проповедник и, рванув меня за шиворот, втолкнул вниз по ступенькам.

В эту минуту из-за угла церкви выбежал мой старик. Он как услышал, что колокол перестал звонить, так и замер на месте.

— Ты почему же не звонишь, сынок? — спросил он.

— Проповедник не велел, — сказал я. — Он меня выгнал.

— Выгнал? — переспросил мой старик, немедленно приходя в ярость.

Проповедник Хаушо вышел из церкви и остановился на верхней ступеньке. Вид у него был совершенно изможденный.

— Слушайте-ка вы, проповедник! — начал папа. — Раз уж я согласился звонить в колокол, так тут хоть тресни, а звон будет. И сейчас я иду в церковь и обещанную работу выполню до конца. Не моя вина, если вам не нравится, как я звоню.

— Никуда вы не пойдете, — сказал проповедник Хаушо, загораживая собой дверь. — Вы и так мне всю свадьбу расстроили, и безобразная драка на кладбище это тоже из-за вас. Вы так звонили, что Тинги и Уиалисы вспомнили все свои старые счета. Я вам даже до веревки дотронуться не дам!

— Кто же знал, что вам требуется не «дин... дон», а «динь-дир-линь»?

— На здравый смысл надо было полагаться! — сказал проповедник Хаушо, оттачивая моего старика от двери. — Да вообще, кто не понимает разницы между буханьем и перезвоном, того подпускать нельзя к церковному колоколу.

Гости, которые пришли на свадьбу, тоже начали обвинять моего старика, что он снова распалил вражду между Уиллисами и Тингами. Мисс Сузи, уже давно обливавшаяся слезами на хорах, кинулась домой, попрежнему с букетом в руках. Джула и Губерта нигде не было видно, они, наверное, разошлись по домам умываться.

— Значит, вам не понравилось, как я звонил? — спросил мой старик.

— Вот именно, мистер Страуп! — сказал проповедник, изо всех сил толкнув папу вниз по ступенькам, так что он еле удержался на ногах.

— Тогда не смейте больше являться ко мне в дом и не просите меня слушать ваши проповеди, — сказал папа, боком отступая от него. — Если вам не нравится мой звон, я на ваши проповеди тоже не ходок.

Проповедник Хаушо ушел в притвор. Он почти скрылся у нас из виду, когда мой старик окликнул его.

— А как же будет, если я захочу прижиться к общепринятой религии? — крикнул папа. — Вдруг мне покажется, что надо верить не на свой собственный лад, а как все люди? Не оставаться же мне на бобах, когда все прочие обретут спасение и вознесутся в царство небесное?

Проповедник Хаушо высунул голову из-за двери.

— Вам у баптистов или у методистов лучше будет, — сказал он. — А наша церковь как-нибудь и без вас обойдется, мистер Страуп.

3. МОЙ СТАРИК И СОЛОМЕННАЯ ВДОВУШКА

В тот день мой старик встал раньше обычного и, никому не сказавшись, ушел из дому, а мама была так занята приготовлениями к стирке, что ничего у него не спросила.

Обычно, когда мама спрашивала, куда он уходит, мой старик говорил, что ему надо повидать одного человека по одному делу на окраине города или что тут неподалеку нашлась кое-какая работа. Если б мама не была занята в то утро, я просто не знаю, как бы он объяснил свою отлучку.

Он встал раньше всех, направился прямо на кухню и сам приготовил себе завтрак. Я только-только успел одеться, а мой старик уже запряг Иду. Он заб-

рался в тележку и выехал со двора на улицу.

— Па, можно мне с тобой? — спросил я моего старика. Я бежал рядом с тележкой, держась за крыло, и просился, чтобы он взял меня. — Па, ну пожалуйста! — говорил я.

— Сейчас нельзя, сынок, — сказал он и, стегнув Иду вожжами, пустил ее рысью. — Если ты мне понадобишься, я за тобой пришло.

Они с грохотом покатали по улице и скрылись за углом.

Когда я вернулся домой, мама разжигала плиту на кухне.

Я сел к столу, дожидаясь, когда она даст мне поесть, но про папу ничего ей не сказал. Мне было очень грустно, что папа с Идой куда-то уехали, а меня оставили дома, и я ни с кем не хотел разговаривать, даже с мамой. Я сидел за столом возле плиты и ждал молча.

Мама послала наспех и ушла во двор разводить огонь под бельевым баком.

В то же утро, только позже, к нам на задний двор явилась миссис Сингер, которая жила по-соседству с нами, на углу. Я увидел ее раньше мамы, потому что с самого утра сидел на крыльце, поджидая своего старика.

Миссис Сингер подошла к скамье, на которой мама стирала. Несколько минут она стояла молча. Потом вдруг нагнулась над лоханью и спросила маму, знает ли она, где папа.

— Дрыхнет где-нибудь в тени, если только не лень с пекла передвинуться, — сказала мама, даже не поднимая головы от стиральной доски.

— Я, Марта, серьезно говорю, — сказала миссис Сингер и придвинулась к маме вплотную. — Очень серьезно.

Мама оглянулась и увидела, что я сижу на ступеньках крыльца.

— Вильям, ступай в комнаты, — сердито сказала она.

Я поднялся на крыльцо и дошел до кухонной двери. Оттуда тоже все было слышно.

— Слушайте, Марта, — сказала миссис Сингер, наклонясь вперед и кладя руку на край лохани. — Я не сплетница и не хочу, чтобы вы меня считали сплетницей. А все-таки вам следует знать правду.

— А что такое? — спросила мама.

— Мистер Страуп сидит сейчас у миссис Везерби, — быстро проговорила миссис Сингер. — Подождите, это еще не все. Он там с самого утра. И они одни, с глазу на глаз.

— А откуда вы это знаете? — спросила мама, выпрямляясь.

— Я проходила мимо и сама его видела, собственными глазами, — ответила миссис Сингер. — И сочла своим долгом сказать вам об этом.

Миссис Везерби была молоденькая со-ломенная вдовушка, которая жила одна на окраине нашего города. Она пробыла замужем всего два месяца, а потом, в одно прекрасное утро муж ушел от нее и больше не вернулся.

— Что же там понадобилось Моррису Страупу? — сказала мама так громко, словно во всем была виновата миссис Сингер.

— Ну, Марта, уж это не мое дело вам объяснять, — ответила та, попятившись от мамы. — Я только считаю своим христианским долгом предупредить вас.

Она вышла со двора и быстро завернула за угол дома. Мама нагнулась над лоханью и с такой силой принялась взбивать пену, что вода выплеснулась на землю. Потом она круто повернулась и зашагала по двору, вытирая на ходу руки о фартук.

— Вильям! — крикнула она, — ступай в комнаты и сиди там пока я не вернусь. Мама тебе приказывает, Вильям! Слышишь, Вильям?

— Слышу, ма, — сказал я, пятясь к двери.

Она быстро вышла со двора и зашагала вверх по улице. К дому миссис Везерби так и надо было идти. Она жила почти в миле от нас.

Я спрятался на заднем крыльце и стоял там до тех пор, пока мама не перешла улицу на перекрестке, а потом обогнул дом и бросился напрямик к реке, через пустырь мистера Джо Хэмонда. Я знал этот путь к дому миссис Везерби, потому что мы с Хэнсомом Брауном ходили так на охоту за кроликами. Хэнсом говорил, что к каждому месту надо уметь пройти напрямик — иной раз вот как пригодится. И я обрадовался, когда вспомнил про этот путь к дому миссис Везерби, потому что если б я шел позади мамы, она бы меня увидела.

Я всю дорогу бежал, держась поближе к ивянку вдоль речки, как мы всегда делали с Хэнсомом на охоте за кроликами. Потом, когда впереди показался дом миссис Везерби, я остановился и стал высматривать папу. Но его нигде не было видно. Ни его, ни самой миссис Везерби.

Тогда я перешел речку вброд и побегал проулкам, держась поближе к изгороди, сплошь увитой жимолостью.

Мне ничего не стоило добежать до садика миссис Везерби и, выглянув из-за углового столба, я сразу увидел у садовой калитки нашу Иду. Ида стояла там и отмахивалась хвостом от мух. Она, наверное, сразу же меня узнала, потому что уши у нее вытянулись в струнку и так и застыли.

Я пустился ползком вдоль садовой ограды, поглядывая на задний двор миссис Везерби, и вдруг увидел маму. Она

вприпрыжку неслась по полю, перескакивая через ряды хлопка.

И тут я услышал громкое хихиканье. Я повернул голову и, даже не вставая колен, увидел миссис Везерби и своего старика. Миссис Везерби была сама не своя и заливалась точь-в-точь как девчонки в школе, когда у них заведется какой-нибудь секрет. Сначала мне были видны только ее голые ноги, которыми она что есть мочи дрыгала, свесив их с крыльца. Потом я увидел и своего старика — он стоял рядом с крыльцом и щекотал миссис Везерби куриным перышком. Она врестяжку лежала на крыльце, а он стоял рядом и куриным перышком щекотал ей босые ступни. Стоило только миссис Везерби взвизгнуть погромче и мой старик так и подскакивал на месте. Ее туфли и чулки валялись тут же на крыльце.

Миссис Везерби была не такая старая, как другие замужние женщины, потому что весной, перед самым своим замужеством, она еще ходила в городскую школу, а соломенной вдовой сделалась всего три-четыре месяца назад. Она извивалась всем телом, лежа на спине, дрыгала ногами и так визжала и хихикала, будто того и гляди помрет, если мой старик не перестанет щекотать ей ноги куриным перышком. Время от времени она вскрикивала во весь голос, и тут-то самая потеха и начиналась, потому что, заслышав ее визг, мой старик подпрыгивал на месте точно кенгуру.

Я так загляделся на миссис Везерби и на своего старика, что забыл про маму, и вдруг взглянул во двор, а она совсем близко. Мама шла прямо к крыльцу.

Дальше дела пошли так быстро, что уследить за всем не было никакой возможности. Перво-наперво мама вцепилась в волосы моему старику, рванула его на себя и сбила с ног. Потом ухватила миссис Везерби за голую ногу и что есть мочи укусила ее за ступню. Миссис Везерби так взвыла, что, наверное, в Сикаморе было слышно.

Она приподнялась с крыльца, а мама накинулась на нее и ухватилась за ворот. Платье треснуло сверху донизу и отстало от нее, точно обои от стены. Миссис Везерби как увидела это, так взвыла еще громче.

Но мама опять накинулась на моего старика. Он сидел на земле и с перепугу боялся шевельнуться.

— Это еще что за новости, Моррис Страуп? — крикнула мама.

— Да бог с тобой, Марта! Я хотел доброе дело сделать, помочь бедной вдове, — сказал папа, глядя на маму так, как он всегда глядел, когда пугался чего-нибудь. — У нее овощи совсем заглобли. Вот я и решил, дай-ка, думаю, прой-

дусь плугом по ее огороду, и привел сюда нашу Иду.

Мама круто повернулась и снова бросилась на миссис Везерби. На этот раз ей удалось вцепиться только в волосы.

— Так, так, Моррис Страуп! — сказала мама, поворачивая голову и глядя на моего старика. — Если пощекотать соломенной вдове ноги куриным пером, так от этого овощи куда лучше будут расти.

— Да что ты, Марта! — сказал он, отъезжая от мамы подальше. — У меня совсем другое было на уме. Просто я увидел, что у бедной вдовы весь огород зарос сорняком, и решил сделать доброе дело.

— Молчать, Моррис Страуп! — сказала мама. — Нехватает еще, чтобы вы всю вину на Иду свалили!

— Да что ты, Марта! — сказал мой старик, отъезжая еще дальше. — Зачем же так все поворачивать? Ведь она бедная вдова.

— Это уж мое дело, как поворачивать! — сказала мама, притопнув ногой. — Я хожу собираю молочай, чтобы не умереть с голоду, а он разезжает повсюду со своим ослом и с плугом и огороды перепахивает у разных соломенных вдовушек. Да еще голые ноги им щекочет куриными перьями! Хорошо, нечего сказать!

Мой старик открыл было рот, собираясь что-то ответить, но тут мама отпустила миссис Везерби и схватила его за лямки комбинезона, не дав ему выговорить ни слова. Потом она быстро повела его к столбу, у которого была привязана Ида.

Все еще держа моего старика одной рукой, мама взяла другой Иду под уздцы и зашагала по хлопковому полю к нашему дому. Ида чувствовала, что дело не ладно, и, не заставляя понукать себя, рысцой поспевала за мамой.

Я пустился бегом к речке, торопясь поскорее добраться до дому. И поспел за какую-нибудь минуту до них.

Когда мама появилась во дворе, ведя одной рукой Иду, другой моего старика, я не удержался и фыркнул, глядя на эту парочку. Физиономия у Иды была такая же смущенная, как и у моего старика.

Мама посмотрела на крыльцо и увидела меня.

— Перестань, Вильям! — сердито сказала она. — В отца пошел, такой же безобразник!

Мой старик покосился на меня. Он подмигнул мне правым глазом и покорно, как щенок, зашагал следом за мамой к конюшне. Но перед тем, как войти туда, мой старик нагнулся и поднял с земли куриное перо. Пока мама

вводила Иду в стойло, он сунул перо в карман, — поглубже, чтобы никто не видел.

4. ЧТО БЫЛО, КОГДА МАМА УЕХАЛА ПОГОСТИТЬ К ТЕТЕ БЕССИ

Мама поднялась рано, приготовила нам завтрак и оставила его на плите, чтобы не остыл. Когда она уезжала с дядей Беном на ферму погостить у тети Бесси, я уже проснулся, но мой старик все еще лежал, закутавшись с головой в одеяло. Как только они отъехали, папа выглянул из-под одеяла и спросил, не наказывала ли чего-нибудь мама перед отъездом. Но она, должно быть, думала, что мы еще спим, и ничего не сказала. Так я ему и ответил.

Пока мы одевались, папа говорил, что нам никак нельзя ударить в грязь лицом — надо одним справляться без мамы. Мама уезжала погостить к своей сестре раз, а то и два раза в лето. Она говорила, что это единственный ее отдых. и что она ездила бы чаще, да боится оставлять дом без присмотра.

— Хоть один денек, а поживем холостячки. Лучше ничего быть не может, — сказал папа. — Иной раз приятно, когда и духа женского нет в доме.

После завтрака мой старик вышел во двор и растянулся на солнышке. Становилось жарко, и в небе не было ни облачка.

— Славный денек, — сказал мой старик, поворачиваясь набок и глядя на меня. — Солнышко светит, и весь мир перед тобой открыт, делай, что хочешь. Жалко, что мама не может ездить к тете Бесси почаще.

Он подошел к изгороди и облокотился на нее. Я заметил, что мой старик смотрит на воробьев, которые копошились в огороде под капустой. Он постоял так несколько минут, потом поднял с земли камень и швырнул им в воробьев.

— Поедем, сынок, на рыбную ловлю, — сказал мой старик, оборачиваясь. — Сейчас самое время удить рыбу. Пойди, заприги Иду.

Я тут же побежал к конюшне, вывел Иду во двор и принялся начищать ее скребницей. Папа велел мне почистить ее как следует и заложить в тележку.

— Я сейчас схожу в лавку, а как вернусь, так сразу и поедем, — сказал он. — Надо купить табак.

Он слезил в курятник, вынул из гнезда два яйца и сунул их в карман — в обмен на табак.

— Чисть Иду, чисть, сынок. Чтобы она вся лоснилась, — сказал мой старик, выходя на улицу. — В такой славный денек пусть и наша Ида покрасуется.

— Па, а кто накопает червей? — спросил я.

Он остановился, минутку подумал и сказал, чтобы о червях позаботился Хэнсом Браун.

Мой старик отправился в лавку, а я крикнул Хэнсома. Хэнсом подошел к конюшне, улыбаясь от уха до уха.

— Я очень рад, что мистер Моррис собирается на рыбную ловлю, — сказал Хэнсом. — Меня давно подмывает рыбку поудить.

Хэнсом взял лопату и пошел за конюшню, где под кустом персидской сирени земля была влажная. Он принялся за дело, ни минуты не медля.

Пока я запрягал Иду, Хэнсом успел накопать целую консервную банку червей. В ожидании папы мы сели в тележку. Ждать его пришлось недолго, но я давно не видел, чтобы мой старик так торопился. Он почти бежал. Я уже протянул ему возжи, но он схватил Иду под уздцы, подвел ее к забору и в один миг привязал к столбу.

— Па, что случилось? — спросил я. — Теперь не до рыбной ловли, — сказал он. — С этим можно подождать. Сейчас займемся другими делами.

— Почему, па? — спросил я. — Почему не до рыбной ловли?

— Мистер Моррис, — сказал Хэнсом, поднимаясь в тележке во весь рост. — Я накопал большущую банку червей. Вы таких жирных еще и не видывали. Если мы не поедем на речку, сколько добра зря пропадет! Ведь это загляденье, а не черви, мистер Моррис!

Мой старик зашачал к заднему двору, знаками приглашая нас за собой. Мы вылезли из тележки и пошли посмотреть, что он будет там делать.

Когда мы вышли на задний двор, я увидел, что папа стал на четвереньки и лезет под крыльцо. Я тоже полез следом за ним.

— Па, чего ты здесь ищешь? — спросил я. — Что здесь может быть под домом?

— Железный лом, сынок, — сказал мой старик. Он стал разгребать сухую землю руками и откопал какое-то ржавое колесо, должно быть от швейной машинки. — Сколько у нас этого железного лома везде валяется! Вот и соберем его. К нам в город приехал скупщик, принимает разное железо и платит за него хорошие деньги — пятьдесят центов за сто фунтов. Как же упускать такой случай? Он, может, больше никогда и не приедет в Сикамору. Что же убыток-то терпеть! Ведь деньги сами в руки идут. Давайте не поленимся и соберем все, что у нас есть.

Я оглянулся и увидел Хэнсома, который тоже полз за нами на четвереньках.

— Мистер Моррис, а что мы здесь будем делать под домом? — спросил он.

— Собирать старое железо, — сказал папа. — Ну, пошевеливайся, помогай нам.

— Очень нужно тратить попусту время на старые железки, — сказал Хэнсом. — Ведь мы собирались рыбу удить!

— Ты, Хэнсом, лучше помалкивай, — сказал папа. — Дерзить вздумал? Делай, что тебе велено.

Хэнсом пополз под самый дом, борюча что-то вполголоса. Время от времени он останавливался и шарил руками в пыли, но как-то вяло, без всякого интереса.

— Па, а когда мы кончим собирать старое железо, поедем удить рыбу? — спросил я.

— Вот соберем все, продадим и сразу же поедем, — сказал он. — Если мы втроем как следует примемся за дело, так мигом кончим. И на рыбную ловлю самое лучшее время останется, ведь мама вернется только вечером.

Мы нашли несколько листов от старой печи и железный обод с колеса. Все это было вынесено во двор и свалено у забора. Потом мы нашли много разной рухляди в дровяном сарае, а Хэнсом разыскал под лестницей старый кипятильник. Папа притащил откуда-то тяжелое железное колесо и тоже бросил его в общую кучу. После этого мы поработали еще час, перерыли весь мусорный ящик, собрали старые идины подковы, вообще заглянули куда только можно в поисках разных железных вещей.

В полдень папа остановился у собранной нами кучи железного лома и окинул ее взглядом.

— По началу я думал, что будет больше, — сказал он. — Хорошо, если весь этот лом потянет фунтов двести-триста, а нам надо не меньше тысячи. За тысячу фунтов скупщик даст пять долларов. Это, по крайней мере, деньги.

— Мистер Моррис, может, и возиться-то не стоит из-за такой чепухи, — сказал Хэнсом. — А на рыбную ловлю поспеем, время еще есть.

— Ты, Хэнсом, лучше помалкивай, — сказал папа. — Я решил продать железный лом, и продам. Ищи железо и чтобы я тебя больше не слышал.

Он послал нас к переднему крыльцу, а сам вышел через калитку в проулок. Под крыльцом нам с Хэнсомом удалось разыскать несколько ржавых дверных петель. Их тоже бросили в общую кучу.

Мы сели отдохнуть и вдруг увидели мой старик вваливается в калитку с огромной ношей. Он тащил ручку от носа, два утюга, топор, железный бак и много всяких других вещей. Все они показались мне гораздо новее тех, что

мы нашли у себя во дворе, а бак, видимо, был только что снят с огня и не успел еще остыть. Мой старик свалил все это в общую кучу и опять вышел в калитку.

На этот раз он вернулся нагруженный еще больше. У него даже коленки подгибались от такой тяжести, и он еле доплавился с ней до забора. Во второй порции было несколько новеньких французских ключей, каминные щипцы, кочерга, тяжелый чугунный котел и много всякой мелочи.

— И где это вы столько всего разыскали, мистер Моррис? — спросил Хэнсом. — Уж я как стараюсь, а ничего такого не могу найти.

Папа не ответил ему ни слова и только вытер лицо рукавом.

— Па, а теперь что мы будем делать? — спросил я.

— Подъезжай сюда с тележкой, сынок, — сказал он. — Сейчас мы все погрузим, я это отвезу и получу со скупщика деньги. Тысячу фунтов должно потянуть, а то и больше. Я на такие деньги даже не рассчитывал.

Мы с Хэнсомом подвели Иду к куче железного лома и помогли папе погрузить его на тележку. Когда все было сложено, папа вынул воды из ведра, залез в тележку и взял возжи.

— Мистер Моррис, а мы все-таки поедем удить рыбу? — спросил Хэнсом.

— Я скоро вернусь, — сказал папа, стегнув Иду возжами по спине. — Вот получу деньги и тут же вернусь.

Мы с Хэнсомом сели на ступеньки и проводили папу глазами. Мы сидели так очень долго, а солнце поднималось все выше и выше. Наконец Хэнсом пошел в комнаты посмотреть, который час. В это время солнце стояло как раз у нас над головой.

Мы прождали еще час, и вдруг над забором вверх и вниз заходили длинные уши Иды. Мы вскочили со ступенек и бросились папе навстречу. Он стегнул Иду возжами и завернул во двор.

— Мистер Моррис, теперь нам можно ехать на рыбную ловлю? — спросил Хэнсом. — Только давайте поскорее, а то клев кончится.

Папа вылез из тележки, держа в руках пару новеньких резиновых сапог. Он опустил их на землю у нас перед глазами.

— Я как получил со скупщика четыре доллара, — сказал папа, отступая назад и глядя на свою обнову, — так и вспомнил, что в лавке у Фрэнка Данна есть резиновые сапоги. Мне давно такие хотелось. И как это я до сих пор без них обходился, просто не знаю!

— А что вы будете с ними делать, мистер Моррис? — спросил Хэнсом.

— Носить, как полагается, — ответил папа.

— Почва у нас песчаная, — сказал Хэнсом. — Что-то я не припомню здесь такой грязи, по которой надо шлепать в резиновых сапогах.

— А какая сырость бывает после дождя, этого ты никогда не замечал? — сказал папа.

— Может, и бывает, — сказал Хэнсом, — только ведь дождь кончился, и через полчаса сухо, а пока эти сапоги найдешь, да пока их натянешь! Я вижу, зря мы все утро убили, поехали бы лучше рыбу удить. Вечером вернется миссис Марта, а мне целый год такого случая не представится. Сколько б мы рыбы наловили, пока вы тут всякой чепухой занимались из-за этих сапог.

— Думай, что говоришь! — сказал папа. — Смотри, Хэнсом, я-то поеду на речку, а ты как бы дома не остался.

— Нет, мистер Моррис! Пожалуйста, не надо так делать, — сказал Хэнсом. — Я ничего плохого не говорил про ваши сапоги. Я таких красивых сапог в жизни своей ни видел. Да в дождь без них не обойдешься. Вот бы мне такие сапоги! Ух, я бы важный ходил!

Папа подошел к ведру и спить хлебнул воды. Потом вернулся обратно и положил руку на крыло тележки.

— Сынок, а где жестянка с червями? — спросил он.

Я сбегал и принес червей, и мы все троим уселись в тележку. Папа взял возжи и хотел было стегнуть Иду по спине, но в эту минуту в нашу калитку бегом вбежала миссис Фуллер. Миссис Фуллер жила на соседней улице, она была вдова и кормилась тем, что брала нахлебников. Ей было лет пятьдесят или шестьдесят и она вечно на что-нибудь жаловалась.

— Одну минуточку, Моррис Страуп! — крикнула миссис Фуллер, подбегая к тележке и вырывая у папы возжи.

Папа хотел вылезти, но она загородила ему дорогу.

— Где все те вещи, которые вы унесли у меня с заднего крыльца, Моррис Страуп? — сказала миссис Фуллер. — В доме ни капли воды нет и накачать нельзя, потому что вы утащили у меня ручку от насоса.

— Тут что-то не так, — сказал папа. — Вы же меня знаете, разве я позволю себе утащить у соседей ручку от насоса.

— Моррис Страуп, мой жилец видел, как вы шмыгнули к нам во двор и схватили много всякого добра, в том числе и ручку от насоса, — сказала она, грозя папе пальцем. — Утюги унесли, щипцы и кочергу унесли, да, наверное, не только это. Сейчас же все верните, не то я позову шерифа.

Хэнсом незаметно слез с тележки и стал пятиться к дровяному сараю. Он уже приоткрыл дверь сарая, но в эту мину-

ту мой старик оглянулся и увидел его.

— Хэнсом Браун, пойдй сюда, — сказал папа. Хэнсом застыл на месте.

— Я должен перед вами извиниться, миссис Фуллер, — сказал папа. — Это все случайно вышло. Я шел сегодня вашим переулком, вижу, валяются какие-то ржавые железки. Я решил, что вы их просто выбросили, и отшвырнул ногой в сторону. Мне думалось, я вам одолжение делаю. Мои ребята затеяли уборку во дворе, вот ваши вещи вместе с нашими и попали.

— Вы лучше самому себе сделайте одолжения, если не хотите попасть в тюрьму, — сказала миссис Фуллер. Мой старик опять кликнул Хэнсома, а миссис Фуллер повернулась и вышла в калитку.

— Хэнсом, — сказал папа, — принеси мне эти резиновые сапоги.

Хэнсом сходил к крыльцу и вернулся с сапогами.

— Вот тебе хороший урок, — сказал папа. — В следующий раз будешь знать как хватать все, что ни попадется под руку. Может, у этих вещей хозяева есть!

— Я хватал? — сказала Хэнсом; трясясь всем телом. — Это вы мне говорите, мистер Моррис?

Папа сунул ему резиновые сапоги. Хэнсом взял их и тут же бросил.

— Отнеси эти сапоги в лавку мистера Фрэнка Данна и скажи, что они тебе не лезут. И попросишь деньги обратно.

— Мне отнести? — сказал Хэнсом, потягившись, — мне?

Папа кивнул.

— А когда получишь деньги за сапоги, — продолжал мой старик, — ступай к скрущику и скажи ему, что ты передумал — верните, мол, мне весь мой железный лом. Потом отдай четыре доллара и отбери то, что ты ему продал. Как отберешь — да смотри, не забудь ручку от насоса! — так наваливай на тележку и вези домой. Вернешься, тогда можешь отлатать миссис Фуллер, что она требует.

— Вы мне это говорите, мистер Моррис? — сказал Хэнсом. — Вы, может, перепутали? Ведь резиновые сапоги не мои, а...

Папа поднял сапоги и вложил их Хэнсому в руки.

— Ты так ослабил меня с моей покупкой, — и ненужная это вещь, и грязно у нас никогда не бывает! Вот я и подарил их тебе.

— Подарили? — спросил Хэнсом. — Когда же это было, мистер Моррис?

— Да не так давно, — сказал папа.

— Мистер Моррис! — сказал Хэнсом. — Вот честное слово, я в жизни своей не собирался заводить резиновые сапоги! На что другое, а на это я никогда не зарился.

Хэнсом совал сапоги папе, а папа совал их обратно Хэнсому. Хэнсом дро-

жал всем телом и пытался сказать что-то.

— Ну, будет разговаривать, делай, как приказано, — крикнул на него мой старик. — А то погода хорошая, а тебя вдруг в тюрьму поведут.

Мой старик вложил ему в руки возжи и подсадил в тележку. Потом поднял с земли сапоги и швырнул их туда же.

Затем он хлопнул Иду по спине, и она рысцой тронулась со двора на улицу. Хэнсом обеими руками держался за сидение и так громко стонал, что его и след простыл, а нам все еще были слышны эти стоны за несколько улиц.

Мой старик подошел к жестянке с червями и долго смотрел на нее. Потом поднял и велел мне принести лопату. Мы зашли за сарай, где Хэнсом копал утром червей, и папа вывалил всю жестянку на землю.

Черви начали распозаться во все стороны, но мой старик взял палку и столкнул их в яму, вырытую Хэнсомом.

— Засыпь их землицей, сынок, — сказал он. — Им так вольготнее будет. Сегодня уж поздно собираться на речку, зато в следующий раз, когда мама уедет к тете Бесси, мы половим рыбку в свое удовольствие!

Я засыпал яму, а мой старик примял землю руками, чтобы черви жили в прохладе и в сырости до того самого дня, когда они снова нам понадобятся.

5. ХЭНСОМ БРАУН И ДЛИННОХВОСТЫЕ ДЯТЛЫ

Длиннохвостые дятлы с давних пор не давали нам покоя. Сначала их было не очень много, но весной они свили гнезда, и когда птенцы подросли и начали долбить дерево, по утрам около нашего дома поднималась такая стукотня, что никто не мог спать. Дятлы жили на строй, давно высохшей смоквице у нас во дворе, и мама говорила, что правильнее всего срубить ее. Но мой старик заявил, что ему легче видеть, как республиканцы будут до скончания века поучать большинство у нас на окружных выборах, чем расстаться с этой смоквицей. Он возился с ней с тех пор, как я себя помню — подстригал сухие ветки и обводил дятловины известью. Подконец на смоквице не осталось ни сучка, и она торчала у нас во дворе, как телеграфный столб.

Длиннохвостые дятлы жили на самой верхушке ствола. Они выдолбили на нем столько дятловин, что я и счет им потерял. Хэнсом Браун как-то подсчитывал, и по его словам дятловин было не то сорок, не то пятьдесят. В начале лета, когда птенцы вылетели из гнезд и принялись долбить смоквицу, на ней ко-

пошилось не меньше десяти-пятнадцати птиц сразу. Но хуже всего бывало по утрам. Дятлы просыпались когда чуть брезжило и начинали стучать носами по сухому стволу, — стаями, шум по двадцать, по тридцать, как уверял мой старик, — и это продолжалось до шести, а то и до семи часов утра.

— Мистер Моррис, — сказал как-то Хэнсом, — я могу достать двустволку, и тогда мы живо с ними разделаемся.

— Попробуй только, застрели мне хоть одного дятла, — сказала папа. — Это все равно, что убить нашего окружного шерифа. Упеку тебя в арестантские роты на всю жизнь.

— Нет, нет, мистер Моррис! Пожалуйста, не надо, — сказал Хэнсом. — Что другое, только не это.

Тук-тук-тук, раздававшееся на смоковнице, становилось просто нестерпимым. Дни прибавлялись, значит, с каждым утром дятлы начинали стучать все раньше и раньше. Мой старик уверял, что теперь они просыпаются и начинают долбить смоковницу с половины четвертого утра.

— Будь это мои дятлы, — сказал Хэнсом, — я бы их распугал, а дерево срубил. Тогда не стали бы стучать.

— Думай, что говоришь, Хэнсом Браун! — сказал ему папа. — Если хоть с одним даже самым маленьким птенцом или с моей смоковницей что-нибудь случится, проклянешь ты тот час, когда впервые увидел длиннохвостого дятла.

Днем на дятлов никто особенно не жаловался, потому что они улетали за кормом или отдыхали, и если один какой-нибудь начинал стучать, остальные не составляли ему компании, как это бывало по утрам, часа по два подряд. Мой старик любил послушать такого одиночку и говорил, что с ним вроде как веселей. Мама много на этот счет не разговаривала, а только грозила срубить смоковницу, если папа не позаботится прекратить это тук-тук-тук, которое будило нас еще до рассвета.

И вдруг, в одно прекрасное утро, мы услышали такую стужотно за час до восхода солнца, что просто ушам своим не поверили. Точно в стены нашего дома лупили молотками человек сорок-пятьдесят. Мама чиркнула спичкой и посмотрела на часы, стоявшие на камине. Было три часа. Мой старик встал, надел брюки и башмаки и засветил фонарь на заднем крыльце. Потом он вышел во двор и крикнул Хэнсома. Хэнсом спал на сеновале над дровяным сараем. Папа велел ему одеваться и выходить во двор.

— Глаз не дают сомкнуть эти дятлы, — сказал папа Хэнсому. — Пойдем ка со мной к смоковнице, надо их утихомирить.

Я встал с кровати и выглянул в окно. Смоковница стояла от него пагах в десяти, и при свете фонаря мне все было видно. Хэнсом, волоча ноги, плелся по двору и зевал.

— Хэнсом, — сказал папа, — надо что-то придумать, как-то утихомирить их.

— Что же вы решили придумать, мистер Моррис? — спросил Хэнсом, прислонившись к смоковнице и зевнув еще раз.

— Полезай туда, может, они перестанут стучать, — сказала папа.

— То-есть как, мистер Моррис? Куда лезть — на эту смоковницу?

— Конечно, на эту, — сказала папа, — Ну, лезь сию минуту. Я хочу еще поспать до рассвета.

Хэнсом шагнул назад и стал всматриваться в темноту, которая скрывала верхушку смоковницы. Фонарь освещал ее только до половины, и разглядеть дятлов снизу было невозможно. Мы слышали, как они долбят сухой ствол, и времени от времени на землю большими лаптами сыпались кора и щепки.

— Мне туда не залезть, — заартачился Хэнсом. — Я не умею лазать на деревья без сучков. Чутьочку поднимешься, и опять сползешь вниз. Держаться то не за что.

— Брось, брось! — сказал папа. — Лишь бы до дятловин долезть, а там будешь цепляться за них ногами, и все пойдет как по маслу.

Мой старик подтолкнул Хэнсома к смоковнице. Хэнсом обхватил ее руками, меряя толщину ствола. Он стоял так с ней в обнимку и застонал.

— Мне никогда не приходилось братья за такое дело, мистер Моррис, — сказал Хэнсом, отступая назад. — Я боюсь.

Он посмотрел вверх, в темноту. Нам было слышно, как дятлы что есть мочи наяривают носами по смоковнице. Они долбили с такой силой, что не только само дерево дрожало сверху донизу, но даже стекла у нас в доме и те начали дребезжать.

Мой старик толкнул Хэнсома еще сильнее и заставил его немного подняться вверх по стволу. Хэнсому стоило только начать, а дальше он полез как белка. Больше я ничего не мог разглядеть, потому что как только Хэнсом скрылся из виду, папа погасил фонарь. Он сказал, что без фонаря в темноте виднее.

Прошла минута, и наверху все сразу стихло. Дятлы будто передохли там.

— Хэнсом, ну как дела? — крикнул папа.

— Ответа не было. Мы с папой прислушались и слышим — кто-то дышит, как запыхавшаяся собака.

— Хэнсом, ну что ты там? — крикнул папа.

Сверху, прямо ему на голову, с шумом посыпалась сухая кора.

— Мистер Моррис! — сказал Хэнсом, — сделайте что-нибудь, спасите меня скорее!

— Что случилось?

— Эти дятлы меня долбят, будто я дерево, — сказал Хэнсом. — Неужели вы не слышите, мистер Моррис, как они меня долбят?

— Ничего я не слышу, — сказал папа. — А ты не расстраивайся, Хэнсом. Не обращай на них внимания. Держись крепче, да пугни их еще разок. Все-таки потише стало, когда ты туда залез.

— Это потому, что они не дерево долбят, а меня, мистер Моррис, — сказал Хэнсом. — Я не могу их отогнать, ведь мне надо держаться!

— А ты делай свое дело, не обращай на них внимания, — сказал папа. — Глядишь, они и затихнут.

— Да они меня в затылок долбят. Мне больно, мистер Моррис! Как бы голову не продолбили!

— Что ты чепуху мелешь! — сказал папа. — Сколько лет живу на свете, и никогда не слышал, чтобы птицы долбили людей.

Папа отошел от дерева и направился к заднему крыльцу.

— Ты молодец, Хэнсом, все-таки утихомирил их, — сказал он. — Посиди там еще, посмотри, чтобы они опять не вздумали стучать.

— Мистер Моррис! — заорал Хэнсом. — Куда же вы пошли, мистер Моррис! Не уходите, не бросайте меня! Ведь я здесь один с этими дятлами!

Папа вошел в дом, и я слышал, как он снял башмаки и швырнул их на пол возле кровати. С верхушки смоковницы донеслись стоны Хэнсома. Он постонал-постонал, а потом все стихло. Папа лег и с головой закрылся одеялом.

Как только рассвело, я встал с кровати и подошел к окну. Хэнсом все еще торчал на смоковнице, но в такой позе, что, казалось, он вот-вот сорвется и рухнет вниз. Тут я услышал, что папа тоже встал и одевается. Я поскорее натянул комбинезон и рубашку и побежал за ним во двор.

Мы подошли к смоковнице и увидели, что Хэнсом висит на ней, обхватив ствол обеими руками и ногами. Он торчал там как огородное пугало, цепляясь большим пальцем правой ноги за дятловину.

Но смешнее всего было то, что дятлы облепили Хэнсома с головы до ног. Несколькo штук обсади ему макушку и плечи, остальные примостились на руках и ногах. На Хэнсома сидело не меньше тридцати дятлов.

Вдруг один дятел проснулся и закричал пронзительным голосом. Этот крик разбудил других, и они принялись долбить Хэнсома. Дятлы, должно быть, выбились из сил, заснули, потом

проснулись и сразу вспомнили про Хэнсома. Он вздрогнул и тоже проснулся.

— Мистер Моррис! Мистер Моррис! — заорал Хэнсом. — Где вы, мистер Моррис? — Мы с папой обошли смоковницу кругом и посмотрели на ее верхушку. Дятлы кружили над Хэнсомом, отыскивая на нем местечки повкуснее. Он взмахнул одной рукой, пытаясь отогнать их. Они отлетели на минутку и тут же накупились на него с прежним рвением.

— Слезай, Хэнсом, — сказал папа. — Я выспааса.

Хэнсом посмотрел на нас сверху. Потом отогнал птиц одной рукой и, отцепившись от дятловины, передвинул большой палец пониже. Он медленно пополз вниз по стволу, не переставая отмахиваться от дятлов.

Как только его ноги коснулись земли, он обмяк всем телом, словно мешок, до половины насыпанный картошкой. Папа подхватил его и помог ему подняться.

— Что это, какой у тебя замученный вид, Хэнсом? — сказал папа.

Хэнсом взглянул на меня и на папу и ничего не ответил. Он не мог говорить от усталости.

В это время мама вышла из-за угла дома. Дятлы кружили над нами, словно не желая расставаться с Хэнсомом. И вдруг один старый дятел, крупный самец с длинным белым хвостом, совсем обнаглев, спустился еще ниже, сел Хэнсома на голову и тут же принялся долбить его в макушку. Хэнсом так взвыл, что его, наверное, в городе услышали.

— Господи помилуй! — крикнула мама. — Взгляните на Хэнсома. Несчастный! Что у него с головой?

Засмотревшись на то, как Хэнсом спускается со смоковницы, мы с папой совсем не обратили внимания на его вид. Все на нем висело клоачьями — от комбинезона и джемпера остались одни лохмотья. А всего чуднее была его голова.

На ней красовалось пять-шесть больших круглых плашин, точь-в-точь как дятловины на смоковнице, и на них не было ни единого волоска.

Папа описал круг около Хэнсома, оглядывая его с головы до ног. Потом подошел к нему и пощупал плашины — одну, вторую, третью.

— Надо было отгонять дятлов, Хэнсом, а не дрыхнуть, — сказал папа. — Вот теперь сам виноват. Занимался бы делом, ничего бы такого не было. Тебя не спать туда посылали.

— Вы мне не говорили, что спать нельзя, — ответил Хэнсом.

Мой старик оглянулся и посмотрел на маму. Они ничего не сказали друг другу. Мама постояла-постояла и пошла к

кухне. Мы отправились следом за ней, но мама продолжала молчать. Не говоря ни слова, она поставила перед нами тарелки и положила мне две сосиски с овсяной кашей.

6. МОЙ СТАРИК И ТЕЛОЧКА

Однажды мой старик вскочил еще до света и, не сказавшись ни мне ни маме, ушел на рыбную ловлю. Он всегда норовил уйти с раннего утра, пока мама еще не встала. Ему было хорошо известно, что стоит только ей проведать о его намерениях, как она упрется на своем и никуда его не пустит. Иной раз он уходил из дому на Терновую речку дня на три, на четыре, и чем лучше был клев, тем дольше он пропадал. Моего старика хлебом не корми, только дай ему, посидеть с удочкой.

Бывало, наловит всякой всячины — плотвы, окуней, и прямо с крючка печет их на маленьком костре тут же на берегу. Мой старик говорил, что таскать рыбу домой нет никакого смысла: окуня полагаются сначала обвалить в кукурузной муке, а женщины этого не умеют, и оттого ему не нравятся домашняя стряпня.

В то утро мама хватилась моего старика за завтраком, но ни слова мне не сказала и сделала вид, будто не замечает, что его нет дома. После завтрака я убежал за сарай и стал помогать Хэнсому Брауну лущить кукурузу и сгребать сено для Иды. Мы пробывали за сараем все утро — кололи сосновую лучину и подсчитывали, сколько можно выручить денег, если набрать побольше железного лома и продать его.

В полдень, когда на лесопилке загудел гудок, мама пришла к нам за сарай и спросила Хэнсома, не знает ли он, куда ушел папа. Я не любил ябедничать на своего старика и промолчал, хотя мне все было известно, — Хэнсом уж успел рассказать, что папа звал его на рыбную ловлю.

— Хэнсом Браун, — сказала мама, — отвечай, когда тебя спрашивают? Где мистер Моррис, Хэнсом?

Хэнсом посмотрел сначала на меня, потом на лучину, которую он колол с раннего утра.

— Он где-нибудь здесь, миссис Марта, — немного погодя сказал Хэнсом и так косил на маму глаза, что белки у него стали похожи на тарелки.

— Ты, Хэнсом, прекрасно знаешь, что его нигде нет, — сказала мама, топнув ногой. — Нечего мне хвостом вертеть! Стыдись, Хэнсом!

— Миссис Марта, — сказал Хэнсом,

взглянув маме прямо в лицо, — я вовсе не верчу вам хвостом.

— Тогда говори, где мистер Моррис!

— Может, он пошел в парикмахерскую, миссис Марта? Я слышал, он говорил, что ему надо постричься.

— Хэнсом Браун, — сказала мама, хватая с земли тоненькую веточку, как она всегда делала, когда ей надоело ждать ответа, — я хочу знать правду.

— А я и стараюсь говорить правду, миссис Марта, — сказал Хэнсом. — Может, мистер Моррис на лесопилке? Я слышал, он собирался сходить туда за досками для курятника.

Мама повернулась, отошла к калитке и посмотрела на заднее крыльцо. Когда мой старик не брал удочку, она стояла у него в углу крыльца, и мама знала это не хуже других.

— Миссис Марта, — сказал Хэнсом, — мистер Моррис говорил, что ему надо сходить на какой-то выгон посмотреть каких-то телят.

Мама круто повернулась к нам.

— А тогда зачем ему удочка? — спросила она, строго глядя на Хэнсома.

— Может, мистер Моррис передумал и забыл мне сказать об этом, — ответил Хэнсом. — Может, он решил, что в такую погоду не стоит смотреть телят.

— Врать в такую погоду тоже не стоит, — сказала мама и, открыв калитку, направилась к дому.

Хэнсом вскочил и со всех ног кинулся за ней.

— Миссис Марта, я говорю, как мне мистер Моррис велел. Я сам не стану врать, миссис Марта, вы же знаете. Мне так мистер Моррис велел, а я всегда стараюсь делать, как мне велено. Бывает, что и запутаюсь, если надо говорить правду и туда и сюда.

Мама ушла на кухню и закрыла за собой дверь. Мы долго слышали, как там гремят кастрюльки и сковороды. Потом дверь распахнулась, и мама позвала меня.

— Можешь обедать, Вильям, — сказала она. — Папа тоже мог бы обедать, да только он того не стоит, надо бы его морить голодом всю жизнь.

В эту минуту я взглянул во двор и так и обмер. Торчит над забором голова моего старика — только одни глаза видны! Он стоял там и слушал, стараясь не проронить ни слова. Я толкнул Хэнсома в бок, чтобы он не ляпнул чего-нибудь невпопад и не нажил бы себе беды с моим стариком. Мама догадалась, что за забором кто-то прячется, вышла на крыльцо и привстала на цыпочки. Мой старик мигом спрятал голову, но мама все-таки углядела его. Она пулей вылетела во двор

и распахнула калитку, прежде чем папа успел шмыгнуть за сарай. Мама схватила его за лямки комбинезона и поволокла к крыльцу.

— Вильям, — сказала она мне, — сию минути спугай в комнаты, закрой двери и спусти шторы на окнах. И не смей выходить, пока я тебя не позову.

Я встал и пошел по крыльцу, насколько возможно замедляя шаги. Хэнсом начал пятиться к углу дома, но мама заметила это и вернула его назад.

— Не вздумай удрать, Хэнсом Браун, — сказала она. Мой старик с довольно глупым видом стоял посреди двора рядом с мамой, которая крепко держала его за лямки комбинезона. Он покосился в мою сторону. Мне очень хотелось сказать ему что-нибудь, но я боялся мамы, как бы она чего со мной не сделала.

— Ну-с, Моррис Страуп, признавайтесь, — начала она, подтаскивая папу к нижней ступеньке. — Для чего это вы подводите несчастного негра и заставляете его врать?

Мой старик посмотрел на Хэнсома, а Хэнсом посмотрел себе под ноги. Все долго молчали, и я боялся, как бы мама не погнала меня в комнаты, не дав услышать папин ответ.

— Тут, Марта, что-то не так, — наконец сказал мой старик, глядя на маму. — Что бы я заставлял Хэнсома врать? Да никогда в жизни! Мне это и в голову не приходило.

— Тогда зачем ты велел ему говорить, что идешь смотреть телят, а сам взял удочку и закатился удить рыбу?

Мой старик опять посмотрел на Хэнсома, а Хэнсом ни с того ни с сего уставился на огород.

— Если Хэнсом действительно так говорил, — сказал папа, — то это чистая правда, потому что я там и был и видел замечательных телочек...

Мама очень строго уставилась на него, но смолчала. Она, конечно, не поверила ни одному его слову. Она всегда так смотрела на моего старика, когда злорадно мешала ей выговорить все, что у нее было на душе.

Постояв так, мама позвала меня обедать и ушла на кухню. Мы с папой умылись в тазу, который стоял на полке, вошли в кухню и сели за стол. Мама молча подавала нам, а мы сидели за столом и ели. После обеда мой старик вышел на задний двор и лег у забора, собираясь, по обыкновению, вздремнуть.

Некоторое время все было тихо и мирно. Я поднял случайно голову и увидел, что Хэнсом делает мне знаки. Тогда я прошел на цыпочках через весь двор и отворил калитку так тихо, что она даже не скрипнула.

Хэнсом повел меня за сарай, шепнул что-то на ухо и показал на сиреневый куст возле курятника. У сиреневого куста стояла красивая телочка — я в жизни таких красоток не видел: маленькая, золотисто-рыжей масти, вся как шелковая и с круглым глянцевиным носом. Она стояла в тени, отгоняла мух хвостом и жевала пучок свежей тимофеевки. Вид у нее был такой довольный, что дальше некуда!

Мой старик все еще спал по ту сторону забора, и мы боялись, как бы не разбудить его своим разговором. Хэнсом стал объясняться знаками. Не трудно было понять, что телочка нравится ему не меньше, чем мне. Он несколько раз обшел ее, похлопал по заду и почесал ей нос.

Мы все еще гладили телочку и любовались ею, когда на переднем крыльце кто-то постучал в дверь. Я заглянул через забор и увидел, как мама вышла из кухни и, вытирая на ходу руки о фартук, направилась в комнаты. Тогда я выбежал из-за сарая и на цыпочках подбродил к крыльцу посмотреть, кто это к нам пришел.

На нашем переднем крыльце стоял какой-то человек в комбинезоне и в соломенной шляпе. В эту минуту мама открыла дверь и появилась на пороге.

— Здравствуйте, миссис Страуп, — сказал человек в комбинезоне, снимая шляпу и пряча ее за спину. — Я Джим Уэйд с Терновой речки.

Мама поздоровалась с ним за руку и что-то сказала, но слов ее я не расслышал.

— Я пришел спросить, не попадалась ли вам или мистеру Страупу телка, — сказал мистер Уэйд. — У меня пропала одна сегодня утром, а люди говорили, что не так давно какая-то телка шла к вашему дому.

— Я ничего не знаю, — ответила мама. — Никаких телок я здесь не видела. Мой муж ходил утром на рыбную ловлю, и если б он видел какую-нибудь телку, он бы мне сказал.

Мистер Уэйд оглянулся и посмотрел на улицу.

— Чудное дело! — проговорил он. — А я думал, она здесь и найдется. Мне тут в одной лавке сказали, что незадолго до гудка какая-то телка шла к вашему дому.

Мама все качала головой и говорила, что она за весь день не видела ни одной телки.

— Знаете, миссис Страуп, — сказал мистер Уэйд, тоже качая головой, — все так это очень странно. Один мой работник говорил, что какой-то человек прошел сегодня по тому участку, где у меня растет тимофеевка, нарвал ее целый пучок.

жок и сунул за пазуху. Я тогда не обратил на это внимания, но среди дня второй работник мне говорит, что какой-то человек шел к городу с удочкой на плече, а за ним телка. Он говорил, что этот человек то и дело останавливался, вынимал из-за пазухи тимофеевку и привязывал ее к удочке. Телка так и ушла за ним. А я вскоре ее хватилась. Вот почему мне и кажется, что это очень странно. Просто не знаю, что и подумать. Чудно как-то получается!

Мама, видимо, встревожилась, но ничего ему не сказала.

— Я бы не стал вас беспокоить, миссис Страуп, — продолжал мистер Уэйд, — да мне в городе говорили, что телка шла сюда. Потому я и спросил, не попадалась ли она вам.

Мама простилась с ним за руку и открыла дверь в комнаты. Когда она ушла, мистер Уэйд медленно спустился вниз по ступенькам, озираясь по сторонам. Перед тем как выйти на улицу, он нагнулся и долго смотрел, что у нас делается под домом. Наш дом был построен фута на три, на четыре от земли и под ним хватало бы места не только для большой собаки, но, пожалуй, и для козы. Внимательно осмотрев наш подпол, мистер Уэйд выпрямился, отряхнул пыль с колен и пошел дальше.

Я метнулся назад к сараю. Моего старика нигде не было видно. Хэнсом Браун сидел на заборе спиной к дому и смотрел куда-то вниз. В эту минуту я услышал, как мама идет по комнатам, громко хлопая дверьми, и выскочил в калитку, чтобы не попасться ей на глаза, когда она выйдет на заднее крыльцо.

Я забежал за сарай и вдруг вижу — мой старик стоит под сиреневым кустом и протягивает телочке пучок свежей тимофеевки. Хэнсом попрежнему сидел на заборе, смотрел на них и молчал.

— Красавка, — сказал мой старик, почесывая телочке шею и поглаживая ее по спине.

В эту минуту из калитки выбежала мама. Она как увидела моего старика с телочкой, так и замерла на месте.

— Красавка, — сказал папа, глядя телочку. — Ах ты, Красавка!

Тут мама застонала, папа с Хэнсом обернулись и увидели ее.

— Марта! — сказал мой старик, подходя к сараю и глядя на маму. — Марта, что с тобой? Ты не заболела?

Мама выпрямилась и заплетающимися шагами двинулась к нам.

— Моррис, — слабым голосом проговорила она. — Что ж это, Моррис?

Папа вернулся к телочке и протянул ей пучок тимофеевки.

— Знаешь, Марта, как чудно получилось, — сказал он. — Пошел я утром на Терновую речку, сидел, сидел с удочкой — хоть бы раз клюнуло. Решил, надо уходить, соберусь как-нибудь в другой день. На обратном пути вижу полосу тимофеевки. Трава замечательная! Я взял и нарвал несколько пучков, так она мне понравилась. Потом вышел на дорогу, оглянулся, а за мной идет телочка. Видно, отбилась от стада. Иду дальше — про нее и не думаю, потом уж около самого дома оглянулся еще раз, а она все плетется позади. Подошел к сараю, она за мной. Ну что ж, думаю, дай-ка угощу ее тимофеевкой, которую я нарвал, потому что уж больно она мне понравилась. Правда, чудно получилось?

Мама подошла к телке и усталилась на нее. Телка ела траву и не обращала на нас ни малейшего внимания.

— Вильям, — сказала вдруг мама, поворачиваясь и глядя на меня. — Ступай в дом, закрой двери и спусти шторы на окнах. И сиди там, пока я тебя не позову.

Если мама так прогнала меня, значит, собиралась дать хорошую взбучку мзему старику. Мне бывало не хочется оставлять его одного, когда мама начинает злиться, но приходилось делать так, как она велит.

Кончив говорить со мной, мама повернулась и посмотрела на Хэнсома, который сидел на заборе. Хэнсом мигом прыгнул вниз, не дожидаясь окрика.

— Хэнсом, уйди куда-нибудь и сиди там, пока я за тобой не пришло.

Хэнсом тут же побежал к огороду.

— И если тебя будут спрашивать про телку, Хэнсом Браун, чтобы ты пикнуть не смел, — сказала мама. — А то начнешь врать по своему собственному почину. Держись от людей подальше, пока я за тобой не пришло. Слышишь, Хэнсом?

— Слышу, миссис Марта, — ответил он. — Я так и сделаю. Я всегда стараюсь делать так, как вы мне велите и как мистер Моррис велит.

Хэнсом ушел на огород, а я спрятался за забором.

— Ну, Моррис Страуп, — начала мама, круто поворачиваясь к моему старику. — Как вы теперь будете оправдываться? Небось, успели придумать какую-нибудь небылицу? Ведь с тех пор как вы свели телку у Джима Уэйда времени прошло порядочно. А что хуже всего — это то, что вы несчастного негра, Хэнсома Брауна, запутали в свои воровские дела, да еще заставили его врать!

— Стой, Марта, подожди, — сказал мой старик. — Ты уж очень торопишься. Эта телка сама пришла. Зачем винить меня, если она..

— Зачем винить вас, если вы нарвали чужой травой, привязали ее к удочке и всю дорогу размахивали этой травой перед самым носом у телки, чтобы заманить ее к нам во двор!

Мой старик стоял с довольно глупым видом, должно быть, придумывая, что бы такое ответить, и удивляясь, откуда мама знает про тимофеевку и про все остальное.

Мама очень строго уставилась на него, но больше ничего не сказала. Потом она посмотрела на телочку, которая все еще жевала тимофеевку.

— Телке, видно, понравилось за мной итти, — иначе никак этого не объяснить, — сказал мой старик. — Ты посуды сама, зачем бы ей...

— Как только стемнеет, Моррис Страуп, вы обрадуете эту телку и отведете ее назад, на выгон, откуда она украдена. И если вам кто-нибудь встретится по дороге — негр или белый, все равно — спрячьтесь в кусты и переждите, пока не пройдут. Я не хочу, чтобы люди знали, что вы украли телку и привели ее домой среди бела дня.

Мой старик оглянулся и посмотрел на телочку, а телочка подняла голову и посмотрела на него. Она долго смотрела на моего старика, не переставая жевать тимофеевку.

— А какая она хорошенькая, правда, Марта? — сказал папа, поглаживая телку по носу и по шее. — Красавка! Ах ты, Красавка!

Телка повернула голову и посмотрела на маму. Минуты через две мама подошла к ней и погладила ее по носу. Телочка смотрела маме прямо в лицо, и мама, видно, тоже не могла отвести от нее глаз.

Они долго стояли так и смотрели друг другу в глаза, а мой старик вынул тем временем из-за пазухи еще одну порцию тимофеевки.

— Красавка, — сказала мама, беря тимофеевку у моего старика и протягивая ее телке. — Как подумаешь, что ее надо отвести на выгон, так даже грустно становится. Будет стоять там, а по ночам холодно и в дождливые дни тоже не сладко.

Папа сел под куст сирени и стал смотреть на маму и телку. Теперь вид у него был совсем спокойный.

— Красавка, — сказала мама, поглаживая телочку по носу и по шее. — Ах ты, Красавка!

7. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ ХЭНСОМА БРАУНА

Сразу же после завтрака мама вышла на улицу и отправилась к миссис Хауард поговорить о собрании сикаморского жен-

ского клуба «Прогресс», и последнее ее наставление перед уходом относилось к Хэнсому Брауну — чтобы он перемыл и вытер всю посуду, прополоскал кухонные полотенце и повесил его сушить на солнце и чтобы все это было сделано до ее возвращения. В тот день Хэнсом считал себя свободным от работы, хотя с тех пор как он поступил к нам одиннадцатилетним мальчишкой, у него не было ни одного свободного дня, потому что каждый раз что-нибудь да мешало ему уйти со двора и пробогаться в городе до вечера. Хэнсом не любил торопиться с мытьем посуды, что в будни, что в свой свободный день — да, по правде говоря, для него все дни были одинаковы и, зная это, он всегда находил какой-нибудь предлог, чтобы оттянуть мытье посуды как можно дольше. В то утро сразу же после маминого ухода Хэнсом объявил, что ему хочется есть, отправился на кухню и сварил себе целую кастрюлю обрезков свиной печенки.

Мой старик лежал в растяжку на ступеньках заднего крыльца. Он говорил, что гораздо лучше себя чувствует весь остальной день, если ему удается соснуть утром после завтрака, и пользовался каждым таким случаем. Хэнсом ел печенку не спеша, зная, что после еды надо будет приниматься за мытье посуды. Он все еще сидел у плиты, низко нагнувшись над кастрюлькой, когда на переднем крыльце кто-то постучал в дверь. Так как и папа и Хэнсом были заняты, я сам пошел посмотреть, кто это к нам стучится.

Выйдя на передний двор, я увидел совершенно неизвестную девушку лет семнадцати-двадцати, которая стояла, прижавшись лицом к проволочной сетке на двери, и заглядывала в комнату. Она держала в руке квадратную рыжую сумку вроде небольшого чемоданчика, шляпы на ней не было, и ее длинные каштановые волосы вились по плечам колечками. Я видел эту девушку первый раз в жизни и сразу же решил, что она, верно, кого-нибудь разыскивает в городе. Я стоял и смотрел на нее до тех пор, пока она не взялась за щеколду, пробуя открыть дверь.

— Вам кого нужно? — спросил я, подойдя к крыльцу и остановившись у нижней ступеньки.

Девушка круто повернулась ко мне.

— Здравствуй, мальчик, — сказала она, подходя к лестнице. — Твой папа дома?

— Па спит на заднем крыльце. — ответил я. — Сейчас я ему скажу.

— Подожди минутку! — крикнула она, сбегала вниз по ступенькам и схватила меня за руку. — Покажи мне, где он. Так будет лучше.

— А зачем он вам? — спросил я, удив-

ляясь, откуда она знает моего старика. — Вы, наверное, кого-нибудь ищите у нас в городе?

— Ладно, мальчик, ладно! — улыбнулась она. — Веди меня к нему.

Мы обогнули дом и вошли через калитку на задний двор. При каждом движении девушки меня так и обдавало запахом духов. Чулки у нее с каждым шагом все больше и больше морщились под коленками. Мой старик спал крепким сном, положив голову на верхнюю ступеньку и широко открыв рот. Он всегда так разваливался, если спал на солнце, и уверял, что в другом положении ему неудобно. Хэнсом стоял в дверях кухни и, глядя на нас сквозь проволочную сетку, ел печенку прямо из кастрюли.

Девушка поставила свой чемодан на землю, подтянула чулки и подошла на цыпочках к ступенькам, где лежал мой старик. Потом присела рядом с ним на корточки и обеими руками закрыла ему глаза. Я увидел, что Хэнсом перестал жевать и замер, не донеся до рта полную ложку печенки.

— Отгадай — кто? — крикнула девушка.

По своему обыкновению мой старик рванулся в сторону — это получалось у него само собой, когда мама заставляла его врасплох. Но на этот раз номер не прошел, потому что как только он приподнялся, девушка, не отнимая рук от его лица, запрокинула ему голову назад. Я видел, как у него заходили ноздри от запаха духов — точно у собаки, которая вдруг учует забравшегося на дерево енота.

— Отгадай — кто? — снова крикнула девушка и расхохоталась.

— Уж, наверно, не Марта! — сказал папа, щупая ее руки от кисти до локтя.

— А ну-ка, еще раз! — не унималась девушка.

Мой старик оттолкнул ее руки и с ошалелым видом приподнялся со ступенек.

— Вот так история! — сказал он. — Да вы кто такая?

Все еще смеясь, девушка сбежала с крыльца и кинулась к своему чемодану. Мы трое не спускали с нее глаз, выжидая, что последует дальше, а она тем временем открыла чемодан и вытащила оттуда целую охапку новеньких галстуков. Я такого количества и в магазинах не видел.

Папа потер глаза, прогоняя сон, и устался на девушку, нагнувшуюся над чемоданом.

— Вот этот будет на вас просто восхитительно! — сказала она, вытаскивая галстук в ярко-зеленую и желтую полоску. Потом подошла к папе и набросила гал-

стук ему на шею. — Он прямо-таки создан для вас!

— Для меня? — сказал папа, принюхиваясь к духам, которыми от нее так и разило.

— Ну, конечно! — сказала девушка, склонив голову на бок и оглядывая папу и галстук. — Лучше ничего быть не может!

— Уважаемая! — сказал папа. — Я не знаю, что у вас на уме, но вы только зря время тратите. Мне галстук — все равно, что свинье дамское седло.

— Да вы посмотрите, какая красота! — сказала девушка и, сунув остальные галстуки в чемодан, подошла к моему старику вплотную. — Как он идет к вашему цвету лица!

Она опустила на ступеньки рядом с моим стариком и стала завязывать ему галстук. Они сидели совсем рядышком, и лицо у папы краснело все больше и больше. От ее духов уже нельзя было продохнуть.

— А что вы смыслите в этих делах? — сказал мой старик, и вид у него был такой, словно он сам не понимал, что говорит. — Идет к моему цвету лица? Вот еще новости!

— Давайте посмотрим в зеркало, — сказала девушка, прилаживая ему концы галстука на груди. — Вы только взгляните на себя, и сразу же убедитесь, что этот галстук вам просто необходим. Как он на вас сидит!

Мой старик скосил глаза и посмотрел на улицу, на тот угол, где стоял дом миссис Хауард.

— Зеркало в комнате, — совсем тихо пробормотал он, чтобы никто больше не слышал.

— Так пойдемте туда, — сказала девушка, потянув его за руку.

Она взяла чемодан и направилась прямо в комнаты. Мой старик шел за ней по пятам. Как только они скрылись за дверью, Хэнсом вышел из кухни, и мы с ним побежали кругом дома к тому окну, в которое все можно было увидеть.

— Ну, что я вам говорила? — сказала девушка. — Ведь правда, прелесть? На что угодно спорю, у вас еще никогда не было такого галстука.

— Пожалуй, верно, — сказал папа. — Хорош галстук. И, по-моему, я в нем очень выигрываю — а?

— Ну, еще бы! — сказала она, заходя моему старику за спину и глядя в зеркало через его плечо. — Дайте, я завяжу как следует.

Она стала перед моим стариком и затянула узел галстука потуже. Потом положила руки ему на плечи и улыбнулась. Мой старик отвернул глаза от зеркала и ус-

тавился на нее. Хэнсом беспокойно затоптался на месте.

— Миссис Марта того и гляди вернется домой, — сказал он. — Я бы поостерегся на месте вашего папы. Может выйти большой скандал, если миссис Марта вернется домой и увидит, как он стоит там и ваяет дурака из-за какого-то паршивого галстука. И как это я посуду не вымыл! Ушел бы гулять до ее прихода. Давно бы у меня был свободный день!

Мой старик нагнулся над головой девушки, потянул ноздрями и обнял ее за талию.

— Сколько вы за это хотите? — спросил он.

— Пятьдесят центов, — ответила она. Папа замотал головой.

— Нет у меня таких денег, — грустно сказал он.

— Ну, ну, не скупитесь, — сказала девушка, трякнув его за плечи. — Подумаешь, велики деньги!

— Да у меня их нет, — сказал папа, обнимая ее крепче. — Нет и нет!

— А достать где-нибудь можно?

— Трудновато.

Хэнсом застонал.

— И дался же ему какой-то паршивый галстук! — сказал он. — Все равно ничего хорошего из этого не выйдет. Что-нибудь да стрясется, я это нутром чувствую. Вот всегда так — как где какая беда, я обязательно первый в нее влопаюсь. И почему мой свободный день не начался пока этих галстуков здесь и в помине не было!

Девушка обняла моего старика за шею и прижалась к нему всем телом. Так они стояли долго-долго.

— Может, мне удастся раздобыть где-нибудь полдоллара, — сказал наконец мой старик. — Я как раз об этом и думаю. Пожалуй, раздобуду.

— Хорошо, — сказала девушка, снимая руки с его плеч и отступая назад. — Только поскорее.

— А где вы будете меня ждать — здесь? — спросил он.

— Ну, конечно. Только не пропадите надолго.

Мой старик попятился к двери.

— Ждите здесь, — сказал он. — Никуда отсюда не уходите. Я мигом вернусь.

Ровным счетом через минуту мой старик выскочил на заднее крыльцо.

— Хэнсом! — крикнул он. — Хэнсом Браун!

Хэнсом так застонал, словно у него душа с телом расставалась.

— Что вам от меня нужно в мой свободный день, мистер Моррис? — спросил он, высунув голову из-за угла дома.

— Что нужно, то и нужно, — ответил

папа, сбегая вниз по ступенькам. — Пойдем со мной. Ну, живо!

— Мистер Моррис, а что мы будем делать? — сказал Хэнсом. — Миссис Марта велела мне перемыть всю посуду на кухне до ее прихода. А раз она так велела, я ничего другого делать не могу.

— Подождет твоя посуда, — сказал мой старик. — Все равно, как поедем, так она опять будет грязная. — Он схватил Хэнсома за рукав и поволок его на улицу. — Пошевеливайся! Слушай, что тебе говорят!

Мы шли по улице, а Хэнсом трусил следом за нами, стараясь не отставать. Мы поравнялись с домом мистера Тома Оуэна и завернули к нему во двор. Мистер Оуэн окапывал мотыгой свой огород.

— Том! — крикнул папа, подойдя к огороду. — Я решил отпустить к тебе Хэнсома на весь день, как уговаривались. Пусть сразу же и принимается за работу.

Он втолкнул Хэнсома в калижку и быстро повел его между грядками с капустой и репой к мистеру Оуэну.

— Дай ему мотыгу, Том, — сказал папа, отнимая ее у мистера Оуэна и всовывая Хэнсому в руки.

— Как же так, мистер Моррис! Вы разве забыли, что у меня сегодня свободный день? — сказал Хэнсом. — Я вовсе не хочу копать какой-то паршивый чертополох.

— Ты, Хэнсом, помалкивай, — сказал папа и, повернувшись, трякнул его за плечо. — Знай свое дело!

— Я, мистер Моррис, знаю свое дело, — сказал Хэнсом. — У меня сегодня свободный день — вот какое мое дело.

— У тебя вся жизнь впереди, успеешь нагуляться, — ответил папа. — Ну, нечего! Делай, как тебе велено.

Хэнсом поднял мотыгу и опустил ее на куст чертополоха. Но чертополох был такой жилистый и крепкий, что мотыга отскочила от него по крайней мере на фут.

— Ну, Том, — сказал папа, поворачиваясь к мистеру Оуэну, — теперь давай мне пятьдесят центов.

— До конца дня ничего не дам, — сказал мистер Оуэн, покачав головой. — А вдруг он не наработает на полдоллара? Пожалуй, заплатишь вперед, а там выяснится, что он не стоит таких денег. Это только себе в убыток.

— На этот счет можешь не беспокоиться, — сказал папа. — Уж я позабочусь, чтобы деньги ты платил не зря. Буду заходить сюда время от времени и приглядывать за Хэнсомом. Пусть работает на совесть.

— Мистер Моррис, я извиняюсь, — сказал Хэнсом, глядя на папу.

— Ну, что тебе, Хэнсом? — спросил мой старик.

— Я не хочу мотыжить этот паршивый чертополох. Я хочу, чтобы у меня был свободный день.

Папа строго посмотрел на Хэнсома и показал ему носком башмака на мотыгу.

— Ну, Том, выкладывай пятьдесят центов, — сказал он.

— Да что тебе так приспичило? Еще ничего не заработано, а деньги ему подавай!

— Есть одно неотложное дело. Ты мне заплатишь, и я...

Мистер Оуэн посмотрел, как Хэнсомковыряет мотыгой чертополох, потом запустил руку в карман комбинезона и вытащил отсюда целую пригоршню гвоздей, винтиков и мелких монет. Он долго рылся во всем этом и наконец набрал полдоллара пяти- и десяти-центовыми монетами.

— Если этот негр будет плохо работать, первый и последний раз я его нанимаю, — сказал он папе.

— Жалеть не станешь, — ответил папа. — Я такого работника, как Хэнсом Браун, в жизни своей не видывал.

Мистер Оуэн дал папе деньги, а все остальное сыпал с ладони в карман. Мой старик получил свои пятьдесят центов и тут же зашагал к калитке.

— Я извиняюсь, мистер Моррис, сэр, — начал Хэнсом.

— Ну что еще, Хэнсом? — крикнул папа. — Ты разве не видишь, я занят?

— Можно, я уйду пораньше? Мне бы хоть немножечко урвать от свободного дня.

— Нет! — крикнул папа. — И хватит присаивать. Ты когда-нибудь видел, чтобы я брал себе свободные дни?

Мой старик так горопился, что больше никому ничего не сказал, даже мистеру Оуэну. Он бегом кинулся по улице и на всех парах влетел в дом. И запер за собой дверь изнутри.

Девушка сидела на кровати, складывала галстук за галстуком и прятала их в чемодан. Когда папа вбежал в комнату, она подняла голову и посмотрела на него.

— Вот деньги! Ведь говорил, достану! — крикнул папа. Он сел рядом с девушкой на кровать и сыпал монеты ей в ладонь. — И мигом достал.

Девушка положила монеты в кошелек, свернула еще несколько галстуков и подтянула чулки на коленках.

— Вот получите, — сказала она и, взяв с кровати галстук в ярко-зеленую и желтую полоску, сунула его папе в руки. Галстук упал на пол к его ногам.

— А вы разве не хотите... — удивленно проговорил папа, глядя на нее в упор.

— Что не хочу? — выпалила она. Мой

старик смотрел на нее, широко открыв рот. Девушка нагнулась над кроватью, собрала последние галстуки и положила их в чемодан.

— А я думал, вы опять его на мне завяжете, — медленно проговорил папа.

— Слушайте, — сказала она. — Вещь продана. Что вам еще нужно за ваши пятьдесят центов? Мне надо весь город обойти до вечера. Как по-вашему, много я наторгую, если буду завязывать всем галстуки после того, как они проданы?

— А я... я думал... — запинаясь пробормотал мой старик.

— Что вы думали?

— Я думал... может, вам опять захочется повязать его мне на шею...

— Ах, так! — засмеялась девушка.

Она встала и захлопнула крышку чемодана. Мой старик попрежнему сидел на кровати и не сводил с девушки глаз. Она взяла свой чемодан и вышла из комнаты. Хлопнула парадная дверь, и мы услышали быстрые шаги вниз по ступенькам. Ровным счетом через минуту девушка подошла к дому мистера Оуэна и вернулась к нему во двор.

Мой старик долго сидел на кровати, глядя на полосатый галстук, валяющийся на полу. Потом встал, сразмаху отшвырнул его ногой в дальний конец комнаты, вышел на заднее крыльцо и опустился на ступеньки, где ему было так удобно спать, развалившись на солнышке.

8. МОЙ СТАРИК НА ПОЛИТИЧЕСКОМ ПОСТУ

Мы сидели после ужина на переднем крыльце, когда Бен Саймонс появился на нашей улице и завернул к нам во двор. Мой старик был весь вечер не в духе и говорил мало, хотя я слышал, как он то и дело бормочет что-то себе под нос. Все началось еще с утра, когда мама налетела на него с попреками, что он сидит без дела и даже не желает поискать хоть какую-нибудь работу. Она носилась за ним по всему двору и все шпыняла его, что ей без конца приходится стирать и гладить на людей, а он в кои-то веки принесет деньги в дом. Под конец мамини попреки проняли моего старика, и он заявил: ладно, уж если на то пошло, возьму и заработаю сколько ни-сколько и докажу, на что я способен, когда меня доймают. И сейчас же послал меня с Хэнсом собрать заказы на ежевику. Он велел нам собрать как можно больше заказов вернуться домой и подсчитать, сколько это будет галлонов. Мы с Хэнсом весь день шатались по городу из дома в дом и спрашивали, не нужно ли кому свежих ежевик. Желающих нашлось много, та

как цена была дешевая, принимая во внимание, что мы обещали очистить ягоду и обобрать с нее муравьев. Мой старик уже подсчитал в уме будущую выручку: если продать двадцать пять галлонов по двадцать пять центов за галлон, это даст шесть долларов с лишним. Он сказал, что недурно заработать такую сумму за один день, и когда мама увидит эти деньги, она, конечно, удивится и возьмет назад все те обидные слова, которые были сказаны утром на заднем дворе. К концу обхода мы с Хэнсомом набрали заказов на двадцать галлонов, с обязательством доставить ежевику на следующий день к ужину. Когда мы вернулись домой и сказали, что заказано только двадцать галлонов, папа немного разочаровался; он рассчитывал не на какие-то жалкие пять долларов, а на шесть с лишним. Впрочем для одного дня и такого заработка было вполне достаточно, и папа велел нам с Хэнсомом встать утром чуть свет и идти за город собирать ежевику. Мама как услышала об этом, так сразу же вскипела и наотрез отказалась отпустить нас. Она заявила моему старику, что не позволит мне с Хэнсомом гнуть спину и рвать ежевику, ему на продажу, и добавила еще, что двадцать галлонов, пожалуй, и за неделю не нарвешь. Папа упрекнул маму, что она вечно идет ему наперекор, и за ужином они не обмолвились ни словом. Потом мы вышли на переднее крыльцо, и мой старик начал бормотать что-то себе под нос. Он все еще не прекратил своего бормотанья, когда к нам во двор вошел шериф, Бен Саймонс.

— Добрый вечер, друзья, — сказал Бен, поднимаясь по ступенькам.

— Здравствуй, Бен, — сказал папа. — Заходи, присаживайся.

Мама сидела молча. Она относилась с недоверием к таким «политическим деятелям», как Бен Саймонс, и прежде всего старалась разузнать, чего им надо.

— Хороший сегодня вечер. Правда, миссис Страуп? — сказал Бен, нащупывая в темноте стул.

— Ничего себе, — сказала мама.

Потом все замолчали. Бен несколько раз откашлялся. Он хотел сказать что-то, но, видимо, боялся открыть рот.

— Ну как, Бен, работы много? — спросил папа.

— Конца края не видать, Моррис! — тут же ответил Бен, словно он только и ждал, чтобы ему дали возможность начать разговор. — Просто ни минуты покоя, присесть некогда. Соснешь немножко, перекусишь чего-нибудь на ходу, а все остальное время знай работай с раннего утра и до позднего вечера. Третьего дня жена говорит: ты себя на двадцать

лет раньше в могилу уложишь, если будешь так маяться. Дежурить по городу — а, аресты производить — я, следить за тюрьмой, чтобы там поддерживали чистоту и чтобы побегов не было — тоже я. Да мало ли у меня дел! Вконец измучился, Моррис!

— Может, тебе помощник нужен? — спросил мой старик. — Вот, скажем, я. Кое-когда у меня бывает свободное время. Правда, редко, потому что своих дел порядочно, но если тебе нужна помощь, часок урвать можно.

Бен подался всем телом вперед.

— Признаться, Моррис, я за тем и пришел, — сказал он. — Очень рад, что ты сам это предлагаешь.

— Бен Саймонс, — вдруг заговорила мама. — Я не знаю, что у вас на уме, но не вздумайте опять втравить Морриса в какие-нибудь грязные делишки. Довольно с меня ваших афер вроде продажи семейных раздвижных гробов! Ни один здравомыслящий человек не захочет, чтобы его гроб открывали и приделывали к нему отделения для новых покойников.

— Нет, миссис Страуп, сейчас речь идет совсем о другом, — сказал Бен. — Я имею в виду один политический пост.

— Какой политический пост? — спросила мама, остановив качалку и выпрямившись.

— Дело вот в чем, — сказал Бен. — Вчера вечером муниципальный совет вынес постановление вести борьбу с бродячими собаками. Третьего дня я сам гонялся за одной, бешеной, и в конце концов пристрелил ее. В муниципалитете решили, что это становится опасным. Мне велено опубликовать соответствующее постановление и очистить улицы от бездомных собак. Я им заявил напрямик, что мне впору со своими делами справиться, и тогда они постановили назначить обследователя по вопросу о всех животных, которые бродят без присмотра.

— Обследователя бродячих животных? — сказала мама, вставая с качалки. — Вы что же это, Бен Саймонс, намекаете, что мой муж такой человек, которому в самый раз заниматься ловлей собак? Смотрите, как бы я не попросила вас удалиться из моего дома!

— Подождите, миссис Страуп! — жалобным голосом проговорил Бен. — Прежде всего я тут не при чем. Это предложил один из членов муниципалитета. Он сказал, что Моррис — самый подходящий кандидат на этот пост, и они постановили...

— Действительно, собаки вечно за мной увязываются, — сказал мой старик. — Я всегда это замечал. Нравлюсь я им что...

— Замолчи, Моррис! — закричала на его мама. — Это позор! Первый раз в жизни такое слышу!

— Миссис Страуп! — сказал Бен. — Мама ли знаменитых политических деятелей начинало с ловли собак! Да уж если бы то пошло, так большинство известных сенаторов, членов конгресса и шерифов начинали свою политическую карьеру именно с этого. Вряд ли вы найдете хоть одного крупного политика, который не занимался бы ловлей собак.

— Не может этого быть! — сказала мама. — Я всегда была лучшего мнения о политических деятелях.

— Политика странная вещь, — сказал Бен. — То, что во всяком другом деле обязательно, к ней никаким боком не подходит. Политический деятель начинает свою карьеру рано, ну, допустим, собаководом, а не успеешь оглянуться, и он уже перемахнул через это. Такое уж дело — политика.

Мама молчала, и я слышал, что ее качалка снова начала поскрипывать. Она, видно, крепко задумалась над словами Бена.

— Чем больше я размышляю, — заговорил мой старик, — тем больше мне это нравится. Я уже давно подумываю, что надо бы побольше заниматься всякими общественными делами. А то живешь со дня на день, тут чего-то покропал, там с чем-то провозился — что хорошего?

— Тогда, Моррис, ты должен занять этот пост, — быстро проговорил Бен. — Для тебя лучше ничего быть не может. Соглашайся!

Мой старик сидел тихо и всматривался в мамино лицо. Она все раскачивалась взад и вперед, и качалка поскрипывала с той же равномерностью, с какой вода капает из крана.

— Ну что ж, — медленно начал папа, стараясь разглядеть маму в темноте. — Пожалуй, надо соглашаться. — Он помолчал, выжидая, что она скажет. Мама не обратила ни малейшего внимания на его слова. — Я принимаю этот пост.

Бен встал.

— Вот и прекрасно, Моррис! — быстро проговорил он и направился прямо к ступенькам. — Прекрасно! Очень рад это слышать. Завтра я тебя жду. Приходи с утра, сразу же после завтрака.

Бен зашагал вниз по ступенькам. Когда он был уже внизу, мой старик вдруг сорвался с места и окликнул его.

— Бен, — с тревогой в голосе сказал он, подбежав к нему, — а какое мне платят жалованье?

— Жалованье?

— Ну да, жалованье, — сказал папа. —

Сколько я буду получать за обследование вопроса о бродячих животных?

— Собственно говоря, — медленно проговорил Бен, — это будет не жалованье.

— А что же? Как это называется?

— Это, Моррис, называется, гонорар.

— Гонорар?

— Да, Моррис. Так оплачивается большинство самых видных политических постов. За них получают гонорар.

— А какой гонорар дадут мне? — спросил папа.

— По двадцать пять центов с каждой пойманной собаки.

Мой старик ничего на это не ответил. Он стоял, глядя на темную улицу. Бен осторожно отошел от него.

— По правде говоря, для меня это несколько неожиданно, — сказал папа, — потому что я уже настроился получать жалованье по субботам.

— Да ведь гонорар тем и хорош, Моррис, что от тебя самого зависит, сколько ты заработаешь. С жалованьем как? — что положено, то и дадут, на большее не рассчитывать. А когда платят гонорар, только не ленись, загребай деньги.

— А ведь правда! — сказал мой старик, сразу повеселев. — Я как-то об этом не подумал.

— Значит, до завтра, — сказал Бен, выходя на улицу. — Спокойной ночи!

— Спокойной ночи, Бен! — крикнул папа ему вслед. — Спасибо тебе!

Мы поднялись на крыльцо. Мамы там уже не было, она ушла спать.

— Давай сынок, выспимся как следует, — сказал мне папа. — Денек будет хлопотливый. Надо получше отдохнуть. Пойдем.

Мы вошли в комнаты, разделелись и легли спать. Мой старик долго возился и ворочался с боку на бок, и я, засыпая, все еще слышал, как он говорил сам с собой и вспоминал всех собак, которых знал по кличкам.

На следующее утро папа сразу же после завтрака взялся за шляпу, и мы отправились в город разыскивать Бена Саймонса. Нам не хотелось задерживаться по дороге, но мой старик все-таки велел мне взять на заметку гончую Спарки, которая спала на переднем крыльце у мистера Фрэнка Бина.

Бен Саймонс отыскался в парикмахерской. Когда мы вошли туда, все лицо у него было в мыльной пене, и он не мог разговаривать с нами. Но потом Бен выпрямился и помахал нам рукой.

— С добрым утром, Моррис, — сказал он. — Ну как, готов приступить к работе?

— Прямо не терпится, Бен, — ответил папа.

— Сейчас я освобожусь, — сказал Бен. Встав с кресла и надев шляпу, он велел папе пройтись по городу, загнать всех собак, бегающих по улицам без присмотра, и запереть их в большом подвале под тюрьмой.

— И это все? — спросил папа.

— Все. Больше ничего не требуется, — ответил Бен.

Мы неспеша направились в другой конец города, стараясь, как бы не прозевать какую-нибудь собаку. Они, должно быть, все спали в это время дня, потому что на улицах нам не попало ни одной. Так прошло полчаса, и вдруг папа сунул руку в карман и вынул десять центов.

— Вот, сынок, — сказал он, протягивая мне монету, — сбегай в мясную и возьми самый большой кусок мяса, какой дадут за десять центов. За свежестью не гонись, главное, чтобы было побольше.

Я побежал в лавку, купил там большой кусок мяса и вернулся к магнолии, в тени которой мой старик остался ждать меня. Задремать ему было недолго, но когда я тряхнул его за плечо и показал мясо, он вскочил, как ни в чем не бывало.

— Теперь, небось, обратят на нас внимание, — сказал он, нюхая мясо. — Пойдем, сынок.

Мы свернули на другую улицу, и мой старик шел, помахивая мясом из стороны в сторону. Ровным счетом через минуту мы оглянулись и увидели пятнастого легаша, который бежал за нами, пригнувшись к мясу.

— Только это и требовалось, — сказал мой старик. — В таких случаях без куска мяса не обойдешься.

Он свистнул легашу, тот наострил уши и припустился побыстрее. Скоро еще чья-то собака учуяла мясо и тоже увязалась за нами. К тому времени, когда мы подошли к железнодорожному полотну, за нами бежало семь собак. Папа остался очень доволен этим и велел мне идти вперед и открыть дверь тюремного подвала. Он ввел туда собак и быстро выскочил на улицу, не дав им ухватить мясо.

— Еще одна такая прогулка, и верных два доллара в кармане, — сказал мой старик. — Как будто пустяк — прошелся по одной улице, свернул на другую, а заработок солидный. Теперь мне понятно, почему люди так увлекаются политической деятельностью. Да я такую работу ни на что другое не променяю. Оказывается, это лучший способ заработать.

Мы прошли с куском мяса еще по одной улице, и в первом же квартале за нами увязалась чей-то спаньель, выскочивший из-под дома. На обратном пути в хвосте у нас плелось пять собак. Мы прошли и

около дома мистера Фрэнка Бина, специально, чтобы дать возможность Спарки понюхать мясо и отправиться следом за нами. Когда и эти собаки были заперты в подвал, мой старик присел на землю и стал выписывать спичкой цифры на песке.

— Уже больше трех долларов, сынок, — сказал он, отбрасывая спичку в сторону. — Громадный заработок за такой короткий срок. Завтра, если дела пойдут не хуже, у нас будет шесть долларов. В субботу к вечеру догоним до восемнадцати, а то и до двадцати. Я уж и надеяться перестал, что у меня опять будут такие деньги. Ну, пошли обедать. Сейчас уже за полдень.

Мы вернулись домой и сели к столу, но мама ни слова нам не сказала, а мой старик не смел заговаривать первый. Когда обед кончился, мы вышли во двор посидеть в тени под сиренью.

Примерно через час я увидел Бена Саймонса, который быстро шел по нашей улице. Мой старик спал, но я разбудил его, думая, что Бен идет по важному делу. Бен увидел нас под сиренью и быстро зашагал к нам.

— Моррис, — сказал он, еле переводя дух, — откуда ты набрал всех этих собак, которые сидят сейчас в тюрьме?

— Каких собак?.. Ах, этих! — сказал мой старик, приподнимаясь на локте. — Загнал с улицы, как и полагалось. Такая моя обязанность — сажать под замок всех животных, которые бродят без присмотра. Чистая случайность, что это были одни собаки, а не коровы, лошади или еще кто-нибудь.

— Да ведь ты засадил туда призового лягаша нашего мэра, мистера Фута! — волнуясь, сказал Бен. — Миссис Джозия Хендрикс тоже заявила о пропаже своего спаньеля, и я нашел его в тюрьме вместе с остальными собаками. Лучшая гончая мистера Бина тоже там. У всех этих собак есть хозяева, и за всех заплачено по два доллара налога. Нельзя же ловить тех, за которых хозяева исправно вносят налоги!

— Они бегали по улицам без присмотра, — сказал папа. — Я раза два прошелся по городу, смотрю, видимо-невидимо бездомных собак. Моя обязанность ловить их, вот я и поймал.

— Как же ты ухитрился загнать их в тюрьму?

— Привел туда, и все. Собаки всегда за мной увязываются. Я еще вчера об этом говорил.

— Уж ты не заманил ли их чем-нибудь?

— Да нет, я бы этого не сказал, — ответил мой старик. — Впрочем, теперь

припоминаю — у меня был маленький кусочек мяса.

— Так я и думал, — сказал Бен, снимая шляпу и вытирая лицо носовым платком. — Я чувствовал, что тут дело не ладно.

Они долго молчали. Потом Бен снова надел шляпу и посмотрел вниз на моего старика.

— Знаешь, Моррис, лучше уж я сам займусь собачьим вопросом, — сказал Бен. — У тебя, пожалуй, не хватит времени на это.

— А как насчет гонорара? — спросил папа. — Три доллара. Ведь я их заработал?

— Да не знаю, как тебе сказать, — ответил Бен. — Вряд ли муниципальный совет согласится теперь платить. Если мы предъявим счет на три доллара, мэр, пожалуй, выгонит меня со службы, скажет, как это ты допустил, чтобы моего призового лягаша загнали. Я давно понял, что в политике самое важное — не наступать друг другу на мозоли. Это, брат, считается последнее дело. Давай лучше оставим все как было. Я, Моррис, не могу терять из-за тебя место.

Мой старик мотнул головой и ссыздал, привалившись затылком к кусту сирени.

— Что ж, пожалуй, ты прав, Бен, — сказал он. — Оказывается, политика такое занятие, на которое надо ухлопывать все свое время, а меня это не устраивает. С такой работой только свяжись, минуты свободной не будет!

9. ВИЗИТ ДЯДИ НЭДА

Мы с Хэнсом Брауном пробыли на водяной мельнице мистера Хокинса почти весь день и за час до ужина отправились домой с мешком кукурузной муки. Мама послала нас на мельницу сразу после обеда, дав нам бушель белой кукурузы, которой папа кормил Иду, когда Ида хорошо себя вела, то-есть не артачилась посреди улицы, и не била копытами в стены конюшни. Пока мы с Хэнсом ссыпали кукурузу в мешок, мама наказывала нам сразу же возвращаться домой, как только мука будет смолота, потому что она собиралась печь оладьи к ужину. Мы с Хэнсом пошли напрямик через пустырь, где разбивали палатки, когда к нам в город приезжал балаган, и всю дорогу спорили о вчерашнем бейзбольном матче между нашей городской командой и пожарниками из Джесопвилла, которое прекратилось на шестом кону, потому что один из пожарников оглоушил нашего кэтчера, Льюка Хендерсона, битой. Хэнсом уверял, что Льюк Хендерсон набрал пригоршню пыли, ду-

мая, что никто этого не заметит, и запорошил глаза джесопвиллскому бэттеру как раз в ту минуту, когда питчер готовился пустить мяч. Я сказал, что пыль нанесло ветром и что Льюк Хендерсон, который служит в бакалейной лавочке «Не скупись», тут вовсе не причем. Мы вышли к железнодорожному полотну, все еще продолжая спорить. У сикаморского депо остановился товарный состав Прибрежной линии, но мы им не очень заинтересовались и только посмотрели, сколько вагонов паровоз подал на запасный путь рядом с джип-машиной. Стоя у полотна и глядя на паровоз и вагоны, мы вдруг увидели какого-то человека, который быстро шел в нашу сторону. Он шагал по полотну, прыгая сразу через две шпалы на третью.

— Давайте-ка понесем муку вашей маме, — сказал Хэнсом, потянув меня за рукав. — Помните, что она говорила про оладьи? Слушайтесь вашу маму.

— Стой. Давай посмотрим, кто это, — ответил я. — Вон он рукой нам машет, чтобы подождали.

— Бродяга какой-нибудь. Возьмет да отнимет у нас мешок. Лучше уж побегим домой, как ваша мама велела.

Хэнсом стал пятиться задом. Он снял с плеча мешок и обеими руками прижал его к животу.

— Послушались бы меня, — сказал Хэнсом. — Вам дело говорят. Сколько я таких бродяг на своем веку перевидал. Одна беда с ними. Я уж чую, что у этого тоже недоброе на уме. Пойдемте лучше домой.

Я не двинулся с места, и через минуту человек подошел к нам. Он так спешил, что совсем захыхался и сначала все переводил дух, стараясь отдышаться. Лет ему было, наверное, столько же, сколько папе, но двигался он быстрее моего старика, а глаза у него так и бежали по сторонам, точно со страху. Никто не был старый комбинезон — одна штанина расплосована, он, должно быть, никак не мог собраться зашить ее. На голове — сдвинутая набекрень коричневая кепка, совсем новая, будто только что из магазина, зато башмаки такие рваные, что пальцы вылезали наружу. Глядя на эти огромные дыры, можно было подумать, что каждый башмак состоит из двух частей. Шею он закутал косынкой в красную и желтую клетку, такие косынки повязывают кондукторы Прибрежной линии, чтобы пепел не свалился им за шиворот. Лицо у него в обросло черной щетиной, и она торчала во все стороны, точно колючки на чистополохе.

— Мальчик, — сказал он, приставляя глаза на меня. — Ты не сын Морри Страупа? Тебя не Вильям зовут?

— Да, сэр, — ответил я, удивляясь, откуда он знает мое имя. — Да, сэр, я Вильям.

— А где твой папа? — спросил он. — Что он сейчас делает?

— Па уехал сегодня на ферму, работать, — ответила я. — Обещал вернуться только поздно вечером.

— Я твой дядя Нэд, — сказал он, протянул руку и больно вцепился мне в плечо. — Не узнал меня, сынок?

— Нет, сэр, — сказал я, глядя на его черную щетину и стараясь высвободить плечо из его цепких пальцев.

— Последний раз, когда я к вам приезжал, ты был еще совсем малыш, — сказал он, отпуская меня. — Где тебе помнить дядю Нэда!

— Да, сэр, — ответил я.

Он оглянулся и посмотрел в ту сторону, где был наш дом.

— Ну, а как мама поживает? — спросил он.

— Ничего, — сказала я, стараясь вспомнить его. Папины братья жили в разных местах, и я половины их даже в глаза не видал. Мама говорила, пусть уж папины родственники сидят дома, ей вовсе не интересно принимать их у себя. Дядю Стэта, который то и дело попадал в арестантские роты, я как-то видел, но мама не пустила его в комнаты, и он посидел около часа на ступеньках, а потом встал и ушел и с тех пор не показывался.

— А это что за образина? — спросил дядя Нэд, мотнув головой в сторону Хэнсома.

— Это наш работник, Хэнсом Браун, — ответил я. — Он помогает нам по дому, когда есть что делать.

— Ручаюсь, что он больше съест, чем нарабатывает, — сказал дядя Нэд. — Верно, парень?

— Я... я... я... — начал Хэнсом, заикаясь, как это всегда с ним бывало со страху. — Я... я...

— Ага! — сказал дядя Нэд. — Что я говорил? Ему соврать, и то лень. Да всю его работу можно пересчитать по крохам и заспать в наперсток. Верно, парень?

— Я... я... я... — сказал Хэнсом, пятясь от него.

— Знает, образина, что из-за такой малости и врать не стоит, — сказал дядя Нэд, отходя от нас.

Он сделал несколько шагов и остановился.

— А как пройти к дому, сынок? — спросил он.

— К какому дому? — сказал я.

— Да к вашему, — засмеялся он. — Ты что же думаешь, я просто так сюда приехал и даже не зайду навестить папу с мамой?

— Тогда я побегу вперед и предупреджу маму, что вы сейчас придете, — сказал я. — Если маму не предупредить, она, пожалуй, рассердится.

— Нет, не надо, — отрезал он. — Так никакого сюрприза не получится. Самое лучшее явиться сюрпризом, когда тебя никто не ждет. Если она будет знать заранее, пожалуй, начнет готовиться. К чему лишние хлопоты!

Я пошел к дому бок о бок с дядей Нэдом. Хэнсом задержался позади и, видимо, не хотел догонять нас. Мы перешли через полотно железной дороги и свернули на нашу улицу. Когда дом был уже близко, я остановился и стал ждать Хэнсома.

— Хэнсом! — крикнул я. — Иди вперед и отдай маме муку, а потом можешь сказать, что дядя Нэд приехал.

— Муку я миссис Марте отдам, — сказал Хэнсом, обходя стороной дядю Нэда, — а вот как насчет другого, это я не знаю. Вы лучше сами скажите. Миссис Марта может рассердиться, свалит всю вину на меня, а я тут вовсе сбоку-припеку. Совсем мне не к чему страдать за чужие провинности.

— Это еще что за разговоры! — сказал дядя Нэд, нагибаясь и поднимая с земли большой камень. — Ты, черномазый, не смей дерзить! Только пискни, я тебе голову размозжу этим камнем. Слышишь, черномазый?

— Я... я... я... — начал заикаться Хэнсом.

— И перестань заикаться! — сказал дядя Нэд. — Негр, да еще заика! Гаже этого ничего быть не может.

Хэнсом попятился и шмыгнула в калитку на задний двор. Мы подошли к дому, и дядя Нэд сел на ступеньки. Я боялся, как бы он не наскочил на меня так же, как на Хэнсома, если ему не угодить чем-нибудь, и, не зная, что делать, стоял у самого крыльца.

— Большая у папы ферма? — спросил дядя Нэд.

— Она у нас на холме, — ответил я. — В прошлом году мы посеяли немного кукурузы и земляных орешков и больше ничего. Па говорит, ему некогда этим заниматься. Хэнсом Браун иногда пашет там.

— Страупов никогда не тянуло на землю, — сказал дядя Нэд.

Мы ждали, что будет делать мама. В доме стояла полная тишина, должно быть, потому, соображала я, что Хэнсом все еще не решился выложить ей про дядю Нэда.

— Давненько я не видался с Моррисом, — опять заговорил дядя Нэд. — Да он вряд ли изменился с тех пор. А как мама, сынок, — все такая же?

— Такая же, — ответил я, прислушиваясь, не поднимется ли шум в до-

е, когда Хэнсом скажет маме про дядю Нэда.

— Вот сижу я здесь вечерком, и будто в мире ничего плохого нет—тишь да гладь, — заговорил дядя Нэд сам с собой. — Благодать какая!

Я услышала, как где-то хлопнула дверь, и понял, что мама несется сюда. Тогда я попытался от ступенек, на которых, опершись локтями на колени, сидел дядя Нэд. Не прошло и минуты, как дверь распахнулась, и мама выбежала на крыльцо.

— Это вы, Нэд Страуп! — крикнула она.

Дядя Нэд сорвался с места, будто его пырнули сзади вилами. В один прыжок он очутился между мной и крыльцом.

— Стойте, Марта, подождите, — взмолился он, птясь ко мне задом и стараясь сохранить некоторое расстояние между собой и мамой. — Я зашел навесить вас и Морриса. Разве это плохо, если человеку захотелось оказать уважение своей родне?

— Не смейте навязываться мне в родню, Нэд Страуп! — крикнула мама.

— Эх, Марта! Ну, стоит ли нам сеориться из-за таких пустяков — родственник, не родственник. Я теперь совсем другой человек. У меня было время пораскинуть мозгами, и вот я понял, что не всегда делал то, что надо. Теперь, Марта, все пойдет по-новому.

— Вон с моего двора, Нэд Страуп! Я ни одному вашему слову не верю. Закон связал меня с одним Страупом, и хватит! Нет такой власти ни на земле ни в небесах, которая посадила бы мне на шею еще второго Страупа! Несу свой крест — и довольно с меня!

Дядя Нэд повесил голову и усталился себе под ноги. Он пошевелил мизинцем, выглаживавшим из дыры в башмаке, и долго-долго смотрел на него. Пока он стоял так и шевелил мизинцем, мама не спускала с него глаз.

— Может, вы по доброте своей все-таки не откажетесь накормить меня, прежде чем выгоните вон, — с запинкой проговорил дядя Нэд, исподлобья глядя на маму. — Я, Марта, голодный. Со вчерашнего утра крошки во рту не было. Неужели, Марта, вы пожалеете кусок хлеба и дадите человеку умереть с голоду?

— Когда вас выпустили из тюрьмы? — быстро спросила мама.

— Несколько дней назад, — удивленным голосом ответил дядя Нэд. — А откуда вы знаете, что я опять сидел?

— А где же вам быть, как не в тюрьме! — выпалила мама.

Дядя Нэд опустил голову и опять зашевелил мизинцем. Мама молчала, глядя на него в упор. Потом она под-

няла руку и провела ею по глазам, думая, что никто этого не заметит.

— Пройдите к кухонной двери, Нэд. Господь бог никогда не укорит меня, что я отказала кому-нибудь в помощи, даже когда этого не следует делать. Мне бы надо позвать шерифа, пускай засадит вас в тюрьму.

Она ушла, заперев за собой дверь, чтобы дядя Нэд не вошел в дом следом за ней. Как только мама скрылась за дверью, дядя Нэд встал и, обогнув дом, зашагал к заднему двору. Когда мы пришли туда, Хэнсом сидел на ступеньках кухонного крыльца, но стояло только ему завидеть дядю Нэда, как он сорвался с места, бросился в дальний конец двора и залез на поленицу. Я прошел на кухню и стал смотреть, как мама накладывает на тарелку сосиски с горохом. Когда тарелка была наложена доверху, мама передала ее мне и мотнула головой в сторону дяди Нэда, сидевшего на ступеньках.

Я вышел с тарелкой на крыльцо и протянул ее дяде Нэду. Он ничего не сказал и только посмотрел на меня — точь-в-точь как папа, когда ему хочется что-нибудь сказать мне, но не словами, а взглядом. Пока дядя Нэд ел сосиски с горохом, я отошел в сторонку и сел на землю. Потом мама позвала меня на кухню и дала чашку кофе для дяди Нэда.

Он взял ее, сделал большой глоток и опять взглянул на меня.

— Сынок, — сказал он, — будь настоящим Страупом до конца дней своих. Второй такой семьи во всем мире не сыщешь. Мы, Страупы, не допустим, чтобы нас ставили на одну доску со всей прочей мелюзгой. Люди мы не богатые — есть и побогаче нас — случается, что попадем в беду, и надо уносить ноги, пока все не уладится. Но если говорить на чистоту, второй такой семьи во всей стране не сыщешь.

— Да, сэр дядя Нэд, — сказал я, а сам подумал, как бы отнеслась к его словам мама, если б она слышала.

— Я, сынок, свое пожил, зря не стану советовать. Ты запомни, что я тебе говорил. Кто сейчас может похвалиться — я, мол, Страуп? Таких людей раз-два и обчелся.

— Хорошо, дядя Нэд, запомню, — сказала я. Мама подошла к кухонной двери и выглянула во двор. Она стояла там до тех пор, пока дядя Нэд не выскреб тарелку дочиста.

— Вы сыты, Нэд? — спросила мама точно таким голосом, каким она говорила с моим стариком на людях. — Если нет, я подложу еще.

— Это очень любезно с вашей стороны, Марта, — сказал он, поворачиваясь

и грустно глядя на нее. — Я вам очень признателен. Что бы со мной не случилось, Марта, а о вас я всегда буду вспоминать с добрым чувством. Вы отнесли ко мне, как Страуп к Страупу.

В эту минуту я посмотрел на двор и увидел, как Хэнсом соскочил с поленицы и начал пятиться к сараю. Я все еще удивлялся, что с ним такое, как вдруг из-за угла нашего дома с револьвером в руках вышел шериф Бен Саймонс. Он навел дуло револьвера прямо на дядю Нэда.

— Руки вверх, Нэд Страуп! — крикнул Бен. — И не вздумай хвататься за свой револьвер. Только шевельнись, мигом уложу на месте! С такими, кто только и знает, что из тюрьмы бегать, я риковать не намерен!

Бен медленно подошел к дяде Нэду и рванул у него из-за пояса комбинезона длиннотвольный револьвер. Дядя Нэд молчал, подняв руки над головой, и, видимо, не собирался удирать.

— Что это значит, Бен Саймонс? — сказала мама, выходя на крыльцо. — Что вы тут затеяли?

— Миссис Страуп, если Нэд не потрудился вам рассказать, — начал Бен,

так знайте: три дня тому назад он убежал из тюрьмы, и тюремный надзиратель оповестил об этом полицейские власти штата, чтобы его выследили. Я сообразил, что Нэд может зайти к брату, перехватить чего-нибудь и переодеться, и попал в самую точку. Час назад он спрыгнул с товарного поезда. С тех пор я за ним слежу. Ну, пошли, Нэд.

Не говоря ни слова, дядя Нэд позволил Бену надеть ему наручники и встал со ступенек. Но прежде чем выйти со двора, он оглянулся и посмотрел на меня.

— Сынок, — сказал дядя Нэд, — запомни, что я тебе говорил про Страупов. Нас так много развелось на божьем свете, что, глядишь, какой-нибудь нет-нет, да и отобьется от рук. Но всем прочим Страупам это не в укор. Лучшее их во всем мире не сыщешь. Будь и ты настоящим Страупом.

— Хорошо, сэр дядя Нэд, — сказал я, глядя, как он повернул за угол дома в сопровождении Бена Саймонса, крепко державшего его за руку, и скрылся у меня из глаз. — Я запомню, что вы говорили.

ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ РЕПИН

Н. МАШКОВЦЕВ

★

Пятого августа текущего года исполнилось сто лет со дня рождения великого русского художника Ильи Ефимовича Репина. Репин — один из тех могучих гениев, которые определяют своим творчеством национальный характер искусства. Глубоко связанные со своим народом, они творят искусство, в образех которого отображается лицо народа. Для русской живописи Репин то же самое, что Лев Толстой для литературы и Модест Мусоргский — для музыки.

Репин оставил замечательную книгу «Далекое-близкое», где особенно подробно и тепло рассказал о своем детстве. Эти воспоминания, вместе с письмами художника, раскрывают его биографию. Язык Репина удивительно живописен. Необыкновенно яркие картины природы, живы бытовые сцены. Но книга значительна также разбросанными там драгоценными суждениями о живописи, так сказать изнутри освещающими основы искусства самого Репина.

Репин родился в городе Чугуеве, на Украине, неподалеку от Харькова, 5-го августа 1844 года. Население Чугуева состояло главным образом из военных поселенцев. Император Александр I, после наполеоновских войн, задумал создать военное сословие в России. Суть этой реформы состояла в том, что военнообязанные поселялись с семьями, могли заниматься хлебопашеством или ремеслами, но до гробовой доски состояли на действительной военной службе и находились в распоряжении военных властей. Чугуев представлял собою огромную казарму. Кроме того, там находился корпус военных топографов и топографическая военная школа. Отец Репина был военным поселенцем; он часто и на продолжительное время отлучался из дому. Когда отец уезжал, для семьи наступали тяжелые времена. Все тяготы тогда ложились на плечи матери; ей приходилось работать с утра до ночи, чтобы прокормить детей, которых, кроме будущего художника, было еще двое. Старше Репина была сестра Устя, подруга его детских лет. Она рано умерла, и эта первая близкая смерть жестоко поразила художника.

Совсем ребенком Репин узнал, что такое

краски. Четыре плиточки акварели попали однажды ему в руки. Не было конца его восторгу, когда он увидел, как черный рисунок загорается всеми цветами и чудесно приближается к действительности. Ему захотелось рисовать самому, он принялся за рисование и от страшного возбуждения заболел и слег в постель. Прохворал он долго, но и во время болезни мечтал о рисовании, задумал нарисовать куст роз и силился вспомнить, как прикреплены к дереву листья.

Среди немногочисленной чугуевской интеллигенции было несколько художников. Одни преподавали в школе топографов, другие работали в иконописных артелях. Когда Репину удалось поступить в школу топографов, то рисование стало главным предметом его занятий. Вскоре, однако, школу закрыли, и тем окончился первый этап образования Репина. Он вступил в одну из иконописных артелей и занял там первенствующее место. Заказов было много, но оплачивались они скудно. Выполнение этих заказов дало Репину большую техническую практику; он в совершенстве овладел мастерством масляной живописи. Кроме того, иконописные работы давали простор композиционной фантазии художника, так как Репин, пользуясь гравюрами с классических произведений живописи, никогда их не копировал, а всегда перекомпоновывал по-своему, расцветчивая их по своему вкусу, так как гравюры были черные.

Однажды кто-то из товарищей по артели рассказал Репину о знаменитом художнике Крамском. Начавшем так же, как и Репин, с работы в артели, а затем достигнувшем предела славы и чуть ли не ставшем профессором в Академии художеств. Рассказы об Академии, иллюстрируемые примером Крамского, возбудили в Репине непреодолимое желание учиться и, скопив с великим трудом немного денег, он один, не имея в Петербурге ни одного знакомого человека, отправился в этот огромный и совершенно новый ему город. Проезжая через Харьков и потом через Москву, за всю длинную и интересную дорогу Репин не видел ничего, кроме конечной цели своего путешест-

вия. Он приехал в Петербург вечером тусклого осеннего дня. Но на сердце у него было радостно. Город развертывал перед ним величественную панораму своих улиц, площадей, набережных. Наконец, за мостом, на берегу Невы, обозначилось огромное здание. Репин узнал Академию, давно знакомую ему по гравюрам, заветную цель своих стремлений. На первых шагах Репина постигла неудача. Он не был подготовлен к вступительному экзамену. Но случайные знакомые, видя его отчаяние, посоветовали ему не терять времени и сейчас же поступить в

школу Общества Поощрения Художеств, где преподавание было поставлено как раз в соответствии с требованиями Академии. Репин поступил в школу и здесь произошла давно желаемая встреча с Крамским, который тогда был в числе преподавателей школы.

Крамской являлся одним из замечательных художественных деятелей той эпохи. Иконописцы рассказывали про него правду. Уже тогда его имя гремело и голос его был самым авторитетным среди художников. Он возглавил движение, противопоставившее себя вековой традиции Академии. Его с полным правом можно назвать пророком нового русского искусства. С великой энергией он расчистил дорогу грядущему национальному движению русской живописи. Он обладал огромным художественным чутьем, талантом замечательного организатора и ясным умом. А главное — он очень хорошо знал, куда теперь должно идти русское искусство. Прекрасно понимая каким тормозом для его развития является архаическая Академия, Крамской употребил все силы своего ума и воли для того, чтобы оторвать от Академии молодежь. В 1863 году молодые художники отказались писать картину на заданную тему («Пир в Валгалле») и тем самым отвергли академический диплом. Руководимые Крамским, они вышли из Академии на новый путь, лишенные ее напутственного благословения, но тем более смелые и уверенные в себе. Могучий публицистический талант В. Стасова возвестил на страницах печати наступление новой эры русского искусства. В начале шестидесятых годов с рус-

ской живописью произошло то, что на двадцать лет ранее произошло с русской литературой, где великий переворот начался с Гоголя и затем продолжался блестящей плеядой писателей, составляющих гордость русской литературы. В области живописи Академия явно тормозила прогресс искусства. Для нее не существовало национальных особенностей искусства. Она отвращала художников от родной жизни и природы. Художники сочиняли все: темы, композицию, форму и даже колорит. На натуре Академия учила смотреть только как на ступень обу-

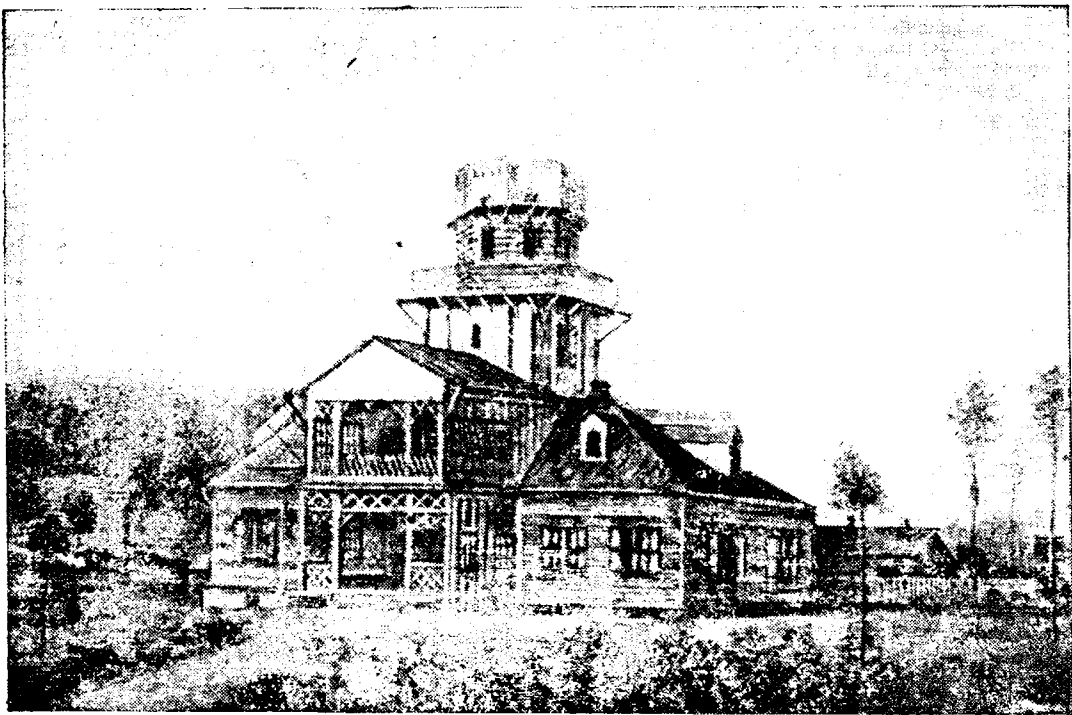
чения и сырье, подлежащее обязательной переработке и дистиляции. Академия пользовалась своей монополией художественного образования и узаконяла зависимость художника от заказчика. От этой материальной зависимости Крамской прежде всего стремился избавиться художника. Основанная им артель художников была не только объединением единомышленников, но и экономическим предприятием. Идейную проповедь Чернышевского Крамской сумел связать с проблемами нового устройства быта художников. Артель добывала и распределяла заказы, и члены ее, будучи более или менее обеспеченными, могли свободно заниматься живописью. Скоро артель переросла в Товарищество



И. Е. Репин. Автопортрет. 1878 г.

Передвижных выставок, которому на протяжении полувека принадлежала неоспоримая гегемония в искусстве. Сама идея «Передвижных выставок» была глубоко демократична. Передвижники стремились к тому, чтобы искусство стало достоянием масс, народа, а не небольшой кучки столичных любителей. Выставки организовывались в Петербурге и затем объезжали главные города России, начиная с Москвы. Художники черпали сюжеты своих картин из народной жизни, изображали народные типы, пейзажи родины и знаменитых людей, чьи имена становились народным достоянием. Суровая правда была девизом этого искусства.

В то время в Москве зарождалась Третьяковская галерея, первый музей русского национального искусства, созданный единолично московским купцом П. М. Третьяковым. Наря-



Дом в имении Репина «Здравнёво».

ду с Крамским и Стасовым, Третьяков представлял основное звено неразрывной триады. Он систематически приобретал все сколько-нибудь значительное в области современной ему русской живописи. Он отличался не только большим вкусом, но и глубоким пониманием явлений, происходивших на его глазах в искусстве. Идейное содержание искусства было для него на первом месте. Он с такой же ясностью ставил перед собою цель создания национального музея и определял его характер, с какой боролись за национальное искусство Крамской и Стасов. Скоро Третьяковская галерея стала центром нового русского искусства. Она стала не только зеркалом русской жизни и культуры, но и важнейшим стимулом развития искусства. Так как произведения передвижников были собраны Третьяковым с исчерпывающей полнотой, то и самый образ национального искусства предстал в ней в необыкновенной, целостной, собранной форме. «Там русский дух, там Русью пахнет» мог бы сказать словами Пушкина каждый посетитель галереи. Для русского художника покупка его работы в галерею означала самую высокую оценку, так как с этого момента он приобретался к сонму творцов русского национального искусства.

Эти три человека, и Крамской, вероятно, более всех, были наделены удивительным даром угадывать таланты, предвидеть будущее их развитие по самым скромным первоначальным проявлениям.

Еще по ученическим и робким домашним работам Крамской угадал огромный талант Репина и с первой встречи и до конца своих дней неотступно и ревностно следил за его развитием. Он увидел в Репине именно того художника, который сумеет оправдать чаяния нового поколения о великом национальном искусстве.

В 1864 году Репин поступил в Академию, где он учился под руководством того самого Бруни, которому будущие передвижники вручили заявление о выходе из Академии. Будучи в Академии, Репин каждую свою работу показывал Крамскому, и Крамской бережно ограждал Репина от обезличивающего влияния Академии.

Еще будучи в Академии, Репин ясно сознавал свой рост и ненужность тех усилий, которые требовала от художников Академия для получения официального диплома. Но друзья уговорили его не бросать Академию и участвовать на заключительном конкурсе. Тема, предложенная Академией на конкурсе, — «Воскрешение дочери Иаира» сначала совсем не затронула художника. Но вот однажды, возвращаясь от Крамского, он был поражен внезапной мыслью. Он вспомнил, как умерла его сестра Устя. «Как это поразило всю семью. И дом, и комната, все как-то потемнело, сжалось и давило. Нельзя ли это как-нибудь выразить?»* И Репин заново начал картину, весь переполненный теми да-

* Репин, «Далекое-близкое».

лекими воспоминаниями. Он писал в академической мастерской необыкновенно горячо, быстро покрывая краской огромный холст, а дома брат-музыкант играл Quasi una Fantasia Бетховена, звуки которой возвращали художника к его теме. На товарищевой Репина и особенно на выставке картина произвела потрясающее впечатление благодаря глубине и искренности чувства.

Картина была удостоена большой золотой медали; Репин получил командировку за границу на шесть лет.

Но слава Репина была подготовлена не этой картиной, а «Бурлаками», которых он начал еще на академической скамье.

«Бурлаки» впервые показали всю силу и оригинальность его таланта. Никто из передвижников, в том числе и сам Крамской, не смог поднять такой темы.

Вот как рассказывает Репин о зарождении картины. Однажды живой и подвижной Савицкий вытащил домоседа Репина за город. Они отправились на пароходе вверх по Неве до Усть-Ижоры. Был чудесный летний день. Жизнь казалась веселым праздником. На берегу реки раскинулись нарядные дачи. На лужайках между цветниками гуляла радостная беззаботная публика.

«— Однако, что это там движется сюда? — спросил я у Савицкого. — Вот то темное, саловое какое-то коричневое пятно, что это ползет на наше солнце?»

— А! Это бурлаки бечевою тащут барку; браво, какие типы! Вот увидишь, сейчас подойдут поближе, стоит взглянуть...

Приблизилась совсем эта вонючая ватага, стала пересекать дорогу спускающимся к пароходу. Невозможно вообразить более живописной и более тенденциозной картины... Вот пересекающий лестницу передовой бурлак даже приподнял бечеву своей загорелой черной ручищей, чтобы прелестные сальфиды-барышни могли спорхнуть вниз... Всего интереснее мне казался момент, когда черная, потная лапа поднялась над барышнями, и я решил написать эскиз на эту сцену...

Репин рассказывает далее, что когда он сделал этот эскиз и показал его своему другу пейзажисту Васильеву, то Васильев резко осудил такую трактовку сюжета. Он сказал Репину, что тема из-за этого сопоставления становится менее значительной и даже мелкой и что бурлаков нужно показать совершенно самостоятельно, без всяких добавлений и случайных сопоставлений. Кроме того, Васильев сказал, что за настоящими бурлаками надо ехать на Волгу, где особенно широко применяется их труд и где их можно видеть во множестве. Там, среди волжской природы, можно в изобилии найти материал, нужный для художника. Репин внял всем этим советам и летом 1871 года в обществе Васильева, художника Макарова и своего брата отправился на Волгу.

Репин был упоен новыми впечатлениями. Он увидел впервые жителей Поволжья, настоящих представителей великого народа, свободных и

независимых, держащих себя с чувством достоинства; он увидел и прекрасные русские лица и таких людей, которые предстали перед ним как живое олицетворение народной мудрости, наконец, увидел необъятные волжские просторы. Всей своей молодой душой он восторженно принял увиденное. Он сделал бесконечное множество рисунков и этюдов маслом.

Через год Репин еще раз ездил на Волгу и, наконец, в 1873 году закончил картину.

Художник назвал свою картину «Бурлаки на Волге». Ее рассказ очень прост и чисто живописен. Вереница бурлаков, тяжело ступая по песчаной отмели, тянет изукрашенную баржу, какие тогда в изобилии плавали по Волге. Композиция картины поражает своей эпической силой. На светлом фоне неба, воды и песчаной отмели группа бурлаков кажется динамическим изваянием. Репин нашел гармоническое соотношение между массой человеческих фигур и пространством: пейзаж не подавил их своей огромностью, оставаясь в то же время значительной частью картины. У каждой фигуры своя индивидуальная характеристика. Самый склад фигур и цвет лиц выдает их бурлацкий стаж. В середине затерялась хрупкая фигура мальчика с белой кожей лица и тела, не успевшей еще огрубеть под солнцем и ветром. Особенно замечательна фигура первого ведущего бурлака, которого звали Канин. Его живописный облик раскрыл перед Репиным душевную суть невиданной глубины. Канин стал предметом страстного восхищения художника. «Как дивно у него повязана голова, как закручивались волосы на шее, а главное — цвет лица!.. Я иду рядом с Каниным, не спуская с него глаз. И все больше, и больше нравится он мне: я до страсти влюблюсь в каждую черту его характера и во всякий оттенок его кожи и посконной рубахи. Какая теплота в этом колорите». Позднее, когда Репин познакомился с Толстым, он увидел в Толстом нечто родственное Канину: «Только Канин, по сравнению с Толстым, показался бы младенцем. На его лице ясно выражалась только греза. Это была греза самой природы, но считающая часов и лет».

Для нас тема репинской картины стала исторической. Бурлаки отошли в область преданий. Но эпический образ русского человека, созданный Репиным — бессмертен. Это те же люди, которые в тяжелых боях прошли родную матушку-землю от Волги до Днестра, освобождая ее от фашистских захватчиков.

Много позднее, на склоне дней, Репин писал: «В душе русского человека есть черта особого, скрытого героизма. Он лежит под спудом личности, он невидим. Но это — величайшая сила жизни, она двигает горами, она делает великие завоевания, она руководила Бородинским сражением, она пошла за Минниным, она сожгла Смоленск и Москву. И она же наполняла сердце великого Кутузова. Она сливается всецело со своей идеей, она не страшится умереть. Вот где и величайшая сила: она не боится смерти».

Каким знанием народа и какой верой в его потаенные силы звучат эти слова великого худож-

ника, словно написанные в честь неисчислимых героев Великой Отечественной войны.

Одновременно с эскизами большой картины Репин написал ее вариант, значительно меньший по размеру и иной по содержанию, — «Бурлаки, идущие в брод». Возможно, что эта картина была написана непосредственно на Волге. Несколько дней пасмурной серой погоды дали Репину новое ощущение. Стихия воды, воздуха и света, светлый песок, темные человеческие фигуры на первом плане — все связано единством живописного момента. Это настоящая пленерная живопись, необыкновенно цельная благодаря единству освещения и правдивой передаче состояния атмосферы, насыщенной влагой.

«Бурлаки» были встречены восторженно. Стасов написал хвалебную статью. Репин сразу стал в первые ряды русских живописцев.

Летом 1873 года Репин поехал за границу. Первая продолжительная остановка была в Вене, где Репин попал на всемирную выставку.

Всякий художник оценивает искусство с точки зрения тех задач, которые он ставит перед собою в своем творчестве. Заграничная поездка прервала работу Репина. Ему еще и еще нужно было дышать воздухом родины, впитьвать русские лица и русские характеры. Ведомый Крамским и Стасовым, он весь пламенел желанием создать национальную живопись, найти такие сюжеты, которые подняли бы пласты народной жизни. Критерием национальности проникнуты суждения Репина о том, что он увидел впервые за границей. Поэтому так приветствовал он польского художника-патриота Яна Матейку и гениального юношу Анри Реньо, который принес себя в жертву отечеству, добровольцем сражаясь у стен Парижа. Поэтому так разочаровала его итальянская живопись, в которой он увидел искусство без времени и без национальных корней, ничем не выражающее дух народа, который его создал.

Переехав в Париж, Репин затевает большую картину «Парижское кафе». Посетители кафе стоят и сидят за столиками на открытой веранде. В центре — три фигуры, составляющие сюжетный замысел: молодая кокетка, надменная и самоуверенная, и мужчина с перезрелой спутницей. Он так откровенно заинтересован молодой женщиной, что это наполняет его подругу возмущением, готовым каждую секунду вырваться наружу. Посетители кафе с любопытством наблюдают сцену, ожидая развязки. Даже вышедшие виды лакей на секунду задержался в дверях, ожидая чем кончится дело. Репин хорошо выискал парижские типы. Но главная удача картины в том живом напряжении, которым связаны все персонажи.

В Париже были написаны также большая картина «Садко», ряд портретов, в том числе портрет Тургенева и, наконец, серия превосходных по живописи пейзажных этюдов, написанных главным образом в Вель, где Репин жил летом 1876 года.

И все же чувство неудовлетворенности не оставляло Репина. «Надо работать на родной

почве» — писал он Стасову. В конце лета 1876 года он возвратился в Россию. Он решил поселиться в Москве, а осень и зиму прожить на родине в Чугуеве. То, что он написал за этот период, свидетельствует о том, как он изголодался по России, как особенно отчетливо увидел он русских людей и русскую жизнь и как окрепла и освободилась от всякого привкуса ученичества его живописная техника. Он пишет чугуевского протоиерея, знаменитого ненасытной страстью к еде и вину не менее, чем своим ревушиным басом, который своим монументальным характером кажется Репину жрецом древних языческих культов; пишет с глубочайшим вниманием к сложной психологии человека «Мужика из робких» и «Мужика с дурным глазом», открывая под грубой оболочкой неожиданные глубины. Тогда же написана маленькая картина «На грязной дороге», подлинный шедевр живописи, неразрывно связующий сюжет с живописным решением. Ящик подлестывает жалкую тройку тощих лошадей, которые изо всех сил тащат тяжелую телегу с тремя седоками. Фигура политического арестанта в сером халате зажата между двумя жандармами в касках, с саблями на голо.

Тогда же Репин задумал «Крестный ход». Картина была написана уже в Москве, куда Репин переехал окончательно. Он особенно сблизился в Москве с Третьяковым и художниками Поленовым и Виктором Васнецовым. Все они по-разному были захвачены поисками в области национального искусства. Васнецов мечтал о возрождении национальной формы, идущей от древней русской иконы, архитектуры и народного орнамента, Поленов в своих кремлевских этюдах и еще более в пейзажах Москвы и подмосковья стремился уловить особенности колорита русской природы. Репина увлекали образы русской истории. Он пишет «Правительницу Софью Алексеевну», заточенную Петром Великим, ее братом, в келью Новодевичьего монастыря. Софья подняла против Петра восстание стрельцких полков, подавленное Петром.

Репин изобразил царевну Софью вне исторических событий. Это драматизированный исторический портрет, а не историческая картина. Софья — женщина властная, с сокрушающей волей, гневная, готовая испепелить своих врагов огненным своим взглядом.

Другая тема, еще более волновавшая Репина, «Крестный ход в Курской губернии». Когда Репин написал Крамскому о своем замысле, Крамской ему ответил: «Это вещь, вперед говорю, что это колоссально! Прелесть: и народу видимо-невидимо, и солнце, и пыль, ах, как это хорошо!». Вы напали на золотосную жилу, радуюсь». Для того, чтобы собрать материал к картине, Репин поселился в Хотькове, лежащем на пути из Москвы к Троице-Сергиевой Лавре. К прославленному монастырю текли богомольцы со всей России. Их ногами утрамбованы дороги и тропы, идущие от Москвы к Лавре. Репин наблюдал этот поток, в изобилии дававший нужный ему материал.

Репин действительно напал на золотосную

жизли. Тема дала ему возможность в одной картине показать всю Россию, как это сделал Гоголь в «Мертвых душах» и Лев Толстой в «Войне и Мире».

Эта картина — целая галерея народных характеров, изображенных художником. Как выразительны лица мужиков, несущих огромный узорный и изукрашенный фонарь, со свечами, как трогательны две скромные мешаночки, несущие пустой киот из-под иконы, какими яркими и сочными красками изображено духовенство и певчие, знать, тщательно оберегаемая, и народ, движение которого стихийно, как поток, как лавина. На первом плане Репин изобразил горбуна на костыле, которого отпихивает в сторону десятский. Этот горбун — одно из самых прекрасных и одухотворенных лиц, когда-либо созданных Репиным. В центре картины шествует помещица, на руках которой снопами ослепительного света сияет икона — это сердце процессии. Безмерное чванство и тщеславие написаны на лице помещицы. Сверкание бриллиантов и блеск золота, покрывающих икону, сами становятся апофеозом человеческой суетности. И, наряду с этим, как прекрасны и подлинно человечески лица крестьян, какая внутренняя красота преображает лица мешаночек, так бережно, с душевным трепетом несущих свою мнимую реликвию.

По широте охвата, по исполнению замысла, по количеству и разнообразию персонажей «Крестный ход» может быть назван подлинной эпопеей. Так широко вошла в него старая дореволюционная Русь, вошла толпа, масса народная, почувствованная художником в целом и в каждом отдельном лице. Ничего выдуманного, ничего сочиненного нет в этой картине, словно вся она была однажды увидена Репиным в этом счастливом сочетании красок, живой смеси лиц, пестроте одежд.

Третьяков купил «Крестный ход» еще до появления его на выставке, прямо из мастерской художника. Все понял, что в ней Репин достиг вершины своего творчества.

В сентябре 1882 года Репин покинул Москву и переехал в Петербург. Его теперь влекли новые темы, для которых, ему казалось, Петербург даст больше материалов, чем Москва. Уже тогда гродотали в России первые раскаты революционных бурь. В 1881 году по приговору революционеров был убит Александр II. Правительство ответило жесточайшим террором. Множество людей казнили, тысячи было арестовано и сослано.

В Петербурге Репин написал ряд картин на темы, связанные с революционным движением. «Арест пропагандиста», несмотря на свой незначительный размер и почти миниатюрное письмо, дает впечатление не меньшее, чем самые прославленные большие полотна Репина. «Арест пропагандиста» — это предел, достигнутый живописью. Живописное мастерство Репина здесь неподражаемо. Весь язык живописи, композиция, цвет, трактовка формы, сама фактура живописной поверхности порождены чувством художника, совершенно

так же, как мысль гениального писателя заново строит новую художественную форму. Оттого художественная форма «Ареста» так неуязвимо свежа и действие ее так могуче. Невозможно забыть взгляд пропагандиста или глаза молодой женщины, стоящей у дверной притолоки. Это глаза человека, чистого душой, который впервые перед собой видит омерзительную работу «властей». Она оцепенела от этого зрелища. Таких людей она не видела и не подбирала об их существовании. Глядя на втот репинский образ, словно присуствуешь при перерождении человеческой души.

Совершенно исключительной популярностью пользуется картина Репина «Не ждали», написанная в 1884 году. Вся картина была написана Репиным с натуры. Позировали ему члены семьи и близкие знакомые, но трудно предположить, чтобы они так великолепно разыграли эту трудную сцену. Это были бы тогда идеальные, немыслимые актеры. Очевидно дело не в натурщиках, а в необычайной силе воображения Репина, который сумел представить всю сцену с такой потрясающей жизненностью.

Сын гимназиста проявляет бурную радость, а дочь испуганно и опасливо смотрит исподлобья. Перья нами первый акт драмы, на исход которой только намекает Репин. Он осветил всю комнату мягким светом, льющимся из стеклянной двери террасы, и этот свет вселяет чувство уверенности, что жизнь пересилит все и из этого драматического момента люди сумеют найти исход, отвечающий их человеческому достоинству. Может быть более, чем какая-либо другая картина Репина, «Не ждали» исполнена гуманизмом и верой в будущее. Всю свою силу любви к человеку и веру в жизнь вложил Репин в эту картину. Репин долго работал над лицом каторжанина. Есть этюд его головы. Но эта голова никак не вязалась с остальными персонажами и не отражала того сильнейшего душевного действия — результат встречи с близкими и любимыми. Существует еще второй вариант картины, где возвращается домой курсистка. Этот вариант разрешен в очаровательной лиловой гамме ранних сумерек, но, конечно, не достигает степени драматизма основной картины.

Еще в Москве Репин задумал написать картину, изображавшую убийство Иваном Грозным своего сына Ивана. В 1885 году картина была выставлена. Она вызвала самые разнообразные оценки. Одни видели в ней бездонную драматическую глубину, показанную с шекспировской силой. Для других она была только пугающим и отвратительным зрелищем, паноптикумом, лишенным художественного значения. Охранители «устоев» нашли в ней оскорбление царской власти и добились запрещения публично экспонировать картину.

По собственному признанию Репин мучился темой этой картины более, чем какой-либо иной. Образ Грозного и умирающего сына стоял перед ним неотступно. Внутреннее состояние художника определяла общественная атмосфера. Реакция бушевала во-всю. Прави-

тельство казнило лучших сынов народа, душило всякое проявление свободы. Общество жило в величайшем напряжении. Картина Репина по существу оказалась страшно современной, непостижимо близкой, несмотря на то, что сюжет был взят из прошлого. Вот откуда почерпнул Репин необычайную силу ее выражения, концентрированную в этих двух головах — Грозного и его сына, написанных с редкой живописной мощью.

В 1891 году Репин выставил своих «Запорожцев».

Турецкий султан Магомет IV высоко ценил военные качества запорожцев. Он задумал позвать их к себе на службу и, будучи уверен в согласии, предложил перейти в мусульманскую веру. Письмо султана вызвало взрыв патристического возмущения. Эти чувства выразились в ответном письме, которое запорожцы коллективно сочинили. Начиная с 1879 года, когда Репин впервые узнал это письмо, он все время работал над «Запорожцами». Тема его захватила. Репин глубоко изучал историю и быт запорожцев под руководством Костомарова и Эварницкого, искал подходящий типаж, ездил в Запорожье и собирал памятники запорожского быта. В картине все до последней мелочи было написано с натуры. Она особенно добротна и полноценна по своей живописи. Репин изобразил момент сочинения запорожцами ответного письма султану. Под открытым небом за широким столом расположились старшины запорожского войска. Происходит коллективное сочинение письма, каждый старается вставить словцо поострее и пообиднее для султана. Писарь старательно записывает, смакуя каждое слово. Сочинение письма вслух вызывает раскаты могучего хохота. Так отвечают запорожцы на предложение султана, который самонадеянно рассчитывал сделать их своими наемниками. Могучая реалистическая живопись делает эту картину одним из самых ярких произведений Репина.

Картина была куплена Александром III, и на эти деньги Репин приобрел имение Здравнёво, недалеко от Витебска на берегу Западной Двины. Здесь Репин первое время работает на земле, устраивая дом и ухаживая за яблочным садом. Он с увлечением копается в земле и наслаждается физической усталостью. Но потом он горячо принимается за работу и творит такие чудеса как «Осенний букет» и «Дуэль». Молодая девушка с большим пучком полевых цветов стоит прямо перед зрителем. На фоне — поле и вдали лес в осеннем уборе. Вся картина словно соткана из этих красок осени, нежных и мерцающих в прощальной ласке сентябрьского солнца.

В «Дуэли» Репин изобразил ее страшный финал. На глазах секундантов и доктора смертельно раненный офицер прощается со своим врагом. Ему остались минуты жизни. И

эти минуты перед лицом природы, перед темной стеной деревьев, верхушки которых позолотили лучи солнца, вмещают человеческие чувства огромной силы.

Избрание профессором Академии Художеств снова заставило Репина постоянно жить в Петербурге. Всею душою он отдался новому делу. Его мастерская стала самой популярной в Академии. В ней воспитались все русские художники следующего поколения: Д. Кардовский, И. Грабарь, Б. Кустодиев, А. Остроумова-Ледва, Г. Горелов, К. Соков, Малевич и др.

Последняя замечательная картина Репина «Заседание Государственного Совета» — огромный коллективный портрет, подлинный шедевр репинского искусства.

Репин несомненно является самым выдающимся портретистом XIX века. Он занимался портретом еще до Академии и за свою длинную жизнь написал бесконечную вереницу портретов. С непостижимой быстротой первое впечатление слагалось в его душе в законченный образ, и он заботился только о том, чтобы медлительность исполнения не стерла эти яркие черты. Портреты его отличаются сверхъестественной быстротой исполнения. Знаменитый портрет Льва Толстого (1887 г.) был написан в течение трех дней. В два сеанса был написан великолепный дрезденский портрет Стасова. Этюды к «Государственному Совету» были почти все сделаны в один сеанс. Это мгновенное решение образа — самое поразительное в портретном искусстве Репина. Но есть и еще одно свойство, необычайно важное, глубоко проникающее все творчество Репина, в портретах выступающее с особой ясностью. Репин был реалистом до мозга костей. Он писал как-то о Льве Толстом (Т. А. Толстой — 20 августа 1891 г.): «...главная и самая большая драгоценность в нем — это его воспроизведение жизни». Эти слова могут быть вполне отнесены к самому Репину. Репин недаром изучал Рембрандта, Франса Гальса и Веласкеза. Он чувствовал природу каждой своей модели. Это действительно, как писал его учитель Крамской, «сама природа, вскрытая уму человека».

Великий реалист Репин был исполнен благоговеющего чувства перед природой и глубочайшей любовью к родине. Он работал непрестанно, до последних дней своей жизни. Последние годы он жил в Куоккала, в Финляндии, рвался оттуда к оставленным друзьям, к своему народу, который так глубоко познала его душа художника. Смерть последовала 29 сентября 1930 года, когда Репину исполнилось 86 лет.

Война с немецкими захватчиками еще выше подняла в советском народе живое чувство истории. И мы обращаемся к Репину, гений которого так полно и значительно выразил характер народа, создав живописный язык, гибкий, живой и естественный, могущий сильно и ясно выразить ту правду, воплощение которой было непрестанной целью великого художника.

ХРОНИКА МАЛЕВИНСКИХ

И. ЛЕЖНЕВ

★

Книга Анатолия Виноградова «Хроника Малевинских» очень интересна по замыслу.

Автор хотел рассказать о жизни и творчестве такого гениального русского человека и патриота как Дмитрий Иванович Менделеев, об его новаторстве в области науки и промышленности, об его мечте поставить науку и промышленность целиком на службу народу, — о мечте, неосуществимой в условиях самодержавия и капиталистической анархии производства. Уже одна эта тема заслуживает внимания советского читателя и требовала от автора большой работы. Но он поставил перед собой задачу несравненно более широкую. Он задумал вывести в своей книге также и Ленина, показать его борьбу за социализм, его реальную постановку той же проблемы овладения силами и богатствами природы в интересах миллионов. Отсюда сама собой возникла необходимость обрисовать последовательно, этап за этапом, героическую борьбу за революционное преобразование России, ее государства и экономики.

Предстояло очертить крупным планом путь, пройденный Россией за время от студенческих лет Менделеева до наших дней, развернуть картину чередования трех поколений русских людей, — «хронику», охватывающую события и процессы на протяжении почти целого столетия. Эту «хронику» титанического размаха автору хотелось закончить апофеозом. Пусть читатель увидит, как воплотятся в действительность такие грандиозные планы Ленина и Сталина как овладение Арктикой, освоение Северного морского пути, создание теплотехнической и энергетической базы в Заполярье на основе подземной газификации углей. И пусть каждый ощутит в этом апофеозе незримое присутствие Менделеева, наглядно увидит, как его гениальная утопия становится действительностью в условиях победившего социализма. Вот что было задумано автором.

Для такой темы «площадь» в 22 авторских листа вовсе не велика, если бы книга действительно была насыщена большой мыслью, художественными образами, дыханием истории. К сожалению, всего этого в книге нет. Вместо

насыщенности — размашистость, верхоглядство, вялость и.. множество непростительных ошибок. В итоге — благородный, широкий и смелый замысел выполнен совершенно неудовлетворительно.

Вряд ли удачна уже сама попытка заинтриговать читателя лжедокументальностью книги: повествование в первой части ведется от имени неведомого «ученика» Д. И. Менделеева, инженера В. Н. Малевинского, а во второй — от имени его сына, П. В. Малевинского. В языке того и другого нет ни печати времени, ни печати индивидуальности, — все написано одним и тем же языком современности с некоторой стилизацией под мемуары.

Почти совсем не индивидуализирован язык многочисленных действующих лиц, — сто лет назад и сегодня они говорят одним и тем же языком. Сами эти персонажи — не живые люди, а какие-то отвлеченные схемы. Не говоря уже о второстепенных фигурах, даже «ведущие» — Д. И. Менделеев и семья Малевинских — как характеры обрисованы лишь расплывчатыми контурами. Слабее всех обозначен автор вторых «записок», Петр Малевинский. То, что он — филолог, почти не чувствуется в его записках, и вовсе непонятно, зачем автор выбрал для него специальность филолога.

В книге речь идет о периодах истории, следовавших один за другим. Каждый из них был крайне своеобразен, насыщен своей особой атмосферой, отличен от другого резкими, неповторимыми чертами.

60-е годы занимают в истории русской общественной мысли особое место. Демократические и материалистические идеи Чернышевского нашли живой отклик в среде естествоиспытателей (Сеченов и его школа), композиторов («могучая кучка»), художников (ранние передвижники). В книге мы встречаемся со всеми этими тремя категориями творческой интеллигенции, но одушевляющего их идейного устремления не чувствуем.

Крайне смутно и противоречиво представлены политические взгляды самого Д. И. Менделеева. С одной стороны, он говорит с похвалой о Чернышевском (стр. 14); с другой — по во-

просу об освобождении крестьян он (притом, на следующей же странице!) высказывается так: «уж пуская чиновники и помещики этим делом занимаются». В 1856 г. Менделееву отказали в заграничной командировке, и тогда он, по словам автора, «внезапно почувствовал резкое отвращение к царским порядкам» (стр. 22). Стало быть, до этого он был сторонником порядков Николая Палкина, что ли? На самом деле было не так, да и в книге чувствуется, что не так, а как именно — этого читатель из труда Анатолия Виноградова вовсе не узнает.

Неясно также, почему Менделеев в годы его учительства в гимназиях переехал из Симферополя в Одессу. На 12 стр. сказано: «Стало холодно в Симферополе. Переехал Менделеев в Одессу». Это вызывает недоумение: разве в Одессе теплей, чем в Симферополе? Но на следующей, 13 странице, мы узнаем, что сестра Менделеева, Ольга Ивановна и ее муж, Басаргин, декабрист, писали ему в Симферополь: «опасаемся мы, чтобы тебя не увлекли ратные дела (во время Крымской кампании. — И. Л.), которым пользы ты никакой не принесешь, а между тем испортишь свою будущность». Опять неясно и как-то недостойно Менделеева. Что ж, он переехал в Одессу, послушавшись Басаргинных и отступая от патриотического долга во имя карьеры? Вздор это! Но словечко брошено, намек сделан, и поскольку никакого иного объяснения, кроме мнимой разницы температур в Одессе и Севастополе, не дано, это словечко, этот намек действуют...

Период становления российской социал-демократии слабо отразился в книге: он проходит целиком за кулисами. Показаны только разные приемы конспирации, и впечатление остается такое, будто все это был какой-то приключенческий фильм — игра с передеваниями и маскировкой. Пожалуй, еще слабее обрисованы последние периоды: революция 1905 г., годы реакции, годы первой мировой войны, Октябрьская революция, гражданская война. В советской эпохе выдвинуты на передний план бытовые неурядицы, трудности на пути осуществления ленинского плана, действия сопротивляющихся революции сил: саботаж буржуазной интеллигенции, белогвардейщина, вредительство, происки шахтинских инженеров-предателей на службе у своих бывших хозяев, измена Троцкого, Пятакова и других более мелких шпионов и диверсантов.

Наиболее значительное в истории последнего полувека — работа партии, революционность масс, героика борьбы и труда — смазано в книге. Это смазывание достигается своеобразным литературным приемом.

В первой части книги повествование ведется от имени инженера В. Н. Малевинского, человека, хоть и честного, но крайне ограниченного, неумного, политически индифферентного и по характеру безвольного. В партийной работе участвует его жена Нина, но она, конечно, конспирирует, мужа в свои тайны не посвящает. Ему «не видно», что происходит в революционном подполье, а раз «не видно» человеку, то как же

он может об этом рассказать? Во второй части повествование ведется от имени такого же недоуемого — младшего сына Малевинского. И в первой и, особенно, во второй части книги функция политической активности передана автором старшему сыну Малевинского, большевнику Сергею. Он — сокурсник Ленина по Казанскому университету, его непосредственный помощник в эмиграции, затем комиссар Красной Армии в годы гражданской войны, чекист, вдохновенный новатор социалистической промышленности. Нужно ли желать лучшего? Но все дело в том, что пишет-то Петр, а Сергей неизменно отсутствует. Разделение ролей таково, что Сергей действует где-то в таинственной романтической дали, исполненный острой борьбы и смертельного риска, а Петр не делает ничего иного, как только беспокоится о судьбе недолго исчезающего каждый раз брата. Беспокойству этому отведено очень много места. О Сергее беспокоится вся семья Малевинских в первой части книги. О нем беспокоятся и во второй — сперва только Петр и отец, а затем, после женитьбы Сергея, его жена и дочь. Кроме беспокойства, за Сергея многие страныды книги отведены отражению тусклого кругозора обывателя-филолога Петра, анекдотическим приключениям и вялым рассуждениям о богатствах природы, открывающихся человеку.

Появляется Сергей сколько-нибудь длительно только в конце книги. Но о новаторстве социалистической промышленности, о подземной газификации углей рассказывает языком газетной статьи, написанной инженером-специалистом. Приведем два примера:

«Разбросанные по всему Полярному бассейну группы островов представляют собою остаточные вершины древнего материка, опустившегося под уровень моря. Восточную часть древнего материка, именно лежащую в районе нынешнего Чукотского полуострова и Аляски, исследователи называли Берингией. Вот почему и на Дальнем Востоке и на Дальнем Западе эти остаточные вершины упавшего под Ледовитый океан материка имеют общие признаки. Вот почему есть полная уверенность в том, что мы по всему побережью от Камчатки и Берингова пролива, через Таймыр и пещорские угли, через Шпицберген, найдем гигантские залежи угля. Наш Северный морской путь в скором времени превратится в нормальную действующую судоконную линию. Мы овладеем Арктикой и перенесем все представления о ней, создавая теплотехнические и энергетические базы в Заполярье на основе подземной газификации углей и новых невиданных форм угольного хозяйства» (стр. 430).

Или в другом месте:

«Вы, конечно, знаете, что собой представляет замена жидкого моторного топлива коксовым газом. Автомашина с мотором в шестьдесят лошадиных сил требует на километр пробега семнадцать кубометра коксового газа или три четверти кубометра метана при нормальной температуре и давлении, тогда как расход бензина на километр составляет три десятых ки

лограмма. Допустите, что моя машина проходит в год тридцать тысяч километров, и если я даже простой денежный расчет произведу с переводом моей машины на газовый двигатель, то получу экономии десять тысяч рублей. Наша задача — создать новый тип сверхлегкого газового баллона, имеющего ёмкость, ну, в пятьдесят литров газа, сжатого под таким давлением, чтобы машина могла идти десять тысяч километров на одном баллоне» (стр. 434).

В эпилоге дана картина будущего. Она начинается словами: «Миновала полоса войны. Наша Родина вернулась к новым боям с природой. Обновленная, счастливая, непобедимая, она с полным правом может не вспоминать об эпохе варварского фашизма» (стр. 438). Правда, книга была подписана к печати в августе 1941 г., и нельзя от автора требовать изображения картин Великой Отечественной войны. Однако для всего стиля книги и проявленного в ней автором «чутья истории» крайне характерна фраза о том, что можно «с полным правом не вспоминать об эпохе варварского фашизма». Сомнительное право «не вспоминать» автор распространяет и на все прошлое. Он слишком широко пользуется этим правом на протяжении 22 печатных листов своей книги, посвященной как будто именно прошлому.

Пренебрежение автора к своей обязанности вспоминать, притом полно и точно, поразительная легкость, с какой он обращается с фактами, приводят к многочисленным отступлениям от исторической правды, а подчас и к вовсе смешным ляпсусам.

Нина Малевинская в 1896 г. цитирует слова Энгельса о Менделееве из «Диалектики природы» (стр. 216). В годы первой мировой войны Малевинский-отец «ровным голосом» говорил: «Я прочел по твоему совету «Диалектику природы» Энгельса» (стр. 313).

Читаешь это, и возникает вопрос: почему автор заставляет чету Малевинских, честных и правдивых людей, так безбожно врать, да еще «ровным голосом», — ведь «Диалектика природы» у нас впервые вышла в 1925 году!

Откуда мог взять Малевинский-отец в 1901 г. формулировку: «государственная машина будет разбита»? (стр. 224—225). Не вычитал ли её автор у Ленина впоследствии?

При содействии автора (просвещенном, как говорится) Малевинский-отец хочет доказать, что философские предпосылки исканий Менделеева были уже подготовлены предшествующим развитием. Благое пожелание. Как же оно выполнено? Читаем:

«Дмитрий Иванович стал искать взаимоотношения между физической и химической сторонами в разных явлениях природы. По существу это был вопрос о том, каким образом количество переходит в качество. Помог этому тот самый новый дух эпохи, который, несмотря на все мои возражения, оба

мои сына с энтузиазмом приветствовали. В 1848 году вышел «Манифест Коммунистической партии» — и вопрос о структуре человеческого общества перестал быть изолированным от вопроса о правильном понимании материальных процессов» (стр. 18).

Загадочным остается: каким способом Малевинский и автор могли вычитать в «Коммунистическом манифесте» о диалектике природы, т. е. то, чего там вовсе нет?

С философией вообще автору не повезло. Во второй части книги Малевинский младший рассказывает, что был воспитан в духе идеалистической философии. Потом произошел скоростной перелом: «Огромный удар по моему мировоззрению был нанесен Фейербахом» (стр. 246). Как же перенес его Петр, как и когда пришел в себя? Автор не томит нас долгим ожиданием развязки. Уже через полстранички оправившийся Петр повествует бодрым голосом: «Я именно потому так легко отошел от идеалистической философии, что слишком хорошо и глубоко ее знал».

Петр Малевинский проявил чудо интеллектуальной выносливости: он «так легко» перенес «огромный удар» по своему мировоззрению... Почему же совершилось это чудо? В книге сказано: потому, что персонаж «слишком хорошо и глубоко» знал идеалистическую философию. Но читатель-скептик не удовлетворен этим легковесным объяснением. И он строит свои догадки. Он думает: не потому ли всё так написано, не потому ли автор так легко подошел к огромной теме, что слишком слабо знает предмет, о котором взялся писать?

Малевинского-отца автор хочет изобразить человеком, чуждым политике. Но приёмы «стилизации», которые он с этой целью применяет, весьма неуклюжи и вряд ли уместны. В. Н. Малевинский «вспоминает»: «Недешевый и огромный том неизвестного мне Маркса под названием «Капитал»..» (стр. 88), а дальше так: *какая-то* Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника Трепова» (стр. 89), «...новая формация людей, шедших за э т и м Георгием Плехановым...» (стр. 117). Современник тех событий, как бы он туп не был, вряд ли стал бы писать в таком тоне, особенно ежели он «самостоятельно» думался до «слома государственной машины».

Еще мы должны поверить А. Виноградову, будто тот же человек мог написать: «Помнит ся м н е, что в Портсмут для заключения мира ездил Витте» (стр. 236). Ужимка вроде «помнит ся» здесь совершенно неуместна. Современники русско-японской войны знали об этой поездке Витте совершенно точно. Ведь по договору, заключенному в Портсмуте в 1905 году, царское правительство было отдало Японии Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним, южную половину

Сахалина, южную часть КВЖД и признать протекторат Японии над Кореей. Какой русский не знал этого в те годы, особенно — инженер, петербуржец! Точно так же он не мог не знать, что графский титул Витте получил сразу же по своем возвращении в Петербург из Портсмута, а не при издании манифеста 17 октября 1905 года (стр. 236).

С Портсмутом у автора вышла и другая неувязка, не менее конфузная. От имени В. Н. Малевинского он пишет: «Шестнадцатого августа на английском побережье был заключен мирный договор с Японией...» Непосредственно за этой фразой следуют приведенные уже слова: «Помнится мне, что в Портсмут для заключения мира ездил Витте». Итак, не подлежит сомнению: тот самый Портсмут, где был подписан русско-японский договор в 1905 г., находится на английском побережье. Но это — неправда. Для заключения договора Витте ездил не в Англию, а в США. Есть три Портсмута: два в Америке и один, действительно, на английском побережье. Но в этот английский Портсмут Витте и не ездил.

В том же коротеньком абзаце имеется еще одна забавная ошибка: договор был заключен 23-го августа, а не 16-го. Была бы эта дата написана цифрами, автор мог бы еще сослаться на небрежность типографии, корректоров, перепутавших цифру. Но нет же! Для вящей достоверности он написал эту дату прописью: *глава XXIII* так и начинается: *Шестнадцатого августа на английском побережье...*

Как видим, главные действующие лица книги, сами мемуаристы Малевинские, страдают амнезией — ослаблением памяти. Внимательное чтение книги наводит на мысль, что эту болезнь они заимствовали у самого автора. Взявшись написать летопись событий за целое столетие, он позабыл многое не только из далекого прошлого, но из самого ближайшего настоящего. Он пишет страницу и забывает, что писал на прошлой, заканчивает страницу и иной раз забывает, с чего ее начал.

Отсюда происходят довольно забавные «превращения».

Усталый Менделеев (по Виноградову, этот kloкочущий энергией человек — всегда «усталый», десятки раз повторяется в книге тот же эпитет), — так вот, усталый Д. И. Менделеев и А. П. Бородин, чтоб развлечься, отправились из Германии в Италию. Путешествие описано так: «Воображаю, как мелькала перед ними из окна кареты Велинцона после «Озера четырех кантонов» и Сент-Готарда: воображаю, как они проехали Арону, Наварру, Александрию, Геную» (стр. 37). Что за чудесное путешествие в карете! Но какая досада: через десять строк карета превращается в поезд: «Поезд остановили, пассажиры высадили и стали проверять документы».

Мы находим в книге и другое «превращение», более серьезное.

Величайшим научным подвигом Д. И. Менделеева было, как известно, открытие им одного

из основных законов современной химии — периодической системы элементов. Малевинский и Виноградов утверждают, что известный немецкий химик Лотар Мейер «кухтирился присвоить себе открытие периодической системы». Они рассказывают о том, что Менделеев поручил перевод своего доклада о периодической системе на немецкий язык Бейльштейну, немцу-химику, работавшему в Петербурге, а тот переслал рукопись Лотару Мейеру в Германию, якобы для помещения в немецких журналах. «Лотар Мейер, — читаем дальше, — немедленно опубликовал свои соображения о периодическом законе. Менделеев только пожимал плечами, читая мейеровскую статейку, и удивился, куда пропал собственный его, менделеевский доклад!» (стр. 104). Итак, тут дело шло о плагиате, о присвоении немцем чужого авторства, о воровстве. Не все хитрики у нас разделяют этот взгляд, но если уж он высказан автором с такой определенностью, то надобно его держать. Но автор, забыв о том, что написал на 104-й стр., на 304-й пишет прямо противоположное: «Менделеев делал из своей теории практические выводы, и практика блестяще подтвердила его научное предвидение. А Лотар Мейер смеялся над собственной теорией и считал ее никому не нужной игрушкой». Так, уворованная немцем теория превратилась в его собственную. Поистине чудесные метаморфозы совершает перья трех сочинителей: Виноградова и Малевинских — отца и сына.

Хочется упомянуть еще об одном характерном происшествии. В Донбассе иностранный инженер Буроз сообщает Малевинскому, что в 1905 г. Англия и Германия вместе ввезли в Россию 250 млн. пудов угля (стр. 369). А на следующей странице сказано:

«...ц и ф р ы Б у р о з а в устах Шварцмана (старого парторботника. — И. А.) приобретают совсем другое значение.

— Товарищи, — говорил Шварцман, — до войны Англия и Германия ввозили в Россию почти полмиллиарда пудов угля. И это при своем-то Донбассе. Чем это объясняется? Донбасс был в руках капиталистов...»

Капиталисты, действительно, повинны во многом. Шварцману следовало бы еще сказать и о вине царского правительства, которое всей своей политикой, в том числе торговой, и железнодорожными тарифами сильно удорожало цену отечественного угля в Петербурге. Это позволяло английским и немецким экспортерам угля успешно конкурировать с донецкими углепромышленниками на внутреннем российском рынке и перехватить таким образом снабжение петербургской промышленности. Но как ни велика вина капиталистов и самодержавия, — будем же справедливы и к ним! — не они повинны в том, что 250 млн. пудов на 369-й странице превратились в 500 млн. на 370-й. И если «ц и ф р ы Б у р о з а в устах Шварцмана, на самом деле, «приобретают совсем другое значение», то в этом переосмыслении имеет свой пай и поистине феноменальная забывчивость автора.

Легко, слишком легко обращается он с историей, с фактами, цифрами, даже с собственными своими утверждениями. Этой небрежности в отношении содержания полностью соответствует небрежность и в стиле.

Автор пишет так, что не выберешься из лабиринта загадок. Такую загадку представляют, например, слова: «старый Фауст, говоривший устами своего творца Гёте» (стр. 125). Что устами героя часто говорит автор, это было знакомо еще до появления записок Малевичских. Но чтобы герой говорил *устами автора*, — такого еще не бывало.

Другая загадка. На первой же странице записок Петра Малевичского (филолога!) сказано: «Я испытываю огромное счастье от того, что сейчас нахожу людей с полным гармоническим сочетанием всех тех стремлений, которые когда-то были разобщены и принадлежали к одной культуре и были доступны людям только как часть этой культуры» (стр. 243). Попробуй-ка понять, что хотел здесь сказать автор, что к чему.

Когда читаешь в другом месте той же книги: «В Севастополе гремели пушки. В Петербурге печаталась книга об изоформизме» (стр. 18), то невольно вспоминаешь шутливую украинскую поговорку: в огороде бузина, а в Киеве дядька.

Стоит ли еще приводить ляпсусы вроде: «пара фонарей» (стр. 338), «он не мог писать и говорить по латыни» (стр. 55), «не мог» вместо «не умел» и т. д.

О самом авторе нельзя сказать, что он не умеет писать. Неудача «Хроники Малевичских» — совсем в другом. Анатолий Виноградов поставил перед собою чрезвычайно интересную задачу, задумал действительно нужную книгу, но не осознал своей ответственности, отнесся небрежно к истории, к материалу, к языку, к самой своей работе. Конфуз произошел от того, что автор поспешил...

Мы не отступим от истины (и никакая справка в энциклопедии не поможет делу!), если назовем такую работу халтурой. В Малой Советской энциклопедии это слово разъяснено так: «Халтура, небрежная и недобросовестная работа, выполняемая зачастую без знания дела».

Издательство не может и не должно подменять собою автора, но есть пределы, в которых оно и может и обязано ему помочь. Уже одна только добросовестная консультация историка оберегла бы от многих ошибок. Квалифицированная и тщательная правка рукописи освободила бы ее от многих ляпсусов. Редактор книги тов. А. Митрофанов, был на этот раз совсем невнимателен. Если иной раз спешит автор, то вовсе не торопятся у нас издательства. Это — вряд ли добродетель. Однако вдвойне худо, что замедленные темпы издания не используются для углубленной работы над рукописью. «Хроника Малевичских» — наглядный тому пример.

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА АНГЛИИ

Е. ГАЛЬПЕРИНА

★

Джон Б. Пристли — один из тех писателей современного Запада, которые естественно нашли свое место в войне свободолюбивых народов против фашизма. Он многое сделал для организации английского тыла, выступал по радио с политическими речами, неустанно разъезжал по стране, знакомясь с организацией обороны и помогая ей. Пристли проявил себя за годы войны как активный общественный деятель.

И в его деятельности, и в его книгах этих лет можно усмотреть несколько основных идей. Во-первых — это стремление Пристли активизировать участие его страны в войне, ускорить ее темпы, приблизить дни решающего наступления союзных армий. И отсюда последовательная борьба Пристли против тех сил и элементов в Англии, которые замедляли, срывали активное ведение войны. Во-вторых — это упорное стремление Пристли взглянуть в еще неясные контуры будущего, его твердое убеждение в том, что послевоенный мир должен быть и будет новым.

Все это vividно отличает Пристли от тех западных писателей, которые даже среди бедствий нынешней войны твердят о правах личности на созерцание.

Пристли много пишет о судьбах среднего человека, о народе. Мы, конечно, знаем, что настойчивое повторение литератором слов «маленький человек», «шап, of the street», вовсе не есть еще гарантия подлинной демократичности. Вспомним Ганса Фалладу, начавшего с защиты «маленького человека» и ставшего фашистом. Вспомним Жана-Жюно, этого якобы «певца французского крестьянства», который сначала рекомендовал французскому народу жизнь на коленях, а потом сам показал, как это делается. Эти люди и немало других продемонстрировали, что не каждый, говорящий «народ» или «демократия», может войти в царство демократии.

В Пристли заметна известная неотчетливость его воззрений на будущее, известная туманность его симпатий. И, однако, нельзя не верить в подлинную теплоту, с которой он пишет о

простых людях своей страны. Ибо Пристли свойственно стремление активизировать английский народ в его поисках пути к лучшему будущему, опираясь в этом на передовые настроения и черты народа.

Это составляет наиболее сильную сторону книги Пристли «Дневной свет в субботу», романа об авиазаводе, вышедшего в 1943 году.

Гигантские авиазаводы, искусно замаскированные подземелья, где строятся военные самолеты — это для Пристли очаги национальной мощи, кузницы победы. Но не технические или производственные, а социально-психологические проблемы занимают писателя. Завод для него — душа английского тыла. Здесь сосредоточены те народные массы, которые решают судьбу страны. Не преувеличивая литературных достоинств романа Пристли, нужно сказать, что он читается с неослабевающим интересом. Роман Пристли воспринимается как подлинный кусок английской жизни и вместе с тем как попытка поставить ряд острых социально-политических вопросов сегодняшнего и завтрашнего дня.

В сущности это первая английская книга, вышедшая за время войны и дошедшая до нас, где мы действительно увидели английский народ, английских рабочих, не в качестве каких-то абстрактных понятий, но в их живой плоти.

Завод, описанный Пристли, работает недостаточно хорошо. Его показатели низки, хотя рационализация проводится на заводе последовательно и упорно. В чем же дело? Пристли отвечает: там, где действует народ, нельзя все свести только к техническим причинам. На первый план он выдвигает моральный фактор. Проблема морального фактора в войне в большой мере и посвящен роман Пристли.

Сила его прежде всего в том, что вместо отвлеченного однородного понятия «английские заводские рабочие» — здесь возникает очень живой пестрый человеческий коллектив. Галерея самых разнообразных людей, с самыми различными интересами, привычками, судьбами, несчастьями. Тысячи новых людей пришли

на заводы, заменяя ушедших в армию старых кадровых рабочих. Удивительное зрелище представляет завод во время войны — причудливое сочетание немногих кадровиков, курносых мальчуганов, которых мама плача провожает на работу, хрупких красавиц из модных ателье, покивших домохозяйки, которые кроме рыльца и кухни отроду ничего не видели, мелких торговцев, разоренных войной, одиноких несчастных людей, семьи которых погибли в неистовых бомбежках 1940 года. И это пестрое сочетание людей, подчиненное умно налаженной производственной машине, рационализированной до предела, строит военные самолеты.

Однако эти новые «рабочие» еще не стали настоящими производственниками. Джойс Дирхерст, похожая на большой цветок, склонившись над станком, с грустью вспоминает прежнюю «изящную жизнь» в модном ателье. Пожилая домохозяйка целый день рассказывает в цеху, как доживает ее невестка. Деревенская девушка Нелли Диттон больше всего занята мечтами о том, как она начнет учиться играть на фортепьяно и этим компенсирует то, что ее лицо несколько перекошено на одну сторону. Каждый из них, привыкший жить только частной жизнью, живет ею и в цеху. Поэтому на вопрос — нравится ли им работа на заводе, большинство не может ответить ни «да» ни «нет», но лишь неопределенное «ничего»... В душе каждый из них мечтает вернуться в свой частный мирок. И хотя их тщательно обучали простейшим операциям, но они еще не захвачены общим делом.

Почему же они так трудно превращаются в настоящих рабочих? Этот вопрос естественно возникает у советского читателя. Ведь мы повседневно видим, как на наших заводах новые рабочие быстро осваивают даже сложные технические операции. За год, иногда за месяцы, из новичка выковывается настоящий рабочий, страстный производственник, рекордсмен высоких показателей.

Пристли раскрывает причины этого различия. В романе описаны те месяцы 1942 года, которые предшествовали наступлению союзных армий в Африке. Длительное топтание армий на месте, мучительно замедленные темпы войны поражают то, что для людей тыла становилась все менее ощутимой связь их работы с фронтом. Советские рабочие были проникнуты духом высокой сознательности и организованности, воспитанным, в народе идеями нашего государства. Для советского рабочего все время войны было предельно ясно, что фронт требует его продукции. Простой станков терзали люди, потому что ощущались как несделанные выстрелы, недоданные пушки. И общие цели войны, и единство усилий всей страны, и то, что снаряд, выпущенный твоим цехом, сразу идет на фронт и стреляет по врагу — это все годы войны ощутимо каждому и создает атмосферу общего подъема. Этого мы не видим на заводе, описанном Пристли. Работаем, выпускаем самолеты,

а для чего, для кого — неизвестно: таково было ощущение рабочих, и оно накладывало на работу каждого отпечаток какой-то не то скуки, не то усталости. Без чувства необходимости работы каждого, не создавалось той боевой целеустремленности, которая даже новичка захватывает и подчиняет общему коллективному ритму.

Но дело шло не только о новичках. Даже у старых кадровых производственников медлительные темпы войны, общая непонятная для них неопределенность военной ситуации вызвала какую-то моральную депрессию. Это остро схвачено Пристли в любопытном образе главного инженера Эрика. Он — талантливый, энергичный инженер, вышедший из рабочих, давно и кровно связанный с производством. В дни после Дюнкерка, когда стало ясно, что судьба Англии зависит от того, сумеет ли страна организовать свою оборону, свой тыл, когда стало ясно, что судьба народа зависит от его рабочих рук — в те дни Эрик и его товарищи работали с огромным подъемом. Об этих днях напряженного титанического труда, о днях после Дюнкерка старые рабочие авиазавода вспоминают как о высшем подъеме. А потом опасность прошла, напряжение спало. Та жажда борьбы, та энергия, которая порождала трудовые подвиги Эрика, стала выливаться у него в пьянство, нервные выходы. И вместе с тем у него укрепляется мысль: кто-то нарочито замедляет войну, сводит на-нет наш труд. Быть может люди на заводах не всегда ясно представляли себе кто именно срывает войну, но недовольство, озлобление накапливались. Озлобление против чиновников в министерствах, против реакционных политиков — тори, которые болтают на митингах о национальной обороне, а сами исподтишка срывают дело победы. Озлобление производственников, кующих оружие, против реакционных болтунов и лицемеров, вроде лорда Бриксона, делающих себе на войне карьеру.

Вся эта психологическая атмосфера настроения людей — и правдива, и впечатляюща. Она напоминает другую английскую книгу о войне, вышедшую ранее, роман Дж. Олриджа «Подписано честью», книгу о молодых английских летчиках, которые в 1940 году защищали греческий народ от нахлынувших немецких орд. На полуразбитых машинах горсточка храбрецов самоотверженно сражалась против тучи Мессершмиттов, прикрывая трагический поход в горы и леса греческого народа. И у героя книги, молодого пилота, который все более остро чувствовал свою кровную связь с защищаемым им народом и нарастающую ненависть к фашизму, возникал болезненный вопрос — кто виноват?

Связь этих книг очевидна. На разных этапах войны, в периоды длительных затиший, лучшие люди английского народа в армии и в тылу болезненно ощущали замедленность военных действий, с ненавистью искали

виновников и устами очень различных писателей говорили о своем желании воевать более решительно, более быстро итти к победе.

Пристли считает, что именно этот моральный фактор снижал работу завода, замедля превращение тех разнообразных людей, которые приходили на военные заводы в боеспособные рабочие коллективы.

Поэтому психологически убедительно звучат эпизоды книги, описывающие энтузиазм рабочих при известии о победах в Африке в ноябре 1942 года. Это бурная радость людей, вдруг почувствовавших для чего и для кого они работают — для «наших ребят», которые громят армию Роммеля. И производительность завода бурно идет вверх.

Такова с точки зрения Пристли роль морального фактора в тылу. Не только узко технические причины, но в еще большей степени настроения народа определяют успехи тыла, успехи войны. Эти мысли Пристли близки нам, как близка нам его мысль, что народ составляет подлинную душу страны и ее мощь.

Кто же, однако, может отрицать роль морального фактора? — спросит наш читатель. Пристли написал свою книгу полемически и в ней вывел тех, против кого он ее направил.

Пристли зорко всматривается в явления и тенденции английской жизни, враждебные народу. Наряду с лордом Тарлингтоном, шпионом в маске патриота («Затемнение в Грэтли»), рядом с лицемерными политиками и холодными чиновниками, он в интересно очерченном образе инженера Блэндфорда попытался дать идеологию технократии.

Инженер Блэндфорд, технический руководитель завода — талантливый инженер, человек с блестяще развитым чувством технической организации.

Техник и только техник, он видит в заводе не коллектив людей, но лишь систему машин, которая должна быть приведена в систему рационализированной гармонии. Людей у станков он презирает, — они для него лишь винтики машины. Между рядовыми работниками завода и им не может быть для него никаких человеческих связей. Холодный, корректный, предельно отчужденный от «простого народа», он обладает умом, великолепно работающим там, где он имеет дело с чертежами, планами или машинами. Разумеется, для Блэндфорда моральные факторы в организации завода вовсе не существуют, ибо для него не существует народа.

Этот характер связан с ясно осознанной политической идеологией. В отличие от других персонажей романа Блэндфорд трезво видит классовую структуру английской промышленности и утверждает ее необходимость. Он признает то, что он называет «болтовней о демократии». С его точки зрения отношения между толпой неквалифицированных рабочих и стоящими над ними капитанами промышленности, ее техническими организаторами — это отношения иерархии, которая по его мнению неизбеж-

но вырастает из самого существа все более централизованной и огосударственной промышленности. Аристократ по рождению, он убежденный сторонник аристократической иерархии. Блэндфорд упорно проводит рационализацию на заводе, необходимую чтобы высвободить кадровых рабочих для армии, заменив их новичками. Тщательно изучается каждая техническая операция и упрощается настолько, чтобы неквалифицированные новички могли работать больше, чем прежде старые опытные рабочие. Но вместе с тем Блэндфорд использует рационализацию в своих политических целях — чтобы устранить с завода старых кадровых рабочих, в которых он чувствует своих социальных и политических противников. Он ненавидит их, потому что они — люди независимые, имеющие свои суждения, а не только покорные исполнители. Он мечтает о заводе, где вообще не было бы рабочих, но лишь покорные машины. Остро развивающийся конфликт между ним и главным инженером Эarikом, — это подпочвенная политическая борьба двух типов людей, которые вырастают в промышленности в дни нынешней войны. И Пристли, с большой теплотой обрисовав фигуру инженера, человека из народа, рабочего-интеллигента, счел, по видимому, нужным окончить их конфликт победой Блэндфорда. Удалив с завода Эарика, Блэндфорд добивается замены его способным молодым техником, который будет послушным орудием в его руках.

Блэндфорд считает себя человеком нового правящего класса, который, по его мнению, складывается уже во время войны и окончательно сформируется после нее. Это организаторы промышленности, новая индустриальная аристократия, которая должна слиться с «победителями, увешанными орденами», т. е., очевидно, с военной верхушкой. Блэндфорд уверен, что народ подчинится такому будущему, ибо, по его мнению, критика низов направлена против паразитизма, безделья высших классов, а не против их самих. Рабочие на заводе, чувствуя в Блэндфорде своего врага, называют его втихомолку «фашистом». Однако этот тип вовсе не есть повторение откровенно прогерманского лорда Тарлингтона из «Затемнения в Грэтли». Блэндфорд иронически относится к гитлеровцам. Без сомнения немецкий фашизм кажется ему слишком наполненным «экспессами», шокирующими его холодный и корректный ум инженера-аристократа. Он иронически относится к квислингам. Но Пристли очень тонко замечает, что, скептически оценивая гитлеровцев, Блэндфорд чувствует некую родственность между своими идеями и мышлением немецких военных.

Идеология технократии явление не новое и широко известное. Однако было бы неправильно недооценить проблему, выдвинутую Пристли, только на том основании, что эти идеи давно известны. Старые идеи в новой обстановке могут вновь вспыхивать и приобретать новое значение.

Образ Блэндфорда — это не более, чем беглый набросок, намекающий на большие экономические, социальные и политические процессы западного мира.

Образы новой Европы, которая подобно Фениксу должна возродиться из пепла мирового пожара, связываются в представлении реакционных идеологов с технократическими чаяниями, с образами организованного планового капиталистического общества, построенного на антинародных началах аристократической иерархии.

В одном отношении нам кажется, однако, что Пристли упростила идеологию технократа. Блэндфорд весьма откровенно высказывает молодому инженеру Энглиби свое презрение к «демократическим побрякушкам», свою ненависть к квалифицированным рабочим, свои аристократические принципы. Быть может он так откровенен, потому что разговор происходит в его кабинете с глазу на глаз. Но когда идеи Блэндфордов выходят в свет, когда они проповедуются в политических программах, в публицистических книгах, тогда эти идеи обрастают демагогическими оговорками. Иерархическая пилюля щедро золотится всевозможными демократическими блестками. Идеи Блэндфордов там, где они рассчитаны на публику, принимают внешне демократизированную форму. По сути резко противостоящие идее социализма, они охотно усваивают себе многое из социалистической терминологии. Направленные против народа, против среднего человека, они охотно в разных вариантах будут говорить о защите «маленького человека», о народе. Говоря о плановом хозяйстве, о великих принципах послевоенного мира, Блэндфорды так ловко затушают вопрос о том, кому же будет принадлежать на самом деле власть, что неопытный читатель и в самом деле наивно примет их идеи за свои туманные социальные мечты. Блэндфорды всех стран — это люди весьма искушенные не только в технологии, но и в политической демагогии. Этот момент, очень существенный, Пристли опускает.

Набрасывая многоликий портрет английского народа, Пристли неизменно занят мыслями о его будущей судьбе, о завтрашнем дне Англии. Как и многие, он пытается взглянуть в смутные контуры послевоенного мира.

Пристли твердо убежден в том, что после войны жизнь не может и не должна остаться прежней, что разрушенная война вплотную подвела Англию к новым социальным формам.

В условно-схематической форме эта мысль была воплощена в пьесе Пристли «У Ворот Города». Страшный фантастический взрыв бросил нескольких людей, представляющих основные социальные группы английского населения, к порогу некоего нового Города. Замкнутые ворота его раздвигаются и персонажи могут войти и увидеть будущее. Будущее, разумеется, прекрасно, хотя оно и не имеет для Пристли точных и определенных очертаний. Поэтому, уш-

мянув мельком, что в новом Городе нет частной собственности и денег, он подробно и настойчиво описывает прекрасные улицы, здания и особенно солнечные детские сады с счастливыми цветущими детьми. Таким образом набрасывается утопия, приемлемая для самых широких кругов.

Однако, если само будущее для Пристли туманно, то привлекательна его мысль, что первым войдет в новый Город народ, тот самый обыкновенный, трезвый, насмешливый и хозяйственный рабочий народ, который есть подлинный хозяин страны. Из всех персонажей пьесы остаться в новом Городе хотят лишь низы общества и прежде всего пожилая работница, очерченная Пристли с подлинным юмором. Живая, трезвая, по-народному умная, великолепно понимающая людей, она всюду чувствует себя как дома. И в новом мире она сразу осваивается и остается работать в детских яслях. Это как бы голос английского народа.

Мысль о завтрашнем дне, о будущем пронизывает и книгу Пристли об авиазаводе. В этом смысле ее названия и символа Субботы. Огромный подземный завод, где в причудливом свете ртутных ламп строят военные самолеты, это для Пристли некая новая пещера Алаадина.

Люди, кующие оружие, не видят дневного света. Только в субботу они поднимаются на поверхность земли раньше обычного и идут в лучах солнца — толпа обычных средних людей, народ Англии. И Пристли видит в сегодняшнем дне Субботу, преддверие Воскресенья.

Какие бы оттенки ни вносил Пристли в свое понимание будущего (об этом ниже), но само его настойчивое ожидание «Воскресенья» выражает, без сомнения, чувства и ожидания миллионов простых людей в Англии и вообще на западе.

Мы хотели бы сравнить эти концепции Пристли с хорошо известной у нас книгой Р. Гринвуда «М-р Бантинг в дни мира и в дни войны».

Вспомним талантливый портрет, сделанный Гринвудом. «Бантинг» — это простая прочная ткань, из которой сделан английский национальный флаг. М-р Бантинг, этот старомодный обломок патриархальной викторианской эпохи выступает у Гринвуда как соль нации, ее символ, как ее добротная основа, гарантирующая ее успехи, как английский национальный характер. Восхищаясь выдержкой и стойкостью среднего англичанина, которые он обнаружил во время воздушной войны над Англией, Гринвуд тонко показал, как мешанские старомодные добродетели м-ра Бантинга переросли в новые патриотические качества. Его мелочная бережливость стала необходимой в войне экономией. Его цепкость в борьбе за свое существование становится упорством в общенациональной борьбе. Его терпеливость стала стойкостью, мужеством, дисциплиной. А узкая привязанность к уютному семейному очагу, к маленькому «дому» раздвинулась до любви к большому дому — родине. И поэтому старомодный Бантинг показал себя в страшных бомбежках 1940 года настоящим героем. Не плакатным героем, совершающим необычные

подвиги, но маленьким, незаметным, стойким сыном нации, которого не могли сломить воздушные атаки немцев. «Атланты терпеливости», так назвал Гринвуд Бантингов, видя в них настоящую опору нации, атланты терпеливости, несущие на своих плечах тяжелую ношу Империи. Основным качеством английского характера он считал именно терпеливость, внося в это слово множество оттенков. Это — спокойствие, выдержка, хладнокровие, с которыми встретили Бантинги немецкие налеты. Но это также и неизменность, тяжелая неподвижность характера, замкнутость кругозора, ограниченность психики, старомодная окостенелость. Гринвуд настаивает на том, что настоящему среднему англичанину искононо чужд полет фантазии, идеи, размышления. Все это для Гринвуда проявления беспечности, так сказать, выпадающие из английского характера. «Человек, — говорит м-р Бантинг, — должен не мечтать, не мыслить, но сеять, жать и собирать в житницы».

А его нужды, страдания и радости останутся во веки веков такими же, как и с начала мира. Идеал человека — все вытерпеть, сохранить старое неизменным. Отпугнут бури войны и постаревший, потерявший сына, м-р Бантинг снова будет сажать помидоры в своем саду. Роман Гринвуда пленяет тонкостью психологического рисунка и эта психологическая сложность, мастерство детали придает его образу большую убедительность. Но на самом деле, выдавая мало характерный для современной Англии облом патриархального прошлого за английский характер, за национальный идеал, Гринвуд создал произвольную конструкцию вместо художественного обобщения. И описанный Пристли технократ Блэндфорд, вероятно, не прочь бы иметь в своих цехах подобных «Атлантов терпеливости».

Когда Пристли показывает нам на заводе многочисленные варианты английских средних людей, то веришь, что это действительно современная Англия, люди английских заводов, подлинная основа нации. В противоположность Гринвуду Пристли не рисует своих героев принципиально неизменными и настаивает на том, что они могут измениться, вырасти во время войны.

Как раз те черты, которые для Гринвуда представляют гарантию национальной прочности, Пристли рисует как черты мещанской ограниченности, которую надо преодолеть, чтобы превратиться в полную меру в «народ». Это сильная сторона книги Пристли.

Народ авиазавода — это старый мастер Клитон, демократ и радикал, но и домохозяйка, мечтающие поскорее вернуться к семье. Это инженер Элрик, для которого производство — его жизнь, но и Нелли Диттон, девушка, мечтающая после войны работать в магазине. Когда Нелли рассказывают о героической обороне Сталинграда, она спрашивает: «А в Сталинграде есть магазины?» Это деталь. Но такая деталь для советского читателя внезапно раскрывает целый психологический мир. Мы невольно

сравниваем ее с многочисленными работницами наших цехов, мечты которых дальше и шире.

Важно, однако, что для Пристли черты мещанской ограниченности, узости того частного мира, в котором привыкли жить Нелли Диттон, тоже кажутся мешающими, подлежащими преодолению, переделке.

И здесь мы подходим к тому, что привлекает внимание в книге Пристли. Это вопрос о том, как Пристли понимает и чувствует нашу страну. Речь идет не только о тех эпизодах книги, где прямо описан бурный энтузиазм рабочих при упоминании о Советском Союзе, их восторженное отношение к Красной Армии, защищающей Сталинград. Это понятно само собой. Но мы видим в книге Пристли и то, как писатель стремится творчески осознать своеобразие советского государства, типы и характеры наших людей. Это ощущается во всем. Прежде всего в том, как Пристли формулирует идеал человека — «счастье не в том, чтобы получать и сохранять, но в том, чтобы творить и давать». Идеал народа, творящего ценности, с хозяйским отношением к заводу и производству — это близко нам. Внутренние, близкие нам, черты особенно очевидны в привлекающей фигуре девушки-наладчика Гвен Оклей, которая в своем замасленном комбинезоне, с запачканной щекой проходит по заводу как маленькая его хозяйка. Гвен не знает той мещанской узости и ограниченности, которая довлеет над новенькими работницами. Производство — это ее стихия, завод — это ее дом. Именно ее среди всех надеяет Пристли глубокими, чистыми и сильными чувствами.

Все это, разумеется, не значит, что Пристли предпочитает коммунистическое разрешение социальных вопросов всем другим. Вовсе нет. И как раз в романе об авиазаводе мы довольно отчетливо можем усмотреть, в чем Пристли хотелось бы наметить некоторые грани между ним и нами.

Единственный коммунист, данный в книге — мастер Берт Огмор, раскрыт автором в двоящейся интонации симпатии и иронии. Он превосходный производственник, но только потому, что хочет помочь России. Он хорошо относится к товарищам, но не потому, что любит людей за них самих, а лишь тогда, когда они хорошо работают и, следовательно, помогают России. Будущее Англии рисуется ему в виде прекрасных фотоснимков из воксовских журналов. И, очевидно, со своей женой он тоже может говорить только о России. Ирония Пристли направлена здесь не на симпатии Огмора к СССР. Все рабочие завода относятся к СССР со страстной симпатией. Но Пристли хочет отметить в коммунисте Огморе известную несостоятельность, нежизненность, как бы искусственную пересаженность его идеологии. Пристли коммунизм представляется чем-то, может быть, и не плохим, но не свойственным английскому народу.

Решение Пристли социальных вопросов определяется и тем, кого же он делает главой завода. Единственный явно прикрашенный и идеализированный образ книги — это директор за-

вода Чевит. Это идеал Пристли. В нем писатель воплощает представителя нового правящего класса завтрашнего дня, идеального капитана промышленности. Пристли не дает этой роли ни технократу Блэндфорду, ни коммунисту, ни рабочему-интеллигенту Эрику. Народ будет творить и работать и после войны. Но нужны организаторы, и очевидно, с точки зрения Пристли, народ сам не в состоянии выделить подлинно совершенных организаторов и руководителей. Чевит, человек буржуазного класса, соединяет технические знания, талант организатора с чисто человеческими качествами. Противопоставленный полемически Блэндфорду, он любит людей, рабочих, понимает их и, обладая властью, не отрывает себя от всей массы рабочих. Его горе (он едва не теряет сына) разделяется всеми, как потом и его радость. Так неожиданно в столь современные взгляды Пристли, в его идеи о народе, определяющем и мощь страны и ее будущее, вплетаются тона патриархальных утопий. Особенно ярко проявляется это в сцене, где расстроенный Чевит беседует с инвалидом Сэмми Хэмпом. Сэмми—Кола Бренъон авиазавода, воплощение народного оптимизма; пройдя все стадии человеческих несчастий, он дошел до того смиренного оптимизма, который кажется

Пристли глубочайшей народной мудростью. Развозя чай и подметая пол, Сэмми всегда весел, добр и готов каждого утешить. Чевит, стоящий наверху социальной лестницы, и Сэмми, находящийся на нижней ее ступеньке, стоят и братски беседуют о смысле и превратностях человеческой жизни. И это, очевидно, кажется Пристли настоящим разрешением социальных вопросов.

Мы видим, таким образом, как многое остается и туманным и несвязанным в концепциях Пристли, как много различных идейных напластований породили в нем годы войны. Искренняя привязанность Пристли к своему народу, вера в его лучшее будущее после войны сочетаются со многими иллюзиями.

В любопытном «Письме к Ивану», к русскому другу, опубликованном в «Британском Союзнике», Пристли, говоря о своих больших симпатиях к нашей стране, хочет, однако, наметить некоторые грани, отделяющие его от советского миропонимания. Мы тоже ощущаем эти грани. Они ощутимы и в пьесе «У Ворот Города», и в образах авиазавода. Это не мешает нам, однако, с симпатией следить за работой Пристли, друга своего и нашего народов.

БИБЛИОГРАФИЯ

О ЛЮДЯХ ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ*

Жанр беллетризированной биографии, столь прочно укоренившийся в литературе запада, в советской литературе еще лишь складывается.

Но уже и сейчас можно заметить те особенности, которые коренным образом отличают советские биографические книги от большинства аналогичных книг западных авторов.

Несомненно, в западной литературе есть произведения такого жанра, в основе которых лежат большие культурные и исторические традиции. Герой в таких книгах изображен, если говорить словами Горького, и как «сын своего времени», и как «участник всемирно-исторической борьбы за освобождение человечества», его жизненный подвиг дан в них как высокий пример и поучение для читателя. Образцом таких книг могут служить, например, работы Ромен Роллана о Бетховене. Однако средняя беллетризированная биография буржуазной литературы запада ставит себе совсем иные цели. Она стремится приблизить героя к читателю, выдвигая на первый план интимные и бытовые стороны биографии, выискивая слабости, которые делают героя «похожим на всех».

Из этих книг читатель узнает преимущественно о том, что великий человек может быть несправедливым и мелочным, мотом и игроком, женолюбом и пьяницей. Споры нет, такая «человечность» делает героя более интересным и понятным для среднего буржуа. Но творческая сущность героя — его борьба и подвиг, его участие в создании культурных ценностей, его историческая роль — все это зачастую становится в таких произведениях лишь посторонним довеском к «человеческой» сущности, увиденной глазами обывателя.

Советские беллетризированные биографии естественно строятся по совершенно иному принципу. Для советского писателя и читателя творческая сущность героя и есть его человеческая сущность. Основное содержание биографии героя — это его деятельность, его труд, его подвиг.

Книга Сергея Маркова «Люди великой цели» — рассказ о двух русских ученых-путе-

шественниках Н. М. Пржевальском и Н. Н. Миклухо-Маклае — это хорошее советское произведение беллетристико-биографического жанра.

За обаятельными образами «великого охотника» Пржевальского и «очарованного странника» Миклухо-Маклая встает третий, неназванный герой книги — русская наука, русская научная мысль, чьи особенности были так блестяще определены К. А. Тимирязевым.

«Едва ли можно сомневаться, — говорил Тимирязев, — что русская научная мысль движется наиболее успешно и естественно не в направлении метафизического умозрения, а в направлении, указанном Ньютоном, в направлении точного знания и его приложения к жизни». Однако точное знание для русских ученых — это не простое накопление материала. И связь русской науки с жизнью — это не узкий практицизм. Бесчисленные цифры метеорологических дневников, изучение местных фаун и флор, описание ископаемых богатств всегда было в русской науке лишь основой для смелых и широких выводов. И русская наука активно воздействовала на жизнь, устанавливая на основе точного и богатого опыта новые и общие законы, решая научные загадки, стирая «белые пятна» во всех областях человеческого знания. Именно поэтому русская наука, давшая миру таких гигантов, как Лобачевский и Менделеев, Сеченов и Тимирязев, Павлов и Циолковский, заявила, как справедливо говорит К. А. Тимирязев, «не только свою равноправность, но порою и свое превосходство» перед наукою других европейских стран и «завоевала себе именно те почетные места, которые приходилось брать грудью, брать с бою у своих конкурентов».

Как человеческие индивидуальности, Пржевальский и Миклухо-Маклай очень непохожи друг на друга. Но их роднят — это сумел показать в своей книге С. Марков — черты, свойственные русским ученым и деятелям культуры. Оба они были готовы пожертвовать обеспеченностью, покоем, здоровьем, самой жизнью ради великой цели. Оба они — и русский офицер Пржевальский, и «штатский» Маклай — обладали огромным личным мужеством. Общим была свойственна та широта кругозора, та творческая смелость, которая вывела их

* С. Марков. Люди великой цели. «Советский писатель», 1944.

деятельность за узкие рамки специальности. Географ Пржевальский совершил ряд открытий в области зоологии и орнитологии, дал блестящее описание быта и нравов неизвестных тогда народов Средней Азии. Антрополог Миклухо-Маклай работал над исследованием коралловых рифов и мозга безпозвоночных, оставил блестящие труды по этнографии, совершал промеры океанских глубин. И оба они — «великий охотник» и «очарованный странник», ревнуя к славе русской науки, с бою брали свои научные открытия, опережая своих западных конкурентов.

Кэри, а затем и Свен Гедин прошли в Центральную Азию по следу, проложенному Пржевальским. А немецкие колонизаторы, подготовленные, под маской ученых, захват Новой Гвинеи Германией — те попросту разграбили научное наследие доверчивого Маклая.

Книга Сергея Маркова написана экономно, сжато и, говоря словами Горького, очень «духотподъемно». Все эпизоды, детали, факты отобраны и расставлены в ней так, чтобы самым убедительным образом обрисовать величие героев и их дела.

«Охотничья тропа», на которую Пржевальский встал осенью 1866 года в Уссурийском крае, окончилась в 1888 году в холодных ущельях Каракола. В книге С. Маркова мы видим, как Пржевальский в течение двадцати двух лет «набирает высоту», идет ко все более смелым и значительным открытиям.

С. Марков умеет показать насколько труден был путь, проложенный «великим охотником» и растянувшийся на тридцать тысяч верст (пройденных большей частью пешком). Голод, жажда, лихорадки, снежная слепота, ледяные бураны, почва, раскаленная до 63°, вероломство средне-азиатских князьков, нападения дунган, еграв — таковы будничные повседневные препятствия, которые приходилось преодолевать Пржевальскому. И Сергей Марков совершенно прав, подчеркивая, что преодолевать их было очень нелегко, что Пржевальский был несгибаемым человеком, но все же человеком. Он дела съемки пути от мороженными пальцами, не прекращал наблюдений, когда кожу разбедал нестерпимый часоточный зуд. Но когда во время трехлетнего монгольского путешествия Пржевальский со спутниками пришел на отдых в город Калган, то «очевидцы рассказывали, что не только спутники Пржевальского, но и он сам плакал, сидя в эту ночь в теплой, чистой комнате».

Зато велики были и те дары, которые Пржевальский принес русской и мировой науке.

Благодаря его смелой и самоотверженной работе пространства от русских границ до верхнего течения реки Голубой перестали быть «белым пятном», была раскрыта загадка озера Лоб-Нор — огромного пресноводного бассейна, беспрестанно меняющего свои границы. Во время второго, лоб-норского путешествия Пржевальский открыл хребет Алтын-Таг, в продолжение своих двух тибетских путешествий он решил загадку горной цепи Куэнь-Лунь, «распутав» исполнинское сплетение хребтов, подарив

миру десятки новых гор и снежных вершин. Хребет Загадочный, открытый им в северном Тибете, был впоследствии назван хребтом Пржевальского.

«История поступила справедливо и мудро, — говорит С. Марков, — хребет Пржевальского лег на картах между горами Колумба и Марко Поло».

Если прибавить ко всему этому открытие Пржевальского в области зоологии, ботаники, орнитологии, энтомологии, если вспомнить те сотни новых видов животных, птиц, растений и насекомых, которые он открыл, — тогда можно себе представить объем и значение научных подвигов Пржевальского. Подвиги эти нашли признание не только в России, — географические общества всех стран Европы, все лучшие представители мировой науки оценили по достоинству заслуги Пржевальского. Почетные грамоты и звания, золотые медали, тысячи лестных писем и отзывов стали свидетельствами мировой славы великого путешественника.

Пожалуй, единственный серьезный пробел тех глав книги С. Маркова, которые рассказывают о Пржевальском, — это недостаточное внимание к Пржевальскому-писателю. С. Марков очень хорошо использовал материал книг Пржевальского. Но о самих книгах стояло поговорить особо, потому что написаны они не только большим ученым, но и одаренным писателем, умеющим нарисовать широкую картину природы и дать читателю почувствовать поэзию науки и подвига во имя «великой цели».

Рассказ о жизни и научных подвигах Н. Н. Миклухо-Маклая, составляющий вторую часть «Людей великой цели», также очень интересен. И все же образ «Тамо-рус Маклая» улася С. Маркову меньше. Да и самые главы о Маклае написаны менее стройно, менее связно, чем первая часть «Людей великой цели».

Правда, создание образа Миклухо-Маклая представляло своеобразные трудности, ибо результаты научных подвигов Маклая менее наглядны и осязаемы, чем те горы, реки и озера, которые щедрой рукой дарил миру Пржевальский.

Но С. Марков вполне правильно указывает читателю на самую суть трудов Маклая. Антропологические и этнографические работы его о жителях Океании были драгоценным вкладом в сокровищницу самой передовой научной мысли. Труд всей жизни Маклая опровергал псевдонаучные, реакционные измышления о «неполноценности» цветных рас.

К жителям Новой Гвинеи Маклай пришел как друг, как провозвестник высокой культуры и человечности. И нравственная сила молодого, хрупкого русского подчинила себе волю новогвинейцев. Авторитет Маклая был для них непререкаем. Но для того, чтобы завоевать себе такое положение, Маклаю пришлось проявить много воли, выдержки, бесстрашия и терпения.

В книге С. Маркова содержится много колоритных подробностей о жизни, быте и нравах жителей Океании. И детали эти — превосходный фон для рассказа о трудах Маклая. Читателю становится понятным в каких условиях

жилось Маклаю вести свою научную работу. Лихорадка, невыносимый для европейца юпический климат, отсутствие элементарнейших бытовых удобств, постоянное нервное напряжение, постоянная угроза насильственной смерти — вот к чему должен был привыкнуть Икклухо-Маклай в своей «научной лаборатории». И несомненно преждевременная смерть этого замечательного ученого и гражданина была вызвана именно теми условиями, в которых он в течение почти двадцати лет самоотверженно вел свою работу.

С. Марков — и это также вполне правильно — широко освещает и другую сторону дея-

тельности Маклая: его общественные стремления. Маклай ненавидел колониальное рабство и угнетение. Он много раз выступал со страстным протестом — во имя высокой человечности — против колониальной политики европейских стран.

Несомненно, и главы о Н. Н. Миклухо-Маклае советский читатель прочтет с большим интересом.

Напомнив в своей интересной книге о двух замечательных русских людях, С. Марков сделал хорошее и нужное дело.

Е. Книпович.

★

ПЕВЕЦ НАРОДНОЙ МЕСТИ*

Нужно очень любить родину, чтобы найти в душе такие простые и в то же время такие несомненные и сильные слова для выражения всей преданности и верности, ненависти и корби, какие находит Радуле Стийенский в тихих и поэмах, посвященных своему суровому альпийскому народу, четвертый год героически сражающемуся с фашистскими захватчиками.

«Матерью, надеждой и отрадой» называет он свою Черногорию. Она сладостна и благодатна, как свежий плод садов приморских для южного жителя.

О, земля родная, алмаз мой чистый,
Ты — в небесах радугах, ты сияешь
Ста лучами сквозь жгучие слезы
Для того, кто каждой кровинкой,
Каждым помыслом связан с тобою.
Черногория — светлое имя,
Дальний звук, словно пение моря...

Поэт родился в горном имении Стийена, красноречивые традиции боевой славы и незыблемой любви к свободе. Здесь, у одиноких истуканов костров, в глухих горных селениях, ухоженных на орлиные гнезда, еще ребенком он ушастил старинные народные песни и сказания, здесь он сам сложил первые строфы своих стихов. Вот почему во всем его творчестве, — начиная с первых сборников: «Черногорские азки», «Волшебные гусли», и кончая всеми последующими произведениями, — так важна струя народной поэзии, придающая его стихам удивительную свежесть и силу.

Стийенский живет общими чувствами со всеми соотечественниками и совершенно естественно, что с первых же дней фашистской оккупации он становится певцом борьбы своего народа за свободу. Свою задачу поэта-певца народной борьбы он ясно определяет, обращаясь к доброй фее гор — виле:

Ой, Загоркиня, ой, вила,
Ты — владычица просторов,
Ты летаешь над горами, —
Принеси поэту гусли!..

Дай ему созвать юнаков,
Партизан непобедимых,
Да идут они на юрит, —
Принеси поэту гусли!..

Народность, пламенный патриотизм, свойственные Стийенскому, нашим наиболее сильное выражение в его последней по времени поэме «Служская крепость».

Содержанием поэмы является один из эпизодов богатой событиями и примерами замечательного героизма партизанской борьбы черногорского народа с итало-немецкими захватчиками.

Старинная легенда причудливо переплелась в поэме с действительностью, с суровой правдой боевой жизни партизанского отряда. Наряду с совершенно реальными образами партизан, партизанок и немцев в поэме действуют таинственные силы природы, грозные для врагов, благодатные для партизан: духи гор — вилы, духи горных рек — водяницы. Все это придает поэме «Служская крепость» какую-то особую наивную прелесть и красочность.

Поэт начинает свою поэму утверждением, что «святая борьба за свободу крепче скал, облаков превыше», что нельзя преградить дорогу священной народной мести, как нельзя приказывать могучей горной реке Ядру «в бурю застыть недвижимо», как нельзя «брежущее утро превратить в отпыхавший вечер», как нельзя «приневолят юнака отречься от любимой родины».. Беззаветная преданность родине — основная тема «Служской крепости».

Сюжет поэмы сложен и динамичен. Партизан Павел с молодой женой Бояней обходят черногорские селения, собирая деньги — «золотые старинные дукаты, серебро и медную мелочь» — на оружие для партизанского отряда. С двумя мешками денег перебегают они на рыбацкой лодке широкую вытекающую реку Зету. Фашистские жандармы обстреливают их. Пуля ранит Бояню, и она падает в Зету. Вместе с ней идут ко дну и мешки с деньгами. Павел один вернулся в отряд, оплакивая смерть любимой жены и потерю народных денег. Он решает отомстить врагам и снова отправляется на берег Зеты с юнотей пар-

* Радуле Стийенский. Служская крепость. «Молодая гвардия», 1944.

тизаном Мирко. У реки они встречают девушку Ильку из близлежащего селения. Брат Ильки, Вучур, рассказывает Павлу, что он выловил из Зеты тело молодой утопленницы и похоронил его на берегу. Он показывает Павлу кольцо, которое снял с руки утопленницы, и Павел узнает в нем кольцо Бояны. Павел горько плачет на ее могиле и клянется беспощадно мстить врагу. Смелый Вучур ныряет в Зету и достает с речного дна мешки с деньгами. Павел и Мирко возвращаются в партизанский отряд. Вместе с ними уходят к партизанам Илька и Вучур. Отряд вооружается на пожертвованные народом деньги:

Есть огниые у вдового Павла
Самой лучшей стали кинжалы,
Самой высшей меткости винтовки...
Ожидали приказ партизаны,
Чтобы в битву ринуться без страха,
Чтоб словами ярости и мести
Их оружие заговорило...

Партизаны готовятся к штурму древней Служской крепости, захваченной фашистами. Перед походом Вучур рассказывает партизанам старинное сказание о том, как была построена Служская крепость на каменистой отмели у Зеты войводом Лиешем Пипером. Сколько ни трудились каменщики, волны бурной реки каждую ночь разрушали постройку. Однажды ночью каменщики услышали голос, говоривший им, что духи реки, водяницы, не тронут крепости, если войвод замурует в ее стены свою жену. Войвод так и поступил. Он замуровал в стену крепости молодую жену Елицу, и после этого волны бурной Зеты больше не разрушали каменных стен Служской твердыни.

И вот партизаны начали штурм крепости. Немцы ожесточенно оборонялись. Из ворот крепости выползли их танки. Но только один танк вернулся в крепость — все остальные уничтожили партизаны. Но партизанам не под силу разрушить крепостные стены. Тают ряды партизан. И вдруг, в разгаре сражения, они слышат из стены крепости женский голос, зовущий их. Они убеждены, что слышат голос замурованной в стену Елицы. Они разбирают стену в том месте, где слышен голос, и навстречу им выходит женщина в белом платье. Но это не Елица старинного сказания, — это живая Бояна, жена Павла. Упав с лодки в Зету, она не утонула. Ее спасла Радна, — девушка из прибрежного селения. Бояна дала Радне свое кольцо и послала к мужу в отряд с известием, что она, Бояна, жива. Радна ушла, Бояну же поймали фашисты и посадили в Служскую крепость, — в тот узкий и темный каземат, где когда-то томи-

лась Елица. Но и Радна не дошла до партизан. Мельник Пиле, изменник, выдал ее фашистам. Спасаясь от них, Радна утонула в Зете. Это ее тело нашел Вучур и похоронил, сняв с пальца кольцо Бояны.

В пролом в стене устремляются партизаны, одолевая фашистов и захватывая Служскую крепость.

Как праздничный наряд черногорской девушки расшит пестрыми шелками, так каждая строфа поэмы Стиенского расцвечена яркими эпитетами, смелыми сравнениями, описаниями дикой и прекрасной черногорской природы.

Песня у Стиенского «бьетса, как кукушка в горящей клетке», ручей напевает, как прялка, монисто звенит, как капли дождя, по лазури со звоном катится колесо стремительного солнца...

Волны, словно ягнята, играют,
Мчитса белая пена к Ядру,
И звенят колокольчики Мера,
Полноводной реки черногорской.
Дикий лес без конца, без края
На высоком берегу темнеет...

Читая поэму Стиенского, видишь перед собой героев, наносящих под водительством маршала Тито сокрушительные и все более крепнущие удары шайке гитлеровских разбойников.

Вот седоусый Вуйо Обренович:

Старый пипер, орел горбоносый,
Предводитель юнацкого стана.
Как ширококрылые бури,
Пролетели над воинном году,
Опалили коричневые щеки,
Лоб морщинами избороздили.
Был подобен могучему дубу,
Окруженному порослью зеленой,
Этот старец, гайдуками окруженный...

Вуйо Обренович — мудрый носитель древних славянских традиций борьбы за честь и свободу, вождь черногорских партизан.

Вот юноша Мирко. Ему шестнадцать лет, но он готов мстить врагу до последней кровинки. «Я — бесстрашная, я — черногорка», — говорит о себе партизанка Илька.

В поэме во весь рост встает суровый и мужественный образ народа-воина, испаненного высоких и благородных чувств, готового до последнего вздоха сражаться за честь и свободу родной земли.

На русский язык «Служскую крепость» перевел Арсений Тарковский. Ему удалось отлично передать своеобразие поэтической речи Стиенского.

Б. Евгеньев.

★

Редколлегия: М. М. Розенталь, А. А. Сурков, А. Н. Толстой,
К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

Подписано к печати 15/IX-44 г.
А 7922. 9 печ. листов. Тираж 30.000. Зак. 1734.